НЁМАН

1/2016
ЯНВАРЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Учредители: Министерство информации Республики Беларусь;
общественное объединение «Союз писателей Беларуси»;
редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Заместитель директора – главный редактор
Алексей Иванович ЧЕРОТА

Адрес редакции

Юридический адрес: 220013, Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

Почтовый адрес: 220034, Минск, ул. Захарова, 19.
Тел.: главного редактора — 284-85-25, заместителя главного редактора — 284-79-85;
отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Подписные индексы:

*74968 — индивидуальный; 00235 — индивидуальный льготный для учителей;
749682 — ведомственный; 00728 — ведомственный льготный.*

Свидетельство о государственной регистрации средства массовой информации
№ 11 от 10.12.2012, выданное Министерством информации Республики Беларусь

Издатель
Редакционно-издательское учреждение «Издательский дом «Звязда»

Директор – главный редактор
Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ

Технический редактор, компьютерная верстка: *С. И. Староверова*
Компьютерный набор: *Е. Г. Кахновская*
Стильредактор: *Н. А. Пархимович*

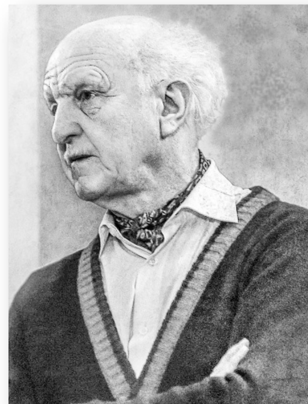
Подписано в печать 13.01.2016. Формат 70 ×108 $^{1}/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л.19,25. Тираж 1989. Заказ .

Цена номера в розницу 23 500 руб.

Республиканское унитарное предприятие «СтройМедиаПроект». ЛП 02330/71 от 23.01.2014,
ул. В. Хоружей, 13/61, 220123, Минск.

К сведению авторов

*Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.*



Владимир ОРЛОВ

Он смеялся последним

Повесть-фантазия

Кто собирался пить шампанское

Допущения:
в данной главе — по рукописным мемуарам.

Актер откашлялся.

Собственно, не собирался. Собственно, мог бы этого не делать: бархатный баритональный басок всегда чаровал собеседников, и особенно собеседниц, и особенно в нижнем регистре, — и актер это знал. Но так полагалось: ритуально откашляться, прежде чем начать.

Начал.

— Кандрат Крапіва. «Хто смяецца…»

— Что за фамилия: «Крапива»? — придирчиво прервал начальник. — Псевдоним, что ли?..

— Да. Он — Атрахович. — Актер кашлянул. — «Хто смяецца апош…».

— Псевдонимы у ваших какие-то убогие. Ну, что это: Крапива, Черный и этот еврейчик — Бедуля? Плавник он, а не «Бядуля» — не бедует он при советской власти! Взял бы псевдоним «Везуля»! А-а?

Актер запнулся, но, помолчав, не сдержался:

— А Горький? А Демьян… Бедный? Тоже, между прочим, еврейчик… — Откашлялся — и сразу, без паузы: — «Хто смяецца апошнім». По-русски: последним. Кто смеется последним. Присловье такое.

— А не могли бы, товарищ Рахленко, прямо с листа по-русски?

Актер осмелел:

— Письмо товарищу Сталину на восемнадцатом съезде партии зачитывала в Кремле наша Соколовская по-белорусски — вождь сам потребовал и все понял.

Начальник долго молчал, но, наконец, нашелся: произнес почтительно, даже приподнялся с обитого плюшем кресла:

— Так ведь то — товарищ Сталин!

Актер не посмел возразить, хотя — ох, как остер был на язык! Сдержался перед начальником: Храпченко — вершитель судеб национальных искусств на одной шестой земного шара.

— Продолжайте.

— «Хто смяецца апошнім». Сатырычная камедыя. Дзея першая».

Чиновник скривился.

— «Са-ти-ри-че-ская» — так я понял?.. А-а?.. Товарищ, у нас нет объектов сатиры, — назидательно чеканил чиновник. — Нет. С 17-го года — нет.

— Новых нет. А старые до конца не выкорчеваны. Вот автор и… Пережитки, Иван Николаевич, пережитки.

— Бросьте вы этот ваш политес шляхетский: «Иван Николаевич»! Отвыкнуть пора. «Товарищ Храпченко». Ну, продолжайте, что ли.

— «Калідор — вестыбюль установы, — прочитал актер ремарку. — Цёця Каця выходзіць з дзвярэй дырэктарскага кабінета».

— И что, это, — Храпченко подчеркнул «это», повторил: — *это* идет в государственном театре?!

— С аншлагами, уже раз тридцать…

— Сколько, сколько?

— …на месяц вперед билеты проданы, культпоходы, автор читает пьесу в трудовых коллективах, я выезжаю с читкой.

Храпченко сопел тяжко, вынул стакан из подстаканника, опять вставил, заглянул внутрь, ложечкой переместил чаинки на донышке.

Артист позволил себе предположить — неосторожно:

— Мы уверены: в Москве…

— О чем вы! Какая Москва? Ваше счастье, что…

На повороте взвизгнул трамвай, прогрохотал под окнами гостиницы «Европа»; сверкнули искры над дугой, высветив окна второго этажа.

«Последний, — мелькнула мысль у актера. — Ночевать в театре». Он оглядел гостиничный «люкс»: бархатные портьеры с помпончиками, непременный фикус, патефон… «Интересно, что за пластинки в коробке?» — возник вопрос… Стол, графин, стаканы — граненые, супрематические, — комод с трельяжем, буфет с посудой за рифлеными стеклышками… «Тарелки, наверное, еще царские», — подумал… портрет Сталина с поднятой рукой, другой опирался на Конституцию.

Взгляд Рахленко остановился на председателе Всесоюзного Комитета по делам искусств Совнаркома СССР товарище Храпченко в совиных круглых очках, от которого зависит…

— А в Москве трамвай из центра убрали! — неожиданно воспрянул Храпченко. — Автобусы ГАЗ-45, автобусы!.. А-а?.. Хватит читать, товарищ Рахленко. Ваше счастье, что я… Завтра утром укажу вашим товарищам: нельзя этот пасквиль играть в Москве, да и здесь вряд ли… Злой поклеп на советскую научную интеллигенцию! Подумаем об этом. Все. С этим в Москву и отбуду. У автора вашего — Крапивы этого… или как его там? — есть же пьеса «Партизаны», о борьбе с белополяками, — вот мировая тема!.. А-а?

Удрученный актер положил первый, так и не прочитанный лист на всю стопку, скрутил ее, поднялся.

Храпченко, не вставая, окликнул:

— А чья — взять в Москву этот спектакль — чья… провокация?

— Как бы — общая... театра.

— Нет. Кто первым внес предложение?

— Фаня… Директор.

— А-а, евреечка эта, Аллер — понятно. И режиссер Литвинов Лев — из тех же. А театр-то: «бе-ло-рус-ский»! — сыронизировал москвич. — Да и вы-то: товарищ «Рах-лин…» А-а?

Рахленко застыл в дверях — не знал, что ответить, да и ответа ли ждали от него; понял: у него нулевой опыт общения с сановниками столичного веса.

Сдержался, чтобы не хлопнуть дверью, — вышло бы театрально; долго снаружи не отпускал ручку, грел ее ладонью; глянул на стеклянный ромбик с цифрой «9».

В вестибюле дремавшая администратор любезно выставила телефон на полированную стойку — Рахленко тут знали: с зарплаты, не часто, но сижива-

ли актеры в гостиничном ресторане, да и контрамарки на спектакли, бывало, перепадали обслуге гостиницы от них.

Его неохотно, после долгого молчания, соединили с коммутатором ЦК, а затем, уговорив бдительную телефонистку, — с приемной 1-го секретаря Компартии БССР. И вот тут включил артист свой низкий воркующий тембр:

— Это Леонид Рахленко. Соедините, пожалуйста, срочно с Пантелеймоном Кондратьевичем… Понимаю: рабочий день уже… Понимаю… понимаю, милочка… Но это связано с декадой… Да, с декадой. Спасибо.

Он уже знал: слово «декада» в последнее время открывало в Минске мгновенно двери высоких кабинетов, соединяло по телефону с любым нужным человеком.

Это магическое слово тревожило и даже терзало и Пантелеймона Пономаренко. Урожаи, надои, обустройство новых жителей республики, перековка «западников», только что воссоединенных с Восточной Белоруссией, пробы объединения их личных хозяйств-«гаспадарак» в колхозы — все стало вторым, даже пятым делом. Важнее грядущей декады был, может, только отлов скрытых и явных новых врагов народа: панов офицеров, панов помещиков, панов осадников, панов старост — эксплуататоров, затершихся в массу эксплуатируемых, жаждавших прихода с востока своих, «советов».

— В двенадцать, — предложил Пономаренко. — То есть, не завтра днем — нет, а сегодня — в ноль часов. Знаю, вы богема, ложитесь поздно. Все. Ждем.

Артист еще услышал, как Пономаренко, давая отбой, спросил кого-то: «Как Рахленко по отчеству?.. Гдальевич? Гдальевич… Не забыть бы».

Сотрудники аппарата 1-го секретаря ЦК КП(б)Б поначалу хихикали украдкой, давили смешки. Но открытая реакция самого Пономаренко, который не сдерживал смеха, раскрепостила созванных на читку — и кабинет сотрясался от хохота.

Рахленко, ободренный реакцией, был «в ударе».

— «Туляга (слабым голасам): Дагаварыліся. (Выходзіць прыгнечаны.)

Гарлахвацкі (адзін): Гатоў. Цяпер хоць ты з яго вяроўкі ві.

Заслона».

Слушатели, как на спектакле, аплодировали.

Пономаренко, отсмеявшись, скомандовал:

— Антракт. Третий час ночи, товарищи, — ужин или завтрак?

Принесли на подносах: бутерброды — толстая сочащаяся колбаса аппетитно покрывала ломти белого хлеба, — чай с лимоном, коньяк. Все, весело пересказывая реплики и ситуации, потянулись к закускам позднего ужина, он же — ранний завтрак.

Рахленко отошел к окну, подальше от запахов, от искуса: знал, что после еды расслабится, захочет вздремнуть. Пожизненный распорядок: поздний подъем, туалет актера — артикуляция, мимика, — завтрак, репетиция, обед, затем отдых, сон непременно — в семье это называлось «кинуться», — спектакль, ужин в компании или дома. Потому здесь хотел дочитать пьесу «на подъеме».

Сна как не бывало — у всех!

Решили устроить культпоход всего аппарата на спектакль; выяснилось: в театре, что через дорогу от ЦК, его никто не видел.

Доедали закуски, принесли свежего чая; восторги стихали.

Пономаренко взял курительную трубку, отложил — помощник тотчас принялся услужливо прочищать ее ершиком. Сам секретарь разжег другую, задымил.

Перекурить хотели бы многие; после недавнего присоединения земель, бывших под Польшей, вошел в обиход глагол «пофагать» — покурить. Заимствовали еще несколько свежих слов, например, «курва», «холера ясна», иногда в шутку партийцы употребляли «пан» в обращениях друг к другу. Постучав в двери кабинетов коллег, со смешками оговаривались «по-польски»: «Я попукал». К концу декабря, после декады, узнают, что елка по-польски «хоинка», — и тоже будут острить: «У вас, пан, хоинка стоит?»

Пономаренко перерыв не объявил, выйти никто не осмелился. Курил он один: не терпел чужого дыма. Трубку освоил всего пару лет назад, как стал в БССР 1-м секретарем, а до того довольствовался папиросами «Казбек» — белые горы, черный силуэт всадника на коробке, или «Явой» в бледно-лиловой упаковке.

А трубка… Было кому подражать.

Рахленко закончил чтение.

Присутствующие зашумели: одобряли, даже пробовали аплодировать.

— Вот что, Леонид Гдальевич, — решил секретарь, ни к кому не обращаясь. — Новое повышение директора института Горлохватского в финале пьесы убрать — слишком уж. Слишком.

— Но не будет остроты финала. Обрезано как-то, — робко подал голос актер. — И чем закончится?

— А ничем. Разоблачили директора — и все. Для Москвы — хватит. Спасибо, потешили нас, Леонид… Григорьевич. Отдыхайте. Работайте.

— Автора заслуга, Крапивы.

— И автора поощрим — передайте. Если, конечно, нас…

— Я свободен? — Рахленко откланялся.

Помощник секретаря вывел его в коридор.

Рахленко Леон Гдальевич — в миру: Леонид Григорьевич, возможно, Рахлин — всю жизнь прослужил в Белорусском театре имени Янки Купалы, одно время руководил им, много играл, снимался, ставил; осыпан наградами. Даже седым был величествен, красив и элегантен, отошел народным артистом СССР. На доме, где жил, — мемориальная доска.

Пономаренко обратился к аппарату:

— Песни-пляски — это понятно, это у всех. А чем удивлять Москву будем? Эйдинов! Удивлять — чем?

Поднялся секретарь по идеологии.

— Киргизская декада, например, убила всех оформлением — такое богатство!.. Нам не поднять.

Затянувшееся молчание становилось гнетущим, да и к утру всех тянуло ко сну.

Пономаренко протянул руку, помощник подал набитую табаком изогнутую трубку. Секретарь ее не раскурил, посасывал незажженную, размышлял:

— Киргизы, армяне привозили драмтеатры?

— Нет! Ни эти, ни грузины, ни узбеки! Ни одна республика себе этого не позволяла! Никто! Только оперы, — заверяли наперебой аппаратчики.

— А что, если… Все. Везем Крапиву. Везем сатиру, хлопцы! Вызывайте фельдъегеря: отправим в Москву с нашим решением немедленно, самым ранним поездом.

Ничего этого автор, Кондрат Крапива, не знал, но спал беспокойно… как все в те годы.

В девять утра товарища Храпченко проводили в кабинет 1-го секретаря ЦК КП(б)Б товарища Пономаренко; пожали друг другу руки. Москвич начал, не присев:

— Ваше счастье, что я… Этот спектакль… ну, где смеется последним… как его там? Нельзя в Москву — что вы!

— А мы уже отправили наше решение. Вероятно, сегодня оно на столе у товарища Сталина.

— Вряд ли, — слабо возразил Храпченко. — Что, у него нет других забот… обострение с Финляндией…

— Мне звонили из аппарата товарища Сталина, интересовались: как дела с подготовкой к декаде.

— Но это же сатира! Сатира!..

— Я не решусь на доклад товарищу Сталину о смене решения. Лично я.

— Вы очень рискуете.

— Как шутят наши западные белорусы: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское».

— Они что, до того, как мы их освободили от панов, пили шампанское?.. А-а?

Пономаренко осекся.

— Советую, товарищ Первый секретарь, не повторять панские присказки. Ваше счастье, что не слышат их в Москве.

Прощально не пожали руки, а так — скользнули ладонью о ладонь.

Пономаренко стоял у окна, видел, как цековский шофер захлопнул за московским чиновником черно-лаковую дверцу и ЗИС-101, осторожно съехав с площадки на мостовую, двинулся в сторону вокзала. Опадали листья, и в сквере под окнами ЦК уже просматривалась фигурка малыша с гусем — скульптура в центре фонтана.

— И вот что… — Первый секретарь обдумывал тактические ходы. — И вот что, товарищ Эйдинов…

Названный встал.

— И вот что: джаз Эдди Рознера из программы декады вычеркнуть.

— Как?! Государственный джаз-оркестр БССР? Это же наш козырь!

— Правильно. Но козырями не козыряют, не открывают сразу. Не будем дразнить гусей.

— Кого?

— Московских гусей. Гастроли нашего джаза в Москве организуйте — хорошо бы в театре сада «Эрмитаж», престижно, — но как бы за рамками официальной программы. Поняли, как нужно?.. Там в оркестре директор толковый, коммунист.

— Будем пить по второму бокалу шампанского? — осторожно пошутил секретарь-идеолог.

— Или получим бутылкой по башке. Я первый получу. Работайте.

— Проект программы у вас.

На столе лежал сигнальный экземпляр программки московского концерта. Взгляд секретаря зацепился за слово «дерижер»; нажал кнопку вызова, от гнева не нащупав ее сразу.

— Редактора сюда!

В литерном вагоне проходящего через Минск поезда ехали Храпченко и фельдъегерь ЦК — в соседнем купе. На подъезде к Москве стояли в тамбуре друг за другом — незнакомые.

К Белорусскому вокзалу чиновнику подали ЗИС-101; поехал домой: побриться, переодеться перед своим явлением в Комитете по делам искусств.

А цековский посланец сразу же повез спецпакет на Старую площадь в ЦК ВКП(б) — на городском автобусе ГАЗ-45.

Тайная канцелярия

Допущения:
произошло так наверняка, иначе дальнейшее — необъяснимо.

По слабоосвещенным длинным коридорам стелились мягкие бордовые дорожки. По обеим сторонам на равном расстоянии врезаны в стены совершенно одинаковые массивные двери без табличек и даже без номеров комнат.

Пока шли, оттуда никто не выходил, никто не появлялся в этом, казалось Кондрату, необитаемом сумрачном пространстве. Идущий за ним человек в гимнастерке с лейтенантскими петлицами чекиста поинтересовался:

— А вот эта ваша басня, где баба упирается ногами в передок телеги…

— Якобы помогая коню, — кивнул Кондрат. — А мужик ей: «Паможа, як хваробе кашаль». И что?

— Так это — не о партийном ли руководстве?

— Это о бабе.

— А «хвароба»…

— Болезнь. По-русски: хворь. Корень общий.

— Оч-чень схоже. А вот как по-белорусски будет «рука»?

— Рука.

Чекист допытывался безмятежно, но с едва уловимой язвительностью:

— Ну а, скажем… «нога»?

— Нага, — недоумевал Крапива. Он заметно «гэкал».

— Та-ак. Голова — соответственно?

— Галава.

— А вот, например, задница?

Кондрат остановился, развернулся. Уловив издевку, решал: не врезать ли? С чекиста слетела бы фуражка — васильковая тулья, краповый околыш… Он был крупнее лейтенанта, коридор пуст, тот орать не станет, а как поступят лично с ним в доме, куда есть только вход, уже, конечно, решено… Но сдержался.

А чекист, впившись в него взглядом, вопрошал безмятежно:

— Задница, товарищ Крапива, — как будет на белорусском?.. Задница.

Писатель выкрикнул ему прямо в лицо — непонятно: то ли давал перевод, то ли обзывал:

— Жопа!

— Тиш-ше! У нас не принято повышать голос. К тому же я старше по званию. Вы в каком чине демобилизовались?.. Двигайтесь: мы еще не дошли. Попали бы вы не ко мне, а к Крупене, он бы вас за такие выкрики…

— Ничего бы он не сделал. И вы — ничего. Я вам зачем-то нужен.

— Узнаете сейчас.

— А вы — кто?

— Отныне на все время «до» и на все время декады — ваш неразлучный друг. Обязательный.

— Бывают «обязательные» друзья?

— У нас — обязательно. Лейтенант Ружевич. Как товарищ Сталин: Иосиф.

— Если «Ружевич», то не Иосиф, а, как пан Пилсудский, — Юзеф.

Еще прошли, бесшумно ступая по мягкой дорожке.

— Нам вот в эту дверь, Кондратий Кондратьевич.

— Я не Рылеев «Кондратий», а Кандрат. По-белорусски: Кан-драт. Это обязан усвоить мой обязательный друг.

Ночь тревог

Допущения:
по все еще осторожным рассказам живших в те годы.

Стук в дверь — частый, настойчивый, не обещавший, что посетитель угомонится и уйдет. Что успокаивало Атраховичей: перед этим не скользнул по дождевым струйкам окон свет фар, не заурчал мотор «эмки». И все же… Но в дверь молотили упрямо.

— Почему не арестовали меня, когда был у них… там? — прошептал Кондрат.

— Ты был сегодня в энкавэдэ?! — ужаснулась жена. — И не сказал!

— Я дал подписку о неразглашении.

— Но мне мог бы… Не успела тебе сказать, — шептала жена, — взяли Изи Харика и Андрея Александровича…

— А ведь они были в списках писателей — ехать на декаду!.. Если со мной что — бери детей и в деревню, к родичам в Пристенок!.. Кинь в печку листок, он на столе слева. Быстро.

— Что там?

— Басня про… про наших в Белостоке... Жги!

— Но, Кондрат, ты же не успел запомнить! Только сегодня ее…

— Кинь. Ну!

Коротко полыхнул в печке лист.

Долгий стук в дверь «очередью» прервался. Атраховичи тревожно перешептывались.

— Хорошо, не включили свет. Наверное, уйдут… поймут, что нас нет дома.

— И я тебе не сказал: взяли отца Иры Жданович.

— Флориана?! Основателя нашего театра!

И тут застучал в дверь мягкий, похоже, детский кулачок.

— Я ничего тебе с собой не собрала! А если уж Флориана Ждановича взяли…

— Погоди. Это не они… не те. — Кондрат отстранил жену, двинулся к двери — сдвинутый в темноте стул коротко проерзал по полу, — на косяке нащупал выключатель.

Он открывал дверь нерешительно, но ее толкнули снаружи.

— Взяли! — разом выкрикнули ввалившиеся в комнату мужчина — это был Леонид Рахленко — и чернявая толстушка — директор театра Фаня Аллер. Пальто обоих и ее беретка переливались блестками дождевых капель.

— Ждановича?

— Да не о Флориане мы… Пьесу твою в Москву везем!

— Тише, люди. Было решение, знаю: «Партизаны». — Кондрат уже взял себя в руки. — Врываться, пугать-то к чему? Снимайте пальто.

— «Хто смяецца апошнім» взяли! Пономаренко так решил! — радостно наперебой говорили гости. — Давай утверждать состав: кто поедет!

— Люди-и, это же — сатира! Вы понимаете, чем может кончиться? — встревожился Кондрат. — Одно дело — в Минске…

Он умолк. «Зачем? Зачем высовываться — «выторквацца»? Нельзя в Москву… Нельзя!» И без того Крапиву изумлял факт: «Хто смяецца апошнім» — единственная в театрах СССР сатирическая пьеса, — ладно, в Минске, в провинции, на отшибе, а тут — Москва!.. Главный герой Горлохватский — директор института геологии: пользуется чужими мозгами, чужим трудом, чужой женой. Но ведь именно эта должность предрасположила его стать таким: использовать, как принято формулировать, «служебное положение». А начинал-то по-честному: чему-то учился, что-то же исследовал, публиковал, чего-то добивался своими мозгами и трудом, прежде чем стал директором. Именно так, тонко, а не карикатурно, решал его режиссер Рахленко… Но такая, не одномерная трактовка — уже вызов! Ведь советских сатирических пьес с участием интеллигентов вообще нет… Кино? На экране — схемы. Интеллигенты или чудаки, как непонятливый профессор в «Музыкальной истории» и растяпа директор фабрики в фильме «Девушка спешит на свидание», или вредители-троцкисты, как инженер в «Поединке», или бездари, как безголосая певица Лена в «Веселых ребятах». Атрибуты экранных интеллигентов: очки, пенсне, мятая панамка, лексика с архаизмами, бородка или нэпманская прическа, «шпионская» усмешка, но и дорогая посуда, изысканная сервировка стола, которую оплевывают, как в доме Лены. И даже этих жалких интеллигентов обязательно в финале посрамляют!.. А его Горлохватский — не таков! Нахал, любитель жизненных услад, но — умен! Да еще служебное повышение в финале… Куда он метит? В Москву?.. Там раскусят сразу! Зачем им Горлохватский? А нам с таким спектаклем — зачем высовываться?.. А зачем, спрашивается, писал? Еще десять лет назад друг-сатирик Андрей Мрый показал типа с похожей карьерой в романе «Записки Самсона Самосуя». Роман сразу же запрещен, журналы изъяты из библиотек, Андрей в лагере, отбывает срок где-то, по слухам, в Карелии. Так в романе Самсон всего лишь заведует райотделом культуры, и написано десять лет назад! А у него, у Крапивы, — директор института в столице республики, сегодня! И финал: его, бессовестного карьериста, повышают! В Москву, подразумевается, — куда же еще? Мысли об этом Кондрата тревожили…

Рахленко угадал тревогу Крапивы, как бы успокоил:

— Приказано финал с повышением Горлохватского убрать.

— Обрезать? Да ведь не будет точки!

— Будет многоточие. Кондрат, это решение… — он ткнул пальцем вверх.

— Ах, да: у нас же социалистический реализм, — с иронией смирился автор, — разоблачили, посрамили — и сюжет завершен. Режьте.

— Завтра в пошивочную Дома Правительства, снять мерку костюма! — распорядилась женщина и протянула автору талон.

— Откуда вы, Фаня Ефимовна, знаете, что меня включили в состав…

— Пропуск на ваше имя заказан, на проходной в левом крыле Дома Правительства. Цокольный этаж — там спросите.

— Я дал подписку о неразглашении!

— Он даже мне не сказал, что был там, — встряла жена.

— К десяти утра, — закрыла директор вопрос с автором. — Давайте, по актерам решайте, какой состав поедет: мне же надо в приказ. Леонид Гдальевич!

А Рахленко уже придвинул стул, на второй странице рукописи пьесы — в перечне действующих лиц — стал набрасывать имена, радостно утрируя произношение фамилий:

— Горлохватский — Кравцов или Бирилло? Ясно: Степа Степович Бирилло… Ставим птичку. Черноус — Григонис или Санников? Заслуженный Грыгонис Гэнрых — и этого пометим птичкой…Туляга — Владомирский или Зоров? Конечно, Владомирский Уладзимир, народный… Птичка. Зелкин — Боря Платонов или Сченснович?.. — Рахленко, как режиссер спектакля, принимал решения тут же, вдохновенно, думая лишь о творческом соответствии.

Но сработают другие, потаенные факторы, которые могут в корне повлиять на это распределение, о чем режиссеру никогда не станет ведомо.

Храбрый портняжка

Допущения:
не могло не произойти.

У всех на талонах значилось время явки: «10.00» — вот и заняли кандидаты, отряженные в Москву, диваны у двери пошивочной мастерской Дома Правительства. Можно, конечно, было разнести время явки каждого, сместив минут на двадцать, но до этого следовало додуматься.

Однако в десять никого не вызвали: непонятно откуда стало известно, что за дверью Лотар Пук — знаменитый портной из Вильни — обмеряет самого Пономаренко и других из аппарата ЦК, кого он определил ехать на декаду.

Писатели разбились на тройки из-за мебели: на диванах больше не вмещалось. Сидели тихо, шептались, посмеивались:

— Это тебе, тебе, Кондрат, под твое перо, — бубнил Лыньков. — Дальше читай, Аркадий!

Кулешов развернул мятую газету, в которую была завернута стопка листков со стихами. Заслонив свою тройку, он в укрытии продолжал вполголоса:

— …и это он всерьез: бульбу с помидором скрестить, чтоб, значит, и клубни были, и плоды!

— Разумно, — будто всерьез поддержал Кондрат. — Могу предложить название новому плодоовощу: «помбуль» или «бульпом».

Лыньков пробасил:

— Думаю, селекционер выберет название «сталинка».

Тройка сдержанно улыбалась.

Лыньков и Кулешов припоздали: не попали в облаву на писателей-«нацдэмов», творчество обоих протекало удачно. Оба издавались, были удостоены званий, премий и наград. На домах, где жили, установлены мемориальные доски в их честь.

— Люди, я вот думаю, — обеспокоенно размышлял Крапива, — может, мне не ехать?

— Так договорились же вместе пивка попить! — воскликнул Кулешов.

— Да не о том, не о том я! В Москву: ехать — не ехать?

— Поедешь, раз они решили, — вздохнул Лыньков.

А Кулешов попытался шутить:

— Увернешься — костюм твой кому подойдет? Ты, Кондрат, вон какая дылда!

Крапива никак не отреагировал, сидел удрученный.

— Слушайте, — зашептал Лыньков, доставая из кармана смятый листок, — чуть не забыл, а как вам это нравится:

«Мужыкі, паўстаньце,

Разганіце калгас,

А іначай усіх падавяць вас…»

— Тиш-ше! — перестав смеяться и оглядываясь опасливо на другой диван, зашипел Кулешов. — Айзек навострил ушки.

Под пальмой толстенький кудрявый Айзек Мовчар, упорно подписывавшийся «Алесем», делал вид, что вникает в статьи «Советской Белоруссии». Квартальная подшивка газеты, скрепленная фанерной планкой, была тяжела, объемна, и чтобы видеть вестибюль пошивочной, низкорослому Айзеку пришлось поставить подшивку на колени.

Тройка приглушила голос.

— Откуда это? Чье?

— Не знаю: в карман пальто в гардеробе сунули листовку:

«Пісаў Іван Зацяты,

Ён у барацьбе заўзяты,

Рыхтуецца да нападу

На Савецкую ўладу…»

— Да уже наверняка раскрыли, кто распространяет…

— Как узнают, откуда?

— «Откуда, откуда» — по шрифту машинки определяют!

— Секретарша Радиокомитета — туда стишок прислали, на Революционную три — перепечатала, прежде чем начальству... Один себе, а четыре экземпляра отдала солисту-балалаечнику Радиокомитета Струневскому…

— А дальше уж всю цепочку просчитать — это у них быстро!

— Туда же, на радио, пришло письмо от пионера: «Самым большим желанием было у меня побывать в Мавзолее и увидеть вас, товарищ Сталин».

— Уже прочитали в радиопередаче «Пионерская зорька»?

— Не знаю… Наверное.

Зажимали от смеха рты. Мовчар не выдержал, высунулся из-за газетной стопки, бросил, как бы шутливо:

— Шалом, Кондрат!

— Воистину шалом, Айзек, — в таком же тоне ответил Крапива.

— И что там за анекдоты рассказываете?

— Выяснили, что фамилия портного, извините: Пук, Лотар Пук.

— Ну, тут веселья — на один смешок, — пытался продолжить Мовчар. — Бывают у нас фамилии и посмешнее.

Кулешов зашуршал газетой, которой укрывал свою тройку:

— Все. Хватит хихикать. — И тут поэт обратил внимание, что газета эта — «Звязда», и прямо перед ним — рифмованные строки. — По-серьезному давайте. Вот: «Письмо белорусского народа товарищу Сталину»… Читай, Михась! — И, зажав рот, откинулся на спинку дивана.

Лыньков срывающимся от смеха голосом попытался декламировать:

— «Рушко і Гунько, і Арэстаў, і Зубаў,

І Гладышаў, Мельнікава і Харнас —

І многа іх лепшых, настаўнік наш любы,

Твае гэта вучні — героі між нас…»

Газету перехватил Кулешов, стал читать, чем дальше, тем визгливей:

— «Таварыш Вілентнікава і Слесарова,

Еўсюціна, Розенберг, Туфар, Скабло —

Паэты ім дарацъ гарачае слова,
Ім славаю яснае сонца ўзышло…» Овидий!

Мовчар оставался невозмутим, пристально оглядывал веселую тройку, упрекнул громко:

— Лучшие поэты Белоруссии слагали от всего сердца — это голос нашего народа!

Айзек Евелевич Мовчар — представлялся: «Алесь Евгеньевич» — в 30-е годы строчил разгромные материалы о литераторах, что помогало органам выявлять свободомыслящих. Когда в конце 80-х газеты тех лет из спецхрана выставили в открытый доступ, он в читальных залах библиотек незаметно вырезал свои статьи предвоенных лет о «нацдэмах», — по сути, политические доносы.

— Что вас веселит, товарищи? — все допытывался Мовчар.

— Радуемся. Восхищаемся. Высокий с-слог!

Крапива перехватил газету и сделал вид, что читает напечатанное там:

— А наш таварыш Лотар Пук —
Хай не смуціць нягучны гук —
Шавецкіх дасягнуў вяршынь,
Спрэс абшываючы старшынь.

— Может, хватит, хлопцы, — прошептал Кулешов. — Стукнет Айзек — и чей-то костюм останется невостребованным.

Открылась дверь, из примерочной вышел сухощавый щеголь в жилете, с сединой в аккуратном проборе.

Мовчар, откинув подшивку газет, мигом очутился рядом.

— Товарищ Пук, мы по очереди первые!

— Как, извините, ваши фамилии?

— Горский и Мовчар. Это мы, — указал на Илью Горского.

— Простите, таких в списке нет.

— А вы посмотрите хорошенько! Мы — писатели. Едем на декаду.

— Товарищ Мовчар… товарищи панове, сейчас по альпабэту на «А»: прошу в ателье товарища Атраховича. — Ударение он сделал на «и», и вообще изъяснялся с заметным польским акцентом. — Проше!

Портной пропустил в дверь Крапиву.

В мастерской пахло пропаренной тканью, лязгали ножницы с широкими лезвиями. Несколько мастеров черкали мелками по развернутому на огромных столах темному в полосочках сукну, еще рулоны громоздились на полках.

Мастер сдернул с шеи клеенчатый сантиметр, принялся обмерять Кондрата.

— Двубортный? Однобортный? — И сам себе ответил: — Двубортный. Для всех мужчин делегации пошиваем двубортный. Хотя могли бы, знаете, для разницы и однобортный, и со шлицами, и тройку, и смокинги кому-то, кто не ходит вперевалочку. Но — двубортный. Хорошо. Всем делегатам — двубортный, и всем туфли — черный «шевро». Всем. Будете все одинаково одеты, как этот еврейский оркестр Адольфа Рознера.

— Может, Эдди? Эдди Рознера?

— Какой он «Эдди» — он «Ади», Адольф, как Гитлер. Но, как говорили у нас в Вильне евреи: не будем о грустном… не будем. А вот насчет сорочек: под галстук или с национальным узором — пока идет, как у вас говорят, совещание. Возьмут в Москву для всех оба комплекта. Это затруднение может решить только Москва. Только. О, важный вопрос!

— Вы из Вильни?

— Можно и так сказать. Пан Пономаренко обо мне был наслышан и перевез сюда. Такая честь: иметь место здесь, в Доме Правительства! Хотя и в Вильне, ведаете, я имел достойную клиентуру.

— Наверное, Пилсудскому шили? — предположил Кондрат.

Пан Лотар не принял иронии, ответил серьезно:

— Он носил только мундир. Строить мундир — особая профессия. Вот почему тут я отказался пошивать модные у вас полувоенные френчи: не умею. Не у-ме-ю! А шил я фраки, тройки и смокинги Витольду Конти, Иго Сыму, Эугениушу Бодо, Михалу Зьничу, Казимежу Круковскому, Мечиславу Венгжину… и однажды — самому Яну Кепуре! Он — не поверите, пан Атрахович! — напел мне Каварадосси… кусочек.

— Кто они такие?

— Киноаманты — звезды варьете, кино, как ваши Михал Жаров, Миколай Крючков, Петра Алейников. — Все ударения в фамилиях были у Пука на предпоследнем слоге.

— Они не носят фраков.

— Да, ваши артисты на экране — в старых пиджачках, косоворотках — это ладить не есть интересно. Они все не паны-мужчины, а какие-то, знаете… пареньки с гармошками — можно и так сказать. Не стрижки с бриллиантином, а чубчики… Но сегодня у меня беда — я готовый плакать: только одного вида пуговицы доставили! Как так можно: одного вида?! Черные…

— Но не будем о грустном, пан Лотар. Не будем.

Портной посмотрел на Кондрата с интересом, покивал.

— Не будем… Я вам на лацканы и грудку дам бурметр — это такой, знаете, жесткий волос. У вас и так файная фигура, а будете в моем двубортном смотреться… как Витольд Конти!

Портной не мог тогда знать о судьбах его прошлых клиентов в годы грядущей войны:

за сотрудничество с фашистами Иго Сыма повесят патриоты-подпольщики…

под бомбами союзников погибнет в Ницце Витольд Конти…

пуля, предназначенная его жене-провокатору, поразит Михала Зьнича…

Мечислав Венгжин взойдет к небесам дымом крематория…

где-то на азиатских просторах СССР затеряются следы Эугениуша Бодо…

Не дано это было предвидеть вообще кому-либо.

— Где теперь мои клиенты? — вздыхал портной, снимая мерки с Кондрата. — Где они… Где их фраки…

— Пан Лотар, позвольте вас пригласить в театр на мои пьесы.

— О, вы пишете для театра! И про что, позволю себе спросить? Про революцию, колхозы, райком?

— Это комедия, сатира.

— Забыл сказать: шил фрак Адольфу Дымше — он замечательно играет в комедиях! Я с радостью приму ваше приглашение.

— Но спектакль — на белорусском языке.

— И что? И что: я в Вильне, знаете, жил в одном доме с белорусами, прекрасно понимал их!.. А можно в театр — с женой?

— Конечно. Попрошу у директора пропуск на двоих.

— А можно, пан Атрахович, в директорскую ложу?

— Это сбоку, видно будет плоховато.

— Неважно. Пусть все видят: скромный мастер Лотар Пук — в директорской ложе!.. О, если бы вам тройку, пиджак однобортный, со шлицами — как пошел бы костюмчик!

Пробуксовка колеса фортуны

Допущения:
по фактам — произошло примерно так.

В двери кабинета возник, не входя, помощник.

— Просили напомнить: совещание вы назначили на…

Пономаренко глянул так, что помощник только и пролепетал:

— Все ждут. Это же по декаде… — и, прикрыв за собой дверь, исчез.

Пономаренко подождал, пока не услышал защелку второй, входной двери, кивнул собеседнику, продолжил нелегкую беседу:

— Владомирский?

Нарком НКВД поскреб пальцем модные в те годы квадратные усики, вытянул из папки нужный лист, прочитал:

— Пожалуйста: «Владомирский-Малейко Владимир Иосифович — офицер царской армии…»

— Народный артист БССР, — как бы про себя уточнил секретарь.

— А кроме того: «…связь с польским шпионом Алехновичем». Этот нами уже разоблачен — работаем, э!

Театральная программка в руке Пономаренко подрагивала.

— Григонис… заслуженный БССР?

— Пожалуйста: «Глава контрреволюционной организации — по показаниям агента польской разведки», уже разоблаченного нами.

— Бирилло Степан?

— Пожалуйста: «Высказывал антисоветские настроения. Брат осужден за вредительство на «Осинторфе». Кто еще интересует, Пантэлеймон Кондратэвич?

— Платонов?

Цанава порылся в папке, достал нужный лист. Говорил он с грузинской напевностью, без ударений в словах:

— Разрабатывается как участник контрреволюционной национал-фашистской организации. Вот, пожалуйста, а еще — со званием: заслуженный артист!

— Это тот состав, который театр представил для поездки в Москву, — Пономаренко барабанил пальцами по стеклу стола.

— Нам известно, что в спектакле есть второй состав. Но и там тоже не все чисто.

— Это достоверно, так, Лаврентий Павлович?

Чекист самодовольно усмехнулся:

— Вот первый страница: «Список участников декады белорусского искусства в городе Москва, на которых имеется компрометирующая информация». А вот последний: «Начальник 2-го отдела УГБ НКВД БССР старший лейтенант Госбезопасности Крупеня, начальник 4-го отделения 2-го отдела УГБ НКВД БССР лейтенант Дечко». У меня нет оснований не доверять моим людям — очень добросовестные парни… «хлопцы», как вы говорите.

Нарком перебирал листы, нашел в папке программку, такую же, как лежавшая перед секретарем, потыкал в нее пальцем.

— Они не едут в Москву: Романович завлит театра, художник Малкин, но оба гражданина тоже в этой папка театра «БДТ-1», уже разрабатываются как участники нацдэмовской национал-фашистской организации. Смотрим, пожалуйста, весь театр такой: администратор с рэдкой фамилией Шапиро, бутафор, бухгалтер…

— А она… организация существует?

— Докопаемся, Пантэлеймон Кондратэвич, докопаемся. Люди мои — трудолюбивые. Смотрим, пожалуйста, другой папка: вот артист Былинский — сын попа; композитор Нестор… как Махно, э!.. Нестор Соколовский — регент… Не хочу вас задерживать.

— А Крапива, автор? — опасливо, почти безнадежно поинтересовался Пономаренко; шарил рукой по столу, ища трубку. — Недавно демобилизовался… В папке писателей гляньте. Его пьеса едет в Москву.

— Автор «Хтосмяеццаапошным»… — Цанава покопался в бумагах. — Вот! Он у нас пока не проходит, еще в разработке. Но им занимается лейтенант Ружевич — очень трудолюбивый хлопец. — Он взял официальный тон: — Товарищ первый секретарь, какое ваше решение?

Пономаренко колебался; постучал черенком трубки по программке.

— Первый состав поедет. Кто птичкой помечен.

— Очень рискуем.

— Я председатель комиссии по декаде. Один я в ответе. Не беспокойтесь, везде буду утверждать: вы меня предупреждали. — Пономаренко поднялся. — Пойдемте к людям, Лаврентий Павлович, два часа ждут меня.

— Подождут. Это не все, пожалуйста. — Нарком достал лист из другой папки. — Мои люди во всех коллективах, на всех репетициях, все контролируют.

Пономаренко опустился в кресло, устало потер глаза, попросил тихо:

— Прочтите сами. Только самую суть.

— Хо. «Средства, отпускаемые на подготовку к декаде, превратили в канал для улучшения материального положения. Художественный руководитель Рудник заказывает и принимает любые музыкальные вещи от композиторов, тут же оплачивает их без утверждения правительственной комиссии, заявляя: «Денег много, пусть подработают, такое время нескоро будет». Композитор Подковыров, обращаясь к Руднику со своим музыкальным произведением, прямо заявил: «У вас теперь есть средства, дайте и мне поправить свои дела». «Оперный певец Арсенко заявил: «Живем, как на курорте, ничего не делаем. Так можно и разучиться петь». Еще фамилии?

Секретарь не отвечал; откинувшись в кресле, закрыл глаза.

Нарком вытащил несколько листков, сцепленных скрепкой.

— Документы Миколы Равенского: жалуется, пожалуйста, что он, автор песен «Красноармейская», «Стахановская», положил на музыку «Письмо белорусского народа товарищу Сталину», а его произведения не включили в декаду.

— А мои люди выяснили: он написал музыку к стиху «Магутны Божа»! Как такого брать в Москву, пожалуйста?!

Пономаренко машинально перебирал листы, сплошь с грифами «секретно» и «совершенно секретно», обреченно перечислял:

— Ансамбля танца, как у всех республик, нет, народного хора нет, оперы-балеты не готовы, сценаристы перегрызлись, а до декады — месяц. Месяц!.. Арестуй меня, нарком.

— Пантэлеймон Кондратэвич, у тебя два «секретный оружие»: комедия Крапивы и джяс.

— Мало… Или опять будем надеяться на чудо, как три месяца назад?

Оба заулыбались: декада, назначенная на осень 39-го, отменилась в связи с победоносным походом Красной Армии, начавшимся 17 сентября воссоединением Белоруссии.

Цанава передал секретарю папку, предупредив:

— Ссекретный документы.

— Какие уж тут секреты, — устало отмахнулся Пономаренко. — Все очевидно: месяц остался до декабря — ме-сяц!

— Может, еще раз чудо произойдет, — многозначительно намекнул чекист; поднялся, собираясь уходить. — Ми в капиталистическом окружении.

— Лаврентий Павлович, — тихо попросил Пономаренко, — вы этот… первый состав не трогайте. Хорошо? Им защищать честь республики. — И Крапиву… участника освободительного похода…

— У партии и у чекистов — одна задача, — как-то неопределенно отозвался нарком.

Спасительная интонация

Допущения:
по воспоминаниям свидетелей.

Как все композиторы показывают свои песни, проглатывая слоги текста, пропуская клавиши, как поэты читают свои стихи, завывая, не выявляя рифм, не блюдя ритма, так и драматург читал свою комедию: монотонно, не отделяя реплик от ремарок.

Работники редакции увяли уже на второй странице слушания, подремывали; кто-то смотрел в окно, пересчитывая, сбиваясь, железные копья в ограде Академии наук, что высилась через улицу от Дома печати; пышногрудая брюнетка со сросшимися бровями записывала соседке рецепт, повторяя «богшч… богшч»; молодица, подперев лоб ладонью, другой рукой пинцетом выщипывала брови — зеркальце перед собой прислонила к ридикюльчику; ее соседка сонно слюнявила локон, изгибая его на щеке.

А Крапива, не отрываясь от рукописи, бубнил:

— …вунь ідзе ваш далакоп бярэ анучу і адыходзіць у бок уваходзіць чарнавус вера стаўшы ў позу гаворыць урачыста дурашлівым тонам прывітанне галоўнаму далакопу ахавальніку скарбаў…

В дверях кабинета появился запыхавшийся Рахленко. Мгновенно оценив читку как провальную, шумно двинулся к столу Крапивы.

— Доброго здоровья акулам пера, мастерам многоточий и дефисов, воспевателям кампаний и починов, сочинителям призывов и лозунгов в лучшей газете республики «Звязда»! Извините, припоздал: совещание по декаде. Кондратик, Аристофан ты наш, иди покури, пофагай! На чем автор остановился? — Актер глянул в раскрытую рукопись, скользнул взглядом по зашевелившейся редакции, решил: — Впрочем, начнем сначала. — Откашлялся, воркующим баритоном произнес: — «Кандрат Крапіва. Хто смяецца апошнім. Сатырычная камедыя ў чатырох дзеях. Дзеючыя асобы: Гарлахвацкі — дырэктар інстытута геалогіі…»

В туалете из кабинки — там шумела, сливаясь, вода — вышел чуть полнеющий улыбчивый альбинос на легком подпитии, представился:

— Иван Крупеня — собственный кореспондент «Звязды». Я в восторге от вашей смелости! Видел спектакль, потому игнорирую читку, простите. Но

с вами, Кондрат Кондратович, жаждал встретиться… простите, что в таком месте, но лучшего для разговоров — не найти. — Он вернулся в кабинку, потянул цепочку — спустил воду; зашептал: — Хочу сюжетик предложить. Сатирический.

— Я зарекся писать сатиру.

— И все же, все же… Года три назад мы с Дедюлей — это тоже спецкор «Звязды», он сейчас слушает вашу пьесу…

— Что за странное название газеты? — Крапива попытался уйти от излияний. — Или «Зорка» или «Звезда». А то: «Звязда» — на каком это языке?

Но Крупеня не слушал, снедаемый желанием поведать «сюжетик».

— Платит хорошо именно «Звязда», не будем переименовывать орган. Так вот, посылают нас с Дедюлей в Витебск собрать материал для очерка… — Журналист опять сунулся в кабинку, спустил воду, — для очерка о подвигах наркома внутренних дел, приснопамятного Николая Николаевича Ежова: он тут, оказывается, воевал в годы Первой мировой. Местные чекисты приветили нас радушно, открыли все архивы… угощали, разумеется… Но ни в одной коробке, ни в одной папке даже его фамилии нигде нет, вот! Мы подумали: может, его сразу ранили, — и сунулись в госпиталь. И что вы думаете — вот он, сюжетик! — Журналист опять дернул цепочку слива воды, зашептал: — В госпитале нашлась запись, что ефрейтор Ежов поступил туда… с венерической болезнью! Мы переглянулись, закрыли папочку и вернулись в Минск: ничего, мол, не нашли. Ну, как сюжетик?

— Извините, Иван, мне хочется в кабинку.

— Я вас подожду. Тут напротив чудный пивной ларек с бочковым. Но своим подают из-под прилавка и что-то поинтересней пивка… Обмоем сюжетик.

Журналист Иван Крупеня, оказывается, то ли был в номере Янки Купалы, то ли где-то рядом в гостинице «Москва», в тот роковой день 28 июня 42-го года, когда поэт за десять дней до своего юбилея улетел в лестничный пролет. Сын журналиста Евгений знал от отца тайну гибели Купалы и порывался поведать. Однажды упомянул об официантке, которая якобы в ответ на комплимент Купалы и просьбу назваться сказала: «Я — смерть твоя». Но условие Евгения было неприемлемым: местом открытия тайны гибели поэта назначался ларек с бочковым. Сегодня видится с сожалением: следовало быть менее брезгливым.

Когда Кондрат вышел из кабинки, Крупени не было. Но у рукомойника ополаскивал руки Ружевич — в штатском.

— Откуда вы тут взялись? — опешил Кондрат.

— Я же ваш друг. Обязательный.

Даже сюда доносился смех, следовавший за каждой фразой бархатного баритона Рахленко.

— Так вот: про «сюжетик» этого поддавалы забудьте, — приказал чекист.

— Да я и не собирался…

— Кто вас, инженеров человеческих душ, знает!.. Вы же вот нарушили подписку о неразглашении вызова к нам.

— Жена сама догадалась.

— Но вы не отрицали. И Кулешову проговорились.

— Как-то в разговоре… мимоходом. Но я не думаю, что он…

— Видите, Кондрат Кондратович? А я ведь не знал о Кулешове, только

предположил. Оказалось — несдержанны вы. Осторожней с друзьями. Перед вами — Москва. Молчать надо. Молчать!

Ружевич, заглянув в кабинку, дернул цепочку; зашумела вода. Он придвинулся к Кондрату, зашептал:

— Закрывают спектакли врагов народа. Пьесы Василя Шешелевича изъяли из репертуара: «Волчьи ночи» и «Симфония гнева».

— В «Симфонии» композитора Салька играет Владомирский. Я потрясен его игрой!

— Он и у вас играет Тулягу — совпадают биографии. Знаете, что Владомирский — бывший царский офицер и скрывает это? Что он в разработке?

— Это как?

— Ну… расследуем, выясняем.

— Как меня?

— Этот вопрос, считаем, я не услышал.

— «Хто смяецца апошнім» — злободневная пьеса…

— Так что с Шешелевичем?

— Сослали в Томск. Сперва был статистиком в лагерной санчасти. Потом написал пьеску из лагерной жизни…

— Узнаю Василя!

— Обвинили в поклепе на воспитательно-трудовую систему. Сослали на лесоповал учетчиком. Он уже совсем доходягой стал, посадили его у костра. Валили лес, рухнуло огромное дерево прямо на него, придавило к костру. Прибежали зэки на крик, сдвинуть ствол не смогли, побежали за пилой… Сгорел ваш Василь.

Голоса Рахленко не было слышно: заглушили аплодисменты.

— Почему вы, товарищ лейтенант госбезопасности, мне доверяете?

— Не знаю… У вас трое детей, семья, гнездо… Я одинок, а иногда хочется… И нет у меня друга, не «обязательного». Надо же кому-то доверять — не все же у нас… — Ружевич улыбнулся. — Ладно! Идите: аплодисменты — вам.

Эхо как чудо

Допущения:
вероятность подтверждается стенограммами.

С улицы Карла Маркса редкие ночные прохожие видели в темном здании ЦК ряд светящихся окон зала заседаний.

Там шуршали листы блокнотов: заседавшие помечали, вычеркивали, записывали; нервничали и — трусили. Мужчинам не терпелось… нет, без курева как-то еще можно было потерпеть, — а неотложно справить нужду. Но никто не осмеливался покинуть совещание. Завидовали прилежным стенографисткам, которые через определенные отрезки времени неслышно выходили, сменяя одна другую. Вернулся первый секретарь ЦК — то и дело вызывала к прямому проводу Москва, — сел за рабочий стол, рядом с наркомом НКВД.

— Довожу до общего сведения Постановление бюро ЦК. Зачитываю: «Задача состояла и состоит в том, чтобы собирать и всемерно популяризировать замечательные песни, поэмы, стихи, какие сложил, слагает белорусский народ, белорусские писатели, поэты, лучшие представители искусства в честь товарища Сталина». Задача формулируется ясно, четко. Наши действия: ликвидировать творческую пассивность. Начинайте, товарищ Озирский.

Тот вышел на трибуну, как на суд, забормотал:

— На всех предыдущих декадах, отсмотренных нашими товарищами, участвовали оперные театры и филармонии. Мы, в отличие от других республик, решили везти также и драматический театр.

— Не ваша заслуга. Это предложила директор театра, — отмахнулся Пономаренко. — Спасибо, товарищ Аллер. Вот вы и продолжите. Можно с места.

— Четыре спектакля готовы, — четко доложила директор, единственная здесь женщина.

— Да, вот передо мной программка: «Последние» Горького, Коломийцев — Владомирский, его сын — Платонов, Верочка, его дочь — Ирина Жданович… — Секретарь повернулся к наркому.

Цанава скривил губы, развел ладони.

Пономаренко обратился к Аллер, спросил очень доброжелательно:

— Думаете удивить Москву русской классикой?

— Из шестидесяти постановок этой пьесы по стране наша признана лучшей! — смело рапортовала директор.

— То есть, предлагаете МХАТу или Малому поучиться у Белорусского театра?.. Ладно. «Гибель волка», «Партизаны» — это национальные пьесы, так?

— Да. И они… они еще дорабатываются, идут последние репетиции.

— Как у всех, — горестно отмахнулся Пономаренко.

— Но «Хто смяецца апошнім» третий сезон играем на аншлагах!

— С этим спектаклем вопрос решен. Автора включить в поездку не забудьте. — И к сидящему рядом наркому НКВД: — Или пожалеем Крапиву — оставим в Минске?

— Нэ-эт, пускай едет с нами — вместе в Москве отвечать будем за сатыру, — заявил Цанава, наклонился, прошептал на ухо секретарю: — Смэется много Крапива, смэется с дружками, которые в разработке: Лыньков, Кулешов. Поедет с нашим сотрудником.

Пономаренко согласно кивнул.

— Так, Озирский, продолжайте. Вы как начальник Управления по делам искусств чем нас порадуете?

— Открываемся, как известно, новой оперой Евгения Тикоцкого «Міхась Падгорны».

— Известно. Дальше.

— В опере есть арии на уровне Пуччини.

— Вы слушали?

Озирский замялся:

— Свидетельствуют музыковеды… были на репетициях…

— Постановка готова? — допытывался Пономаренко.

— Премьера в декабре… — Голос начальника искусств БССР становился все менее уверенным. — Балет Крошнера «Соловей» готов.

— Уже хорошо.

— Но… к творческим недоделкам следует отнести только… недоработанность финала балета, — бубнил Озирский. — То же и в «Кветке шчасця»: опера готова… но композитором Туренковым будут внесены изменения в музыку, вытекающие из переделки либретто.

— Готово или нэ готово? — не выдержал Цанава.

— Переделки — в каком направлении? Из-за чего? — допрашивал Пономаренко.

— У нас в Белоруссии драматургия страдала тем, что страна рисовалась в исторических темах, а в советском периоде — лишь до Гражданской войны.

— Это выяснилось только вчера? — Первый секретарь начинал злиться. — Я вас спрашиваю: это выяснилось вчера — «как она рисовалась», за месяц до декады?

Повисла гнетущая тишина — предвестник паники. Озирский потянулся к стакану с водой.

— Позвольте, Пантелеймон Кондратьевич? — Поднялся худенький молодой человек в очках, представился: — Марк Шнейдерман, дирижер. Каждый день на пультах оперного оркестра — новые ноты: вписки, репризы, купюры, дописки. Но ни одно произведение не может выдержать бесконечного числа поправок и переработок, чтобы это не отразилось на его художественном качестве. Извините, конечно.

— Спасибо, товарищ Шнейдерман. Темпы по линии писателей недостаточные, чтобы быстро закончить либретто. — Пономаренко наклонился к сидящему рядом наркому НКВД, прошептал с упреком едва слышно: — Некому поручить. Говорят, что у вас, на Володарке, столько писателей, что правомочны проводить пленум.

— Еще немного осталось, — успокоил Цанава. — Глебка, Бровка…

— Они авторы и либретто, и песен, и приветствий.

— Справятся….

Пономаренко поводил чубуком холодной трубки по губам, повернулся к трибуне.

— Что примолкли, товарищ Озирский?

— Нам нужно освежить наш репертуар, чтобы отразить белорусский народ как народ оптимистический, зажиточный, цветущий…

— Так освежайте! — Секретарь грохнул кулаком по столу. — Всем вас обеспечили: столовая в театре, все художественные мастерские, репетиционные залы и сцены — сколько просили, машины, портные в Доме Правительства, любые специалисты, денег вдосталь!.. Рудник здесь? Финансист наш?

— Болеет, — неуверенно подсказали из зала.

— Он в разработке, — шепнул секретарю Цанава.

— Чем еще обеспечить — говорите! Ну?! — Пономаренко перешел на крик. — И каждый день на календарь смотрите! Все!

Первый секретарь почти никогда не повышал голос, сейчас — все понимали — это оправдывалось критичностью ситуации.

— А что, если ночью не будем говорить о грустном? — раздался картавый возглас из глубины зала. — У меня лично очень хорошие новости.

Все оглянулись на смельчака.

— Дамам: маркизет, крепдешин, крепжоржет — смотря по масти и прически, — в достатке… Ой, слушайте: каких дамских куаферов я нашел! И где, вы думаете? Таки в Мозыри! — Тщедушный пузан с клочками торчащих над ушами пепельных волос вещал с ярким местечковым акцентом.

— Это кто? — встрепенулся Пономаренко. — Кто вам давал слово?

— Никто. Я смотрю, вы скучный, товарищ Пономаренко, ваши товарищи по борьбе с капитализмом все скучные.

— Вы кто, товарищ?

— Я Шапиро.

— Моисей Шапиро из Главснаба, — робко уточнила директор театра Аллер и шикнула: — Сядь, Моня.

— Как вы сюда, в ЦК, попали?

— Я слышал, что нет таких крепостей, которые бы большевики не взяли: таки через двери.

— Вы член партии?

— Только собираюсь. Я слышал, что учение Маркса вечно, я вступить еще успею.

— Сядь, Моня, — одергивала снабженца Аллер.

— Обожди, Фаня. Товарищ Пономаренко, ваше дело руководить, артистов дело петь, а мое дело снабжать, чтобы и руководилось, и пелось хорошо. Так я подумал: нет, не все у нас плохо! — Шапиро раскрыл портфель, достал связку лоскутов. — Мужчинам всем: туфли шевро, шевиот на костюмы — уже завез в закройку, — и всем драп на палито. В декабре, когда декада, в Москве зима. Так что не все у нас плохо, товарищ Пономаренко.

Заседавшие оживились, улыбнулся и первый секретарь.

— Спасибо, товарищ Шапиро. Действительно ведь: не все у нас плохо… Встрять в наше обсуждение с маркизетом — это первое, что пришло вам в голову?

— Нет, товарищ секретарь, второе.

— А что первое?

— Это касается только нас с вами.

Зал грохнул смехом. Смеялся и первый секретарь.

— И все же: как вы прошли в здание?

— Я вам подскажу при личной встрече.

— Интересно! — Отсмеявшись, Пономаренко глянул в бумаги, зачитал: — «Нам прыслала Москва падкрэпление — усим фронтам пайшли у наступление», — это что? На каком языке?

— Текст песни. Ее будет петь хор села Великое Подлесье, — подсказал кто-то из оргкомитета.

— А, певухи эти!.. «Все буржуи-паны разбяжалися, как за зброю мы ўсе разам узялися». Неужели народное?

— Почти. Срочно сочинил Цитович — их руководитель. Чтоб в Москве было понятно.

— А он, Цитович, кто?

Тут Цанава вытянул лист из папки, пояснил негромко:

— Окончил белорусскую гимназию, духовную семинарию, университет как этнограф и математик, консерваторию — все в Вильно. Сэйчас он музыкальный редактор Барановичского областного радио.

— Что ж, пожалуй, козырь, — оживился Пономаренко. — Два месяца назад селяне еще жили в панской Польше — и вот она, воспрянувшая поющая Белоруссия!.. Кто из оргкомитета слушал коллектив?

Зал примолк. Цанава заверил негромко:

— Группа лейтенанта Крупени выезжала в Великое Подлесье, анкеты оформляла. — Поискал взглядом в зале нужного человека. — Крупеня! Расскажи нам про хор. Они уже совэтские люди?

Поднялся русоволосый чекист с широкой улыбкой.

— Вполне, товарищ нарком. Молодые, веселые, пели, угощали. Нам понравилось.

— Пение или угощение? — уточнял Пономаренко.

— Садись, Крупеня, отвечать нэ надо, — скомандовал Цанава. — Понравилось советским чекистам настроение нових колхозников.

— Наша делегация все рекорды побьет: тысяча двести человек, — вздохнул секретарь. — Ни одна республика столько в Москву не привозила.

— Будет тысяча двести сорок два, — уточнил чекист. — Мы их уже проработали. И это будет еще один наш «секретный оружие», козырь — политический, пожалуйста!

— Хорошо, Лаврентий Павлович. А что у них с костюмами? Кто доложит?

С места подал голос осмелевший Шапиро:

— Если нужны крепдешин, крепжоржет, чулки шелковые…

— Сядь, Моня, — умоляла Аллер.

Поднялся Крупеня.

— Разрешите ответить, товарищ нарком?.. У хора национальные вышитые сорочки, жакетки с гарусом, домотканые юбки — таких ярких мы нигде не видели… и девушки красивые.

— Нэ возражаю. Но тут нужна, как учит нас товарищ Сталин, бдительность: эти дэвушки только что вырвались из капиталистического гнета! А в каком окружении живет наша страна?.. Понял, лейтенант? Садись.

— Ну, и главное: заключительный концерт. — Пономаренко тяжко вздохнул, помнил из опыта прошедших декад: главный зритель придет на открытие и уж обязательно — обязательно! — на заключительный концерт. А тут у них…

Пономаренко знал, как в союзных республиках готовились к декадам. Загодя приглашали композиторов из Москвы, которые на местном фольклорном или историческом материале с помощью местного коллеги «на подхвате» производили на свет национальную оперу. Присылала Москва также декораторов, балетмейстеров, певцов, режиссеров, даже парикмахеров — их в республиках называли «засланцы». После декады они, щедро оплаченные из местных бюджетов, становились «заслуженными», «народными», «лауреатами» этих республик. Но до Минска дошел слух, что после заключительного концерта Грузинской декады Сталин якобы недовольно упрекнул земляков на грузинском: мол, ничего нового, три раза звучала «Сулико», много плясок мужчин на носочках, а где дружба советских народов, где интернационализм?

И в Минске тогда решили: обойдемся как-то своими силами.

Но — ничего не готово, завал по всем позициям…

Влетел помощник, бросился к секретарю, зашептал на ухо.

Пономаренко, опрокинув стул, бросился прочь из зала.

Аудитория притихла в томительном ожидании: что-то случилось.

Цанава постукивал карандашом, почесывал им квадратик усов, поглядывал на дверь…

Шапиро, сопя от напряжения, копался в портфеле…

Все выжидали.

— Товарищи! — не садясь, сурово обратился секретарь. — Сегодня, 26 ноября, в 15.45 у карельской деревушки Майнила на реке Сестра финская армия крупнокалиберными снарядами обстреляла сосредоточение войск нашей Красной Армии. Декада БССР переносится. — Не выдержав, улыбнулся и почему-то пожал руку Цанаве. — Все свободны.

Нарком выкрикнул:

— Война будет побэдоносная, короткая. Эй, Шапиро! Драп на палто отменяется: зимой в Москву нэ поедем. — И побежал к боковой двери.

Заседавшие шумно и стремительно покидали зал, устремлялись к служебному выходу.

Тайное — явное

Допущения:
могло произойти и так.

Они сидели на скамейке спиной к речке, в боковой аллее парка Профинтерн, неподалеку от цирка шапито. Сквозь молодую листву пробивались бегающие цветные огни, на бодрое звучание слаженного оркестра накладывались то взрывы смеха, то рычание хищников, то неистовые

аплодисменты. Это было предусмотренное чекистом Ружевичем публичное одиночество: в многолюдном вечернем парке, и он — в кепке, в штатском двубортном костюме из шевиота, со значками ГТО и Осоавиахима на мелких цепочках.

— Дальше: вот Бедуля… Змитрок Бедуля: бывший эсер, член нацдэмовских организаций, изобличается как участник национал-фашистского подполья, — бормотал Ружевич, с улыбкой вертя головой, оглядывая проходящих мимо молодых женщин. — И то, что он — Шмуил-Нохим Хаимович Плавник, значения не имеет, не подумайте, что я антисемит!

— А где это «подполье», под каким полом? — с неприязнью, сквозь зубы выдавил вопрос Кондрат.

— Понимаю вас: сатирик, игра слов… А про дружков ваших не хотите ли…

— У меня нет «дружков» — только друзья. Один, правда, обязательный.

— Хорошо: друзья. Лыньков, Кулешов — так?

— Не хочу про них.

Музыку заглушил рев нескольких моторов. Ружевич кивнул в сторону цирка:

— Новый советский аттракцион «Медведи на мотоциклах» Василия Буслаева — рекордные трюки! Могу детям вашим пропуск в цирк устроить.

— Спасибо. Купим билеты. Ладно: так что… про друзей?

— А! Да все то же: Михась ваш, Лыньков Михаил Тихонович — участник национал-фашистской организации, ведет подрывную работу в Союзе писателей, автор антисоветских литературных произведений.

— Каких?

— Неважно.

— Я читал все, что им написано!

— Он еще в разработке… — не смутился чекист.

Мороженщица катила белый ящик. Ружевич вскочил, купил два эскимо.

— Вам надо охладиться, прийти в себя. Продолжать?

Зажатое в ладонях мороженое таяло, но Кондрат сидел молча, неподвижно.

— И друг Кулешов там же: участник национал-фашистской организации, — будет втягивать туда и вас, учтите! — пишет антисоветские стихи.

— Какие стихи, какие «организации»… — с болью досадовал Кондрат. — Вы хоть сами в это верите? Ведь же знаете, что это ложь! Знаете?!

— Крапива, есть вопросы, которые я от вас будто не слышал. А вот у меня вопрос… ну, так, между делом: вы же знали, что артист Владомирский в прошлом царский офицер. Не могли не знать — иначе не повели бы эту линию у вашего персонажа из комедии, у Туляги. И потому роль эту дали именно Владомирскому… А мне жаль вас. Хочу уберечь.

— За что ласка такая?

— А вы — талант.

— Есть и другие, более меня…

— С другими пусть откровенничают другие… по мере доверия.

— «Обязательные друзья»?.. А как теперь мне вести себя со своими?

— Молчать.

Ружевич провожал взглядом проходившую красавицу. Огни цирковой рекламы просвечивали ее модное — плиссе-гофре — крепдешиновое платье.

— Барышня, у вас паспорт с собой? — развязно крикнул ей вслед, но та удалялась молча. — Я бы на ней женился.

Кондрат, поколебавшись, решился спросить:

— А я? Я у вас — как прохожу? Я в «разработке?»

— Есть вопросы, которые, будем считать, вы их словно не задавали.

— Но о себе-то я могу…

— Этого вам знать не положено. Я и так многое открыл… может, зря, не знаю… Жаль вас: талантливы, еще сатиру напишете — жить станет веселее. Рогуля ваша, — вспомнив, заулыбался Ружевич, — корова из басни: не дает молока, оказывается, потому, что нет кормов. Вас не клеймили за поклеп на…

— Клеймили.

— Вот. И еще собираются. Кстати, давно хотел спросить… «Крапива» — взяли псевдоним, чтобы жалить побольнее?

— Взял псевдоним, чтобы в случае неудач… или отбытия на Володарку не позорить имя отца. Еще вопросы «кстати»?

Трещали моторы мотоциклов, ревели медведи, восторженно аплодировали зрители, гремел оркестр. Чекист глянул в сторону цирка.

— Открытие сезона. В аттракционе у Буслаева молоденькая ассистентка Ира Бугримова — ах, пригожа: брызги шампанского!.. На сегодня все, товарищ Крапива.

— У меня вопрос, всего один вопрос… Я у вас… тоже?

Ружевич смотрел на Кондрата ясным взором, молчал.

— Выходит, все… никому нельзя верить.

Лейтенант глянул на парковые часы.

— Задержал вас, чтобы прямо к автобусу. К какому еще…

— Я провожу вас.

— Дорогу домой знаю.

— Не домой, а к вечернему автобусу на Вилейку — там у вас творческие вечера, все организовано, афишки, прочее.

— А это к чему? Я же не знал, не готовился…

Ружевич помолчал, всматриваясь в писателя. Тот поднялся, сверху вниз выжидающе глядел на Ружевича.

— Кондрат, вы же умный…

— Ах, да… Но был бы умный, не писал бы сатиру.

— Вождь юмор, говорят, любит: не зря же пересматривает «Волгу-Волгу»!

— Юмор… да. А как отнесется к сатире? Псевдоученый — директор института…

— Послушайте… Уехать вам следует. Немедленно, — тихо внушал чекист. — Неужели непонятно?

Кондрат понял.

— Спасибо. Но хотя бы моих домашних…

— Дома все знают, они предупреждены, спокойны. И вам материальная поддержка: за каждое выступление — получка, там что-то заплатят. В Вилейке есть кому вас опекать. В гостинице телефон… Да что я вас уговариваю: уезжать — и все!

— Не пугайте: две войны прошел.

— На войне или ранят, или убьют. А тут сегодня… сложнее.

Они направились к мостику у выхода из парка. У деревянной ажурной арки, увитой дерезой, Ружевич придержал Кондрата.

— И вот что, — как бы между делом забормотал чекист. — Не возвращайтесь, пока вас не вызову: позвоню в гостиницу. Не пугайтесь, что заговорю официально: вернетесь заполнять анкету на участие в декаде.

Точка возврата

Допущения:
произошло наверняка, правда, в другом областном центре.

Узкий — едва разъехаться двум фаэтонам или возам — тракт на Вилейку вымощен подогнанным булыжником: «брукованы», как тут говорят. Дорога по обе стороны часто обсажена ветлами, отклонившимися в сторону полей.

Встречные на велосипедах-«роварах» с загнутыми рулями-«баранами» съезжали перед тупоносым автобусом на обочину, некоторые здоровались, приветливо махали водителю.

Мотор старенького форда не выступал перед корпусом, а размещался непривычно: справа от водителя, ближе к передней двери, которую тот открывал хромированным рычагом.

Водитель в польской шапочке-кепурке со сложенными «ушками» всем выдавал отрывные билеты, даже тем, кто на промежуточных остановках перед выходом пытались монеты ему просто сунуть.

Он, видно, был собственником автобуса и пока не осознал, что его машина уже не его, а государственного автопарка, — и все еще привычно досматривал уплывшую собственность. Занавески с помпончиками на вымытых стеклах, печатная иконка Матери Божьей Остробрамской, фото двух летчиков — то ли рекордсменов Речи Посполитой, то ли ее погибших героев: Цвирко и Вигуры, — табличка на польском с прейскурантом платы за проезд в злотых — все придавало салону уютный вид.

Тряска не мешала: Кондрат подремывал, время от времени роняя подбородок на грудь. Лесистый край был знаком: каких-то полгода назад, в минувшем сентябре, на броне краснозвездных танков они примерно в этом районе перешли советско-польскую границу. Вот шлях пересекли рельсы однопутки из Молодечно, вот бывшая польская застава-«стражница», деревня Глинное, деревянный, но прочный — выдержал двухбашенные танки Т-26 — мост через Вилию, крутой изгиб дороги влево… Автобус резко вильнул на песчаную обочину.

Обгоняя его и отчаянно сигналя, промчался кортеж черных машин, возглавляемых двумя лимузинами ЗИС-101.

А вот и Вилейка.

По обе стороны улицы двухэтажные опрятные домики: внизу мастерская или лавочка — с некоторых еще не сняли вывески на польском; второй этаж — жилой. В центре городка справа белела церковь, у которой толпился празднично одетый народ — все с вербами, обвитыми ленточками и бумажными цветками. Вокруг стояли упорядоченно выстроенные возы с лошадьми, упрятавшими морды в торбы с овсом. Между штакетинами ограды воткнуты передние колеса десятков велосипедов. На какие-то мгновения шум мотора и автобусной тряски перекрыло слаженное хоровое пение.

Женщина, сидевшая рядом, крестилась — по груди: справа налево — на церковь; пояснила Кондрату:

— Свята: уваход Госпада у Иерусалим. Вербница.

Мужчина, сидевший через проход, завидя в свое окно проплывающий костел, тоже крестился, но — слева направо. Из костела донеслись звуки органа.

Выйдя на конечной остановке, Кондрат побрел по городку, помахивая плетеной кошелкой, которую по-советски стали называть «авоська».

Высокую гладкую стену венчала колючая проволока. По военному опыту Кондрат знал ее название: «спираль Бруно». Мелькнуло созвучие: в России Вилюйский централ, а у нас теперь — Вилейский.

Ближе к центру городка картинка была повеселее. Первые этажи некоторых домиков еще пестрели польскими вывесками.

На углу у базарной площади стоял голубой короб на колесах со спицами. Краснолицый тощий старик в белом халате и колпаке полукруглой ложкой на длинном черенке зачерпывал в коробе мороженое и презентовал розовые шарики покупателям — преимущественно детям.

Из бочки на резиновом ходу наливали в высокие кружки морс — натуральный напиток из клюквы.

Среди празднично одетых крестьян фланировали усатые паны в котелках, цокали каблучками-«абцасиками» подкрашенные пани в сетчатых перчаточках, в шляпках с вуалетками — невиданный в советских городах контингент.

Деревянная резная рама-стенд «cinema APOLLO» извещала, что сегодня в кинотеатре демонстрируется кинокомедия «Волга-Волга». И тут же: умело написанное, почти фотографически, изображение артистки Любови Орловой в веночке из полевых цветов. Кондрат подметил: «APOLLO» до поры не стали переименовывать, не усмотрев в названии враждебного вызова, а может, просто руки пока не дошли.

На подходе к гостинице увидел он, как рабочие пытались отодрать литые буквы на вывеске «Hotel «Przytulny»; отметил, что похоже на белорусское слово «прытулак» — приют.

Его поселили без анкеты и расспросов, едва назвался. В номере стояли две кровати, но одна не была застлана, значит, никого не подселят. На медный надраенный умывальник, полный воды, Кондрат выставил зубной порошок в круглой картонке «Особый». Подумалось: что могло быть особого в тертом меле?

На столе разостлал газету, перекусил салом, вареными вкрутую яйцами; разулся, прилег в тревожном ожидании, закрыл глаза. Наплывала дорога — «брукованка»…

И примерещился окоп… Нет, осенью 39-го их не рыли, в них не укрывались — некогда было да и не нужно, — а запомнился окоп, вырытый в снегу в недавнюю Финскую войну. Там их, продрогших красноармейцев, в белых маскхалатах и просто в серых шинельках, сгрудилось много. Но сейчас — сон или видение? — всех, кто был рядом, словно посрезало: он высунулся и торчал из окопа один.

Никого из собратьев-сатириков: ни слева, ни справа.

Он, казалось, знал про их судьбы все. Или почти все.

Маяковский застрелился…

Кто ставил его сатиры «Клопа» и «Баню», Мейерхольд, — арестован; запрещены немедленно театральные постановки этого режиссера «Мандат» и «Самоубийца»…

Эрдмана, автора этих двух сатирических пьес, забрали прямо со съемок «Веселых ребят» — фильм шел без фамилии сценариста. Кондрату давали тайком машинописные копии тех двух пьес Эрдмана; читая, восхищался остроумием автора: «В моей смерти прошу никого не винить, кроме нашей родной советской власти» или «Жить стало лучше!.. Но, я думал, в «Известиях» будет опровержение». Шептались, что Эрдмана арестовали за басни, пересказывали их. Но его, Крапивы, басни — куда острее…

Месяц назад пришла весть из Москвы: умер Булгаков. Как тот высмеивал веру большевиков в экономические чудеса в «Роковых яйцах»!..

Умер Ильф — и не пополнился ряд «12 стульев», «Золотого теленка»: Петров без него сотворил вялые беззубые сценарии музыкальных кинокомедий, будто другая рука писала…

Катаев — брат Петрова — после «Растратчиков» и «Квадратуры круга» резко посерьезнел, перековался идейно…

Умолк после «Зависти» Олеша…

Перестал смешить Зощенко: персонажи его фельетонов как раз пришли во власть, заняли руководящие кабинеты — кого обличать?..

Затаился Платонов — писал, вероятно, «в стол»…

Андрей, старший брат Василя Шешелевича, взявший псевдоним «Мрый»… друг Андрей — сельский учитель-галломан, виолончелист, — сослан в Карелию за роман «Записки Самсона Самосуя». Какое наслаждение от сочности его языка, упоение остроумно описанной придурковатостью персонажа — рожденного советской системой «совчина»! «Я разговариваю общими фразами, на птичьем языке, как грамохвон», — цинично признается главный персонаж романа. Самосуй собирается в город, отбирает одежду: «Кальсоны белорусские с орнаментом — для эффектных выступлений перед национальной аудиторией». А как уморительно-едко описано его понимание образования: «Советую ответственным работникам, въезжая в деревню, пристальное внимание обращать на то, на всех ли воротах мелом нацарапаны известные всем непристойные слова и ругательства и встречается ли в них «Ў» вместо обычного «У». Если на всех воротах ругательства с «Ў», значит, белорусизация проходит удовлетворительно». Самоирония — и где же тут вменяемая как криминал «нацдемовщина»?! Белинский декларировал: «Отсутствие юмора являет собой детское состояние литературы». У Мрыя даже не юмор, а как у него, у Крапивы, — сатира!.. Три журнала «Узвышша» с «Записками» зачитывали до праха, но окончание романа уже не напечатали, да и журналы из библиотек враз исчезли…. Вместе с братьями. Василь сгорел на лесоповале, а Андрей — жив ли?..

И все эти произведения, вдруг осознал Кондрат, родились как-то параллельно и сразу — всего в какую-то пятилетку: на стыке 20-х и 30-х. И во всех перечисленных произведениях в разных характерных вариациях и проявлениях действует новый в советской литературе персонаж: устрашающий хам, малообразованный краснобай, жлоб, нахал, любитель жизненных услад. Сатирики независимо друг от друга буквально били в набат, предупреждали: рождается новый тип — совчин!.. И все умолкли: исчезли, затаились, изверились, струсили…

Тип этот в последующие, менее жестокие годы назовут точно: «homo soveticus».

Николай Эрдман на поселении анонимно участвовал в создании сценария кинокомедии «Волга-Волга». Освободившись, писал сценарии для хороших фильмов, в том числе мультиков, был автором инсценировок, смешных интермедий. Сатирических же произведений больше не создал — перо притупилось, а может, объекты не рассмотрел.

Андрей Мрый доходил в Карельском лагере. В 43-м его отпустили, по сути, умирать. Он и умер на 50-м году жизни в товарняке по дороге домой. По глухим свидетельствам и предположениям, его труп отсидевшие сроки уголовники просто сбросили на ходу.

После той «пятилетки сатирического взрыва» во все последующие, даже относительно свободные годы, вплоть до нынешних времен, ни в кино, ни в театре, ни в литературе не появилось ни одного сатирического произведения.

Ни одного!

И только его, Крапивы, пьеса «Хто смяецца апошнім», выплеснутая в 37-м, в год зловещей подозрительности и злобного отношения к людям, пьеса — единственная сатира на $^1/_6$ земного шара! — уже два года легально игралась в государственном театре… Но это — все же в провинции, а теперь она выставлялась в столицу $^1/_6$ земного шара, «пред бдительны очи». А очи те — не только бдительны… Но его вот: укрывают, выслав из Минска… Несуразица какая-то.

Он знал о писательских судьбах почти все — или ему так казалось. Но ведь не знал, что если жене арестованного «нацдэма» присуждают восемь лет ссылки, то муж ее уже расстрелян.

Один в поле воин… Не в поле — в заснеженном пространстве торчит из окопа. И без белого маскхалата. В серой приметной шинельке. Один.

Осознал это только здесь и сейчас. И ужаснулся.

Здание гмины — городской управы при поляках, а ныне Вилейского обкома партии, — оцеплено военными. У входа выстроены коридором часовые — к винтовкам примкнуты штыки. По два часовых замерли у каждой машины с номерами Пинской, Барановичской, Белостокской, Брестской областей, у двух ЗИСов-101 и нескольких «эмок» с номерами города Минска. Горожане Вилейки, обходя оцепление, пугливо перебирались на противоположный тротуар и почему-то опускали празднично украшенные лентами веточки вербы, стараясь их скрыть.

Беспрецедентные меры охраны предприняты с целью защиты совещания особой секретности. Сюда, в Вилейку, вызваны секретари обкомов партии присоединенных к БССР в сентябре минувшего года западных областей.

Собравшимся не разрешено ничего записывать, а лишь запомнить дату и направление своих действий. Если бы циркуляр, оглашаемый Пономаренко, разослали по спецпочте или даже доверили спецкурьерам, то информация каким-то образом — через секретарш-машинисток, жен адресатов — все же просочилась бы. А этого ни в коем случае система допустить не смела.

Вызванные — каждый! — уже дали расписку о неразглашении, сидели плотно вдоль стола, возглавляемого первым секретарем ЦК. На него были развернуты их головы.

Пономаренко чеканил слова:

— «Восьмое апреля тысяча девятьсот сорокового года. Секретарям обкомов партии Пинска… Вилейки… Барановичей… Белостока… Бреста… — Перечисляя, он на каждого устремлял взгляд. — 13 апреля органы НКВД будут производить выселение семей репрессированных польских помещиков, офицеров, полицейских и других. ЦК КП(б)Б обязывает вас определить все необходимые мероприятия по оказанию помощи органам НКВД в проведении операции. Секретарь ЦК…» И моя подпись.

Сидевший за общим столом, но ближе всех к секретарю ЦК, Цанава развернулся к собравшимся.

— Кому что нэ ясно — говорите сейчас.

Долгое молчание прервал местный секретарь:

— Тюрьма у нас, в Вилейке, на 210 заключенных, и частично уже заполнена. А после мероприятия, которое обсуждаем…

— Нэ обсуждаем, а выполняем! — рыкнул Цанава.

— Да, конечно… указание партии…

— Нэ указание, а — приказ!

— Я понимаю… Но, по нашему предварительному учету, арестовать придется девятьсот десять человек.

— В Минск не везите — там своих хватает! — предупредил Пономаренко.

— Чтоб найти мэсто для потенциальных врагов советской власти, у вас есть целых пять днэй, пожалуйста! Все?

Представители остальных областей делиться своими проблемами не решились — уж как-нибудь…

Чтоб разрядить напряжение, Пономаренко обратился к местному секретарю:

— Хозяин, в Вилейке найдется чем попотчевать гостей?

В дверь гостиничного номера осторожно постучали. Кондрат встрепенулся: оказывается, пока пребывал в дреме, глаза наполнились слезами; быстро утер, ткнувшись лицом в подушку, отозвался:

— Да-да, входите.

В двери возник неприметный человек в штатском, попросил:

— Собирайтесь, товарищ Атрахович.

Кондрат знал, куда собираться, но со сна как-то невольно вырвалось:

— За что?

Гонец, словно не услышав вопроса, сообщил невозмутимо:

— Через полчаса выступаете в кинотеатре перед сеансом.

Цанава вертел в руках опорожненную в обед бутылку, читал:

— «Кавакьели» — Умберто Кавакьели — Ламбрускодель Эмилия».

— Наверняка от бывшего хозяина ресторана остатки, — предположил Пономаренко. — Что ж, приятное красное шампанское.

— Я люблю наш домашний красный аладастури — покойный мой папа делал. Навэрно, в селении еще несколько квеври закопанный остались. — При разговоре о родине у Цанавы усиливался акцент.

— А я как-то больше сладенькое винцо обожаю.

— Что вы, Кондратэвич! Маринованный форель и белый холодный цоликаури — ваймэ! А еще в селении Манави делают — только там! — зеленый вино! Поехали в отпуск ко мне в Мигрелию, хо?

— Поехали в Минск, Лаврентий Фомич, там дела ждут.

— Подождут. Слушай… Пошли в кино.

— Куда?!

— В кино. Я приглашаю. На «Волга-Волга».

— Да я видел.

— Наш вождь много раз смотрит это кино. Купим билеты. Я кашне замотаю, чтобы ромбы на кителе видно не было. «Волга-Волга», э! Отдохнем, развеемся. А то все только: заседания, совещания, пленумы…

В фойе кинотеатра на стенде с киноартистами не было фотографий, а только подписи к ним: Иго Сым, Витольд Конти, Эугениуш Бодо, Ян Кепура… Все содрали поклонницы! Оставалась одна: кривляки-комика Адольфа Дымши. Не было и портретов артисток, тоже одни подписи: Ледя Халама, Пола Негри, Марта Эггерт, Ханна Скаржанка… Пытаясь заиметь фото Ядвиги Смосарской, поклоннику не удалось отклеить его целиком — на стенде осталась самая соблазнительная часть: чуть прикрытые купальником скрещенные бедра кинозвезды.

Люди пытались хоть как-то ухватить разлетавшиеся неотвратимо осколки прежнего, привычного существования… Наивные.

Кондрата предупредили: чтобы не сбивать очередность киносеансов, отведено ему на выступление минут 10—12 — вместо киножурнала. На прекрасном белорусском языке его представила красавица в андараке, горсетке и намитке. Он прочитал байку «Пра нашых шкоднікаў, папоў ды ўгоднікаў» — и сразу же понял, что неуместно: сегодня церковный праздник, Вербница. Но ему простили, зал бурно аплодировал; Кондрат понял, почему: люди рады были свободно услышать свой язык, свою мову. В Вилейке до сентября 39-го оставалась всего одна белорусская школка.

Закончил он байкой про алкоголика «Хвядос — чырвоны нос» — беспроигрышный вариант!

Ему еще аплодировали, а свет в зале медленно гаснул. Кондрат направился к выходу, рассчитывая что-то написать в гостинице.

Вдруг из последних рядов его дернули за рукав. Обомлел, узнав в полутьме лица Цанавы и Пономаренко; растерялся, забыл поздороваться. Нарком НКВД приказал:

— Сядь, Крапива. Посмотри кино, которое любит товарищ Сталин.

В музыкальном прологе фильма вокальный квартет спел про артистов, титры перечислили создателей — но и тут не было фамилии сценариста. Кондрат знал: это репрессированный Эрдман. Понятно. Но вспомнил, что и историко-революционные фильмы «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», что назойливо показывали на всех официальных мероприятиях, тоже шли без фамилии автора…

Смотрел Кондрат невнимательно: видел картину, да и думалось о другом. Сатирики, поэты-«нацдэмы» — оно понятно… А нынче что: пошел целевой «хапун» киносценаристов?..

Но вот в финале посрамлен бюрократ Бывалов, нашли Дуню-Орлову, сочинившую песню о Волге, «красавице народной, как море, полноводной». На экране артисты подняли с пола буквы, образовавшие слово «конец», дозвучала музыка, в зале медленно загорался свет.

На улицу вышли компанией, втроем.

Крапива учтиво, как мог, кивнул на прощание, понимая, что надо бы подальше от власти: она, как и пьянство, сгубила не один талант. Но Пономаренко предложил:

— Если вы, товарищ Крапива, на Минск, то прошу в мою машину.

— Нэт, — возразил нарком. — У него тут гастроли. Смотри, Крапива, вибирай, что народу читать. Я помню: твой осел с мандатом только жует овес и пэрдит. Признавайся: кого ты в этой своей басне имел в виду?

— Осла. А вы — кого?

— Опасно шутишь, Крапива, — Цанава погрозил писателю пальцем. — Иды. Свободен.

Когда Крапива отдалился, Пономаренко взял наркома за локоть.

— Куда их отсюда… этих, в конфедератках?

— Поляков? Моя задача: погрузить офицеров в вагоны. За ними приедут московские товарищи. Повезут куда-то под Смоленск: Гнездово, Катынь… Нэ наше дальше дело, товариш секретарь. Поехали домой.

Они направились каждый к своей машине. Но вдруг Пономаренко, поколебавшись, вернулся, подступил вплотную к наркому, тихо спросил:

— Так что, Павлович, после декады будем пить «Кавакьели»… или хотя бы «Советское шампанское»? Как думаете?

— Мне бы хотэлось отцовский аладастури открыть — там, в моем Мартвили! А вообще… Не знаю, Кондратэвич, честно: не знаю. — И пошутил мрачно: — Может, тут, в Вилейском централе, будем, пожалуйста, выта-

чивать приклады для винтовок, пилить шпалы или шахтные стойки, клеить авиафанеру.

— А жены?

— И им тут мэста хватит: будут шить бушлаты, телогрейки, маскхалаты белые — откуда, думаешь, они в Красной Армии берутся?.. — Молчал, сопел, скреб квадратные усики. — Честно: нэ знаю, дорогой, что с нами будет. Всэ под Богом ходим. Всэ.

Пономаренко достал трубку, раскурил, пробормотал:

— Под Богом ли…

Зря тряслись: у обоих жизнь — с некоторыми неизбежными осложнениями — пройдет в почете, чинах и наградах.

Оба умрут в почтенном возрасте, в своих, как говорится, постелях.

Точка невозврата

Допущения:
по выявленным деталям и рассказам потомков.

К лету 40-го Германия уже подмяла под себя Австрию, Чехию, запад Польши. Как раз в самые горячие, последние дни репетиций в Минске, перед отъездом белорусов на свою декаду, в Европе грубо перекраивалась карта. Под напором немецких армий пали Дания, Норвегия, Бельгия, Франция: вермахт маршировал под парижской Триумфальной аркой, Гитлер скользил взглядом — снизу вверх — по Эйфелевой башне.

Белорусы газеты, конечно, читали, радио слушали, но были спокойны: знали, что «БССР — оплот СССР на западе», что «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». А все помыслы были об одном: как оценит их искусство главный зритель — товарищ Сталин.

По его замыслу, декады должны свидетельствовать о расцвете в СССР национальных культур. Во время проведения очередной декады на ее мероприятия следующая республика засылала своих, так сказать, резидентов: что-то позаимствовать, от чего-то отказаться, найти то, чего еще не было. Агенты БССР присутствовали на предыдущих декадах, откуда и знали про оформительский размах киргизов, про недовольство Сталина грузинским репертуаром. На декаду БССР уже заслали своих наблюдателей буряты и казахи.

В начале июня Москва в шестой раз принимала участников республиканских декад: цветы, красочные транспаранты, афиши — по всей столице; встречи, размещения, питание были отработаны; площадки выездных концертов по столичным и подмосковным предприятиям подготовлены. Во многих Домах культуры и заводских клубах уже поправили первую букву в аббревиатуре предыдущей республики «Привет участникам декады АССР!» на «БССР!».

Директор архива-музея литературы и искусства Беларуси Анна Запартыка: «В нашем архиве хранятся все постановления комиссии по декаде: репертуар театров и коллективов, командировки участников, график очередности прибытия в Москву всех 1240 человек».

К каждому коллективу и солистам прикреплялся сотрудник, «шеф» с внешне неопределенными функциями, но который ежедневно обязан был составлять отчет о своих подопечных. Кроме того, оставались при своих

обязанностях приехавшие в Москву сотрудники сопровождения из ведомства Цанавы. Словом, участники декады искусства БССР не оставались без внимания.

Из Минска в столицу СССР ежедневно поездами планово прибывали коллективы. Пройдя под навесом перрона мимо скульптуры из черного мрамора — сидящих рядышком на скамье Ленина и Сталина, — артисты направлялись в зал ожидания. Там спецслужбы скрупулезно сверяли списки и каждого персонально регистрировали. Изредка в некоторых анкетах находили неточности, возникали вопросы — этих артистов временно задерживали, просили пройти на второй этаж: для уточнения. Остальные выходили на привокзальную площадь. Вокруг сквера с памятником Горькому выстроились автобусы ГАЗ-45. За ветровыми стеклами виднелись таблички с указанием коллектива, которому этот транспорт предназначен, — как бы даже для отставших или заблудившихся.

Ведомство Цанавы поработало с оформлением предельно четко: за все дни прибытия из Минска коллективов никаких зацепок, кроме описок и мелких неясностей, в анкетах белорусских артистов не имелось. Уже на выходе, у последней стойки, каждый руководитель должен был просто уточнить: от какого профсоюза его коллектив. В это утро уже прошли труппа драмтеатра, балет Оперного, военный ансамбль, одна группа физкультурников, «цыплята», литераторы — в том числе Крапива с сопровождавшим его лицом. Далее в свой автобус и, согласно рангу и заслугам артистов, — в гостиницу или общежитие.

Прошли регистрацию и очень гладко анкетный контроль «западники»: народный хор из Великого Подлесья. Скандал с ними разразился уже на самом выходе: у них в селе при панах не было профсоюза, а при Советах его еще не успели создать — люди только работали и пели. И хору без профсоюза предложили возвращаться домой.

Они еще не успели посмотреть советский фильм «Волга-Волга». А там тоже на смотр в Москву не пускали талантливый народный, но не имеющий профсоюза коллектив.

Но кинофильм — комедия, а тут — драма.

Сельский гармонист развернул было меха, попытался развеселить учетчиков. Но к нему подошли двое в гимнастерках.

— Фамилия, товарищ?

— Крамник Рыгор. А что, поиграть нельзя?

— Можно. Не здесь.

— А душа поет!

— Чтоб отвести душу, есть специальные места. Тут люди работают.

Вздохнули меха, парень сунул гармонь в холщовый мешок. Удрученные «певухи» — все в потертых деревенских плюшевках-«куфаечках» — сели на свои узлы-«клунки» с костюмами и едой. Приуныл и их руководитель, всегда веселый и подвижный Гэнек Цитович. В опустевшем зале ожидания ожидали неизвестно чего.

Джаз-оркестр встречал в Москве его директор Давид Рубинчик. Он, вручив трем солисткам по пышному букету, повел веселых, переговаривавшихся на польском и идише музыкантов по перрону, мимо мраморных Ленина-Сталина, но не в зал регистрации, а прямо на выход. Стоявшие там постовые в

белых гимнастерках, явно предупрежденные начальством, взяли под козырек. Шедший впереди руководитель джаза Эдди Рознер вежливо улыбнулся, приподнял шляпу. Так же приветствовали московскую милицию и все тридцать музыкантов. Две певицы и танцовщица шли отдельной стайкой. Их букеты, походка, внешность, аромат духов, прически и наряды — все выглядело несоветским! — вынуждало милиционеров провожать женщин взглядами. За коллективом носильщики катили несколько тележек с громоздкими инструментами и кожаными — опять же, не советскими — чемоданами и кофрами. Два автобуса без табличек стояли не вдали, у сквера, а прямо на площадке у выхода из вокзала.

Загрузившись, вырулили автобусы на улицу Горького и покатили по прямой: к гостинице «Москва». Как смог Рубинчик устроить весь джаз в этот режимный приют — тайные и умелые ходы администратора.

Рубинчик Давид Исаакович — выдающийся организатор, после директорства оркестром работал в Минске главным администратором Русского театра, директором городских театральных касс. Вырастил сына Валерия, знаменитого кинорежиссера.

Комендант вокзала соединил по телефону руководителя сельского хора Цитовича с председателем жюри, крупнейшим хоровым авторитетом страны профессором Свешниковым.

— Пусть по анкетам мы не проходим, но по творчеству, Александр Васильевич, точно вам подойдем! — уговаривал Свешникова белорус. — Вы такого звучания, как мой хор, не слышали. А какие басы! Мужики такие, знаете, не для запаха, а… Так что нам делать? Приехали — и даже сало свое не съели, а уже сразу домой?

Содержание профессорского ответа можно было прочитать на лице Цитовича: против бюрократических требований даже крупнейший хоровой авторитет СССР был бессилен. В трубке зазвучали гудки отбоя.

Поселив свой богемный коллектив, Рубинчик вернулся на вокзал: распорядиться насчет перевозки инструментов, радиоаппаратуры и станков-подмостков в Летний театр сада «Эрмитаж». Там Государственному джаз-оркестру БССР под управлением и при участии трубача Эдди Рознера предстояло гастролировать во все дни декады. Как удалось сломать график работы первой эстрадной площадки Москвы и втиснуть туда на целых десять вечеров свой коллектив, это тоже тайна и умение директора Давида Рубинчика.

Пробегая через зал, он увидел табор: рассевшихся на узлах вдоль стен хористов. Они, притихшие и растерянные, дремали, перекусывали, шептались. Долговязый Цитович, опершись на подоконник, оглядывался растерянно.

Цитович Геннадий Иванович — создатель Государственного народного хора БССР, который ныне носит его имя, собиратель и пропагандист фольклора, народный артист СССР, веселый, добрый и душевный человек.

Давид Рубинчик все понял, подошел — наглядно с Цитовичем знали друг друга.

— Какие проблемы?

— Отправляют домой: у нас нет профсоюза. А тут без этого, оказывается…

Рубинчик, не дослушав, подошел к нужному столу, солидно представился:

— Хор села Великое Подлесье.

— Да, ваш коллектив в перечне. Вы кто?

— Я директор.

— Ваш хор из какого профсоюза?

— Из профсоюза «Леса и сплава», — уверенно назвал Рубинчик.

— Так сразу бы и сказали. Так и запишем. Вот, получите программу: у вашего хора каждый день по два выступления, кроме последнего, — дня закрытия декады, участвуете в заключительном концерте. А первый концерт прямо завтра на ВСХВ. Все. Выводите коллектив из вокзала. Всего хорошего. Пригласите на концерт.

Хористы, суетливо свернув недоеденное, ринулись к выходу.

Уже на площадке перед вокзалом сухопарый Цитович обнял директора джаза.

— Оказывается, все так просто. Спасибо, дороженький. Но, чтоб вы знали, у нашей деревни нет поблизости ни леса, ни реки!

— А профсоюз «Леса и сплава» теперь у вас будет, — заверил Давид и передал Цитовичу его программу.

— Вы, дороженький, человек — не скажу хитрый, но разумный! Как минский еврей обдурил надутого москвича!.. Хочу предложить вам бутылку нашей сельской домашней горелки. Вам религия позволяет?

— Позволяет. К тому же я — коммунист.

— Примите от беспартийных. От души.

Взъерошив густые, словно из тонкой проволоки, волосы, директор уточнил:

— Горит?

— Пылает.

— И возьму. — Рубинчик улыбнулся, обнажив крупные зубы.

Кондрат и Ружевич осваивались в двухместном, с высоким потолком, номере гостиницы «Москва» — где-то на самом верхнем жилом этаже, с окном, выходящим во двор, с видом на крышу кинотеатра «Стереокино».

Лейтенант высунулся в окно, огляделся, осмотрел шкаф, раскрыл и закрыл створки буфета, поднял и поставил телефон, кинул взгляд на люстру, заглянул в патефон. Кондрат аккуратно разложил на кровати ненадеванный — «от Пука» — выходной костюм, достал из авоськи завернутый в газету надрезанный каравай, выложил на стол соленые огурцы, развернул холстину с куском сала, обсыпанного тмином и крупной солью.

— Хотел спросить… Что за перешептывания с Геннадием Цитовичем и гармонистом Крамником ночью в тамбуре? О чем секретничали? — как-то мимоходом, с улыбкой поинтересовался чекист.

— Курили. Цитович рассказывал, как открыл этот хор.

— Но вы не курите. Да, и как открыл? Они же все из буржуазного мира.

— Пришли к нему в Барановичи на радио две сестрички, спели под гармонь. Он спросил: «И много у вас в селе таких певух?» Они ответили: «Все село».

— Не странно ли: живя двадцать лет под панской Польшей, сохранить свои, белорусские песни? Не ополячиться?

— Живя сто двадцать лет под царской Россией, не обрусели же.

— И этот Цитович — все у него Вильна да Вильна: и гимназия, и семинария, и университет… Все какое-то не наше.

— Отчего же: Вильня — исторически наш город. Литовцев там при освобождении минувшей осенью было всего процентов пять.

Но, оказалось, его уже не слушали.

— Смотрите: тут прямо трон какой-то, — послышался голос Ружевича из туалета. — Непривычно… Садиться, что ли?

— Главное: вначале снять штаны, а дальше все обычно.

Послышался шум спускаемой воды. Чекист приблизился к Кондрату, зашептал доверительно:

— Ни с кем в Москве не общайтесь. Избегайте друга Кулешова.

— Не получится: мы же одного кола.

— «Одного» — чего?

— Кола, — ну, круга.

— Так бы и говорили.

— Вы же белорус, должны понимать. Кстати, с русским один корень: «около», одноосная бричка — «двуколка»…

— Кто вас учил…

— А вас?.. Меня мама, соседи, друзья, дядька Янка, дядька Якуб.

— У вас по анкете дядек в родственниках не значится, — насторожился чекист.

— Дядька Янка, дядька Якуб: Купала и Колас.

— А-а… Проходили у нас. Спас этих нацдэмов Пономаренко: когда вступал тут в должность, товарищ Сталин разрешил ему…

— Помолчите, «друг». Мне это не положено знать.

Ружевич насупился, продолжал инструктировать:

— Тут за каждым из вас двойной контроль. И за мной. Жену вызывайте на переговоры не из гостиничного номера, а с Главтелеграфа — это рядом…

— Да вы сочинитель детективов, товарищ Юзеф: прямо Конан Дойл.

— Белорусскую делегацию курируют особенно опытные оперативники: эти присоединенные западные белорусы, граница с враждебной Польшей, родственники там…

— Нас приехало тысяча двести сорок два человека — москвичи не справляются, коллеги просили кое-что уточнить. Вот: фамилия гармониста этого сельского хора Крамник — вам не знакома, ни о чем не говорит?

— Говорит: его предки — торговцы.

— Откуда известно?

— Из фамилии. Крама — это в переводе: лавка, магазин.

— Что за слово — татарское, что ли?

— Зачем же, наше: общий корень. Вспомните русское «закрома». Давайте перекусим. Вот, домашнее.

— У меня талоны на наше с вами питание. Спустимся в ресторан. Помогите мне галстук завязать — нас не учили.

Когда они запирали свою дверь, услышали, как в каком-то из соседних номеров распевалась женщина.

Аккомпаниатор мягко опустил крышку клавиатуры, попросил:

— Людмила, у меня уже нет сил. И я хочу есть.

— Я так вам благодарна, Семен! Вы так скрупулезно занимаетесь мной…

— Не вами — вашей партией, — смущенно уточнил пианист.

— Вы вправе просить меня о чем угодно! Ну?.. После декады будут награждать, звания давать…

— Обеспечьте мне присутствие… достаньте пропуск на заключительный банкет.

— А всего-то?.. Пойдем вместе.

— Спасибо. А сейчас я хотел бы…

— Давайте это место еще раз пройдем, — настаивала певица, облокотилась на рояль и пропела несколько нот.

— Если вы имеете в виду это место… — аккомпаниатор легко наиграл фразу, — то его не «проходить» нужно, а топтаться, отделывать, оттачивать, но это — время!.. А я не прочь…

— Семен, я прошу, — певица почти нависла над аккомпаниатором. Грудь ее часто вздымалась, глаза были полуприкрыты, сочные губы на красивом лице медленно и неотвратимо тянулись к мужчине.

— Тут еще много работы! — Он тщетно попытался отодвинуться, пробормотал опасный аргумент: — И ваше, Людмила, верхнее «ля» — это форменные роды…

Но она, казалось, не слышала: веки сомкнулись, она мягко опустилась на колени сидящего музыканта, обдав его душным ароматом духов.

— Ой, Сеня… Я теряю сознание… Сеня, уложите меня на диван.

Они обнялись, он с трудом приволок крупное горячее тело женщины на кушетку. Она не разжимала объятий.

— Помоги, Сеня… расстегни…

Он как-то выскользнул из-под ее руки, бросился к телефону:

— Вам плохо? Я сейчас вызову «скорую помощь»!

Семен Львович Толкачев — терпеливый тактичный пианист-репетитор, с неиссякаемым чувством юмора, до седин проработавший в Оперном театре, удостоенный звания заслуженного артиста БССР. После ухода в безвозвратность его место концертмейстера Оперного заняла дочь.

Она вскочила, откинула с лица выбившуюся прядь, решительно зашагала к выходу, выдавив сквозь зубы:

— «Скорую помощь»… — и захлопнула за собой дверь.

В коридоре она почти столкнулась с Кондратом и Ружевичем.

— С приездом, Людмила. Добрый день.

— Какой же он, к черту, «добрый»? — бесновалась певица. — Привет, Кондрат!.. Нет, он — чудак! Форменный чудак!

— Вы о ком?

— Семен Толкачев, мой аккомпаниатор! Ну, не чудак ли!

— Не спорю, вам видней. Вот, познакомьтесь… — начал Кондрат.

— Кто же не знает нашу оперную диву: Людмилу Соколовскую! — расплылся в улыбке Ружевич. — Какая удача! Обедаем вместе?

Она оглядела чекиста, заученным жестом поправила прическу, улыбнулась, взяла обоих мужчин под руки и решила:

— Пора.

За ними спешил Толкачев, взывал:

— Людмила Эдуардовна, обождите: талоны на питание ведь у меня!

В зал пропускали по предъявлению талонов на питание только участников декады.

Официанты ресторана были подобраны некоего единого вида: крепкие, подвижные, с одинаковыми проборами в коротко стриженых волосах, с чубчиками. Один из них, едва Кондрат и Ружевич вошли в зал, учтиво провел их к столику с нетронутой сервировкой на двоих.

Соседями оказались красивый плотный мужчина в очках с толстыми стеклами и девушка в сарафанчике, с бантами, делающими ее похожей на гимназистку. На новых соседей по столу мужчина взглянул без любопытства, коротко кивнул, а она, тряхнув косичками, пискнула:

— Чень добры. — Акцент сразу выдал в ней польку.

У стула мужчины стоял футляр с гитарой. Он ласково гладил руку спутницы, у обоих на левых руках поблескивали обручальные кольца; переговаривались они на французском. Что уловил Кондрат: она мужа ласково называла «Лео», а он ее, воркуя, — «Ирэн». Время от времени они весело переговаривались с сидящими за соседним столиком, но — на польском. Отвечали им также по-польски.

Лидером там был Эдди Рознер — открытки с изображением трубача с обворожительной улыбкой и его жены-певицы Рут Каминской на фоне джаз-оркестра продавались во всех газетных киосках Минска. Третьим был лысый толстячок, а спиной к Кондрату сидел молодой человек. Лица его не было видно, но он бесконечно острил: вся шестерка, представлявшая единую компанию, после его реплик покатывалась со смеху.

Кондрат понимал язык и тоже чуть улыбался.

— О чем они? — насторожился чекист. — Над чем смеются? Переводите.

— Потом.

Официант подал два меню в кожаных папках с золотым тиснением «Гостиница «Москва». Ресторан». Кондрат и Ружевич углубились в чтение, исподлобья переглядывались, встречая названия блюд, равно незнакомые обоим.

— Что, товарищ сатирик, — едва слышно пробормотал чекист, — вот каков он, советский общепит!

Кондрат наметил в меню, что имело хоть частично знакомое название: «нарзан», «винегрет» с добавлением неизвестного слова «с каперсами», «борщ по-селянски» — это было понятно — и «котлету по-киевски». Какой вкус придавала котлете столица Украинской ССР, он не знал, но иностранные уточнения в меню к слову «котлета» в остальных названиях делали те блюда абсолютно неприступными. После заказа Кондрата чекист небрежно махнул официанту:

— Мне то же самое.

В ожидании — прислушались. Толстячок за соседним столиком тронул ножом полупустой бокал.

— Соль-диез, — опознал звук Рознер.

Толстячок допил вино и вновь стукнул ножом по пустому бокалу. Еще не затих долгий звон, как Рознер определил:

— Си-бемоль.

Толстячок нагнулся, поднял футляр, достал скрипку.

— Павлик, золотко, ты мне не веришь?! — удивился Рознер.

— Верю, маэстро, но… — Он тронул смычком струну, согласился: — Си-бемоль. Эдди, у тебя не уши, а камертон!

Компания весело обсуждала экзамен.

— Над чем смеются? — беспокоился Ружевич. — Знать бы…

Рознер приподнялся, взглядом поискал кого-то, помахал, подзывая. Тотчас к столику подлетел с портфелем под мышкой директор Рубинчик.

— Золотко, пан коммунист, — начал Рознер как бы деловито, но не выдержал, рассмеялся.

Хохотали все музыканты.

— Над чем смеются? — насторожился Ружевич.

— «Пан коммунист».

— Ну, и что смешного?

— Само сочетание понятий… Не ловите?

Им принесли бутылку нарзана, тонко нарезанный хлеб — белый и черный, — винегрет с зелеными продолговатыми плодами.

— Приятного аппетита, — пожелал официант.

— Смачнэго! — обнажила в улыбке зубки юная соседка по столу.

Рознер просил директора:

— Додик, золотко, в Москве должны находиться оркестры моих пшиятелей: Генриха Варса и Гольда Петербурского…

— Варса с оркестром пригласил Львов. Они уехали, а Петербурский живет в этой же гостинице, — отрапортовал Рубинчик. — Позвать?

— Сегодня после репетиции организуй, Додик-золотко, нам здесь ужин. У него наверняка есть новые песэнки для нас.

Слово «песенки» они произносили по-польски, с ударением на «э».

Подала голос красавица Рут:

— Надо Петербурскому открыть, чтоб не удивлялся: его танго «Та опошня нечеля» звучит в СССР как «Утомленное солнце», и совсем под другой фамилией.

Рознер поддержал жену:

— Скажи ему: Эдди приглашает на бокал вина. — И еще что-то прошептал Рубинчику на ухо, поглядывая на Кондрата со спутником.

— Все? — переспросил директор, кивнул белорусам и отошел.

Вмешался музыкант, сидевший к Кондрату спиной:

— В Москве популярна новая песэнка на три четверти «Синенький скромный платочек», считается тут: народная. А ее в этом отеле сочинил недавно Петербурский! Мелодию подслушали, сочинили текст и — проше пане! — советский шлягер.

— Слушай, Ежи, может, этот «платочек» взять в наш програм, — задумался Рознер, делая ударение на «о» в последнем слове, — и дать спеть Рут? У нас маловато песэнок на русском.

— В этом закрытом обществе, — продолжал музыкант, названный «Ежи», — принято заимствовать чужие темы: Дунаевский — их самый знаменитый композитор — для кинокомедии взял мексиканскую песэнку и просто переложил с четырех на двухчетвертной размер, на марш, вставил в фильм и — проше пане! — идут авторские. А «Платочек»… нет, на стиль Рут, на ее «дизес» не ляжет.

Ружевич, выслушав, тихо пояснил Кондрату:

— Это их музыкальный руководитель Ежи Бельзацкий. Что-то парень язык распустил…

Принесли борщ. Кондрат и Ружевич быстро опорожнили тарелки, дождались «котлет по-киевски».

— …задумал у себя в кабинете поставить второй телефон с отдельным номером, — рассказывал Бельзацкий. — Позвонил я на станцию, через час приехали два мастера в форме и только спросили: какого цвета я желаю иметь телефон и какой длины шнур. Ах, моя пшедвоенная Варшава! — И музыкант горестно вздохнул. — Мой милый дом по улице Твардой, недалеко от вокзала…

— Попросим нашего Гарриса сочинить песэнку о милой Варшаве, — утешал его Рознер.

Чекист, рассматривая в тарелке обсыпанный сухарной крошкой «дирижаблик» с косточкой, шепотом внушал Кондрату:

— Врет Бельзацкий про телефон. Не может быть такого. У нас даже большие начальники годами ждут установки домашнего телефона! Это типичная пропаганда.

Он ножом нажал на котлету — оттуда на его костюм брызнула струйка расплавленного масла. Ружевич тихо матерился, сыпал на жирное пятно соль.

Ирэна хихикнула.

А Бельзацкий, обращаясь ко всем за обоими столиками, шутил:

— Человек, собираясь на маскарад, спрашивает: «Какой костюм мне надеть, чтобы меня не узнали?» А ему советуют: «Наденьте чистую рубашку».

Музыканты оценили анекдот, смеялись.

— Почему они все такие веселые? — раздраженно прошипел Ружевич и повернулся к Кондрату.

— Не оглядываются. Не рассчитывают на подслушивание.

— Думаете, Кондрат, тут без ушей? — чекист кивнул в сторону снующих официантов.

— А музыкантам плевать.

— Ой, доплюются…

— Это сколько же на их болтливый буржуазный коллектив требуется «обязательных друзей»! — притворно-горестно вздохнул Кондрат.

Их соседи по столу встали. Лео отодвинул стул юной жены, подал ей руку и подхватил гитару. Еда женщины оставалась почти нетронутой.

— Смачнэго, — пожелала белорусам Ирэна. — Приятно вам кушать.

Кондрат поднялся, кивнул благодарно. Ружевич продолжал с осторожностью ковырять котлету.

К их столику подошла миловидная девушка со значком Осоавиахима. Серебристый самолетик поддерживал на тонких цепочках звездочку, подрагивавшую на ее пышной груди.

— К вам можно? Свободно?

Ружевич, мазнув ладонью по губам в масле, расплылся в улыбке:

— Пожалуйста. Для вас — конечно!

Вернулся Рубинчик и протянул Кондрату бумажный листок.

— Это вам контрамарка на наш концерт: открываемся пятого июня, в шесть тридцать, Летний театр сада «Эрмитаж» — от Эдди Игнатьевича.

Кондрат глянул на Рознера — тот поднял бокал, а толстячок Павлик стукнул по стеклу ножом.

Ружевич толкнул локтем Кондрата, зашептал с набитым ртом:

— Я вас одного не отпущу — просите и мне пропуск. Идите в номер. Я догоню.

На выходе, в широких дверях ресторана Кондрат стал свидетелем, как невесть как появившихся в Москве Айзека Мовчара и Илью Горского вежливо задержал администратор:

— Здесь, товарищи, спецобслуживание: только делегаты, только по талонам. За наличные — вон в тот зал, пожалуйста.

И те сделали вид, что не заметили делегата Кондрата Крапиву.

Ночное кино

Допущения:
суспензия из фактов истории и анекдота.

Ночь… Ночь простерлась над великой Советской страной. Спали шахтеры Донбасса, рыбаки Каспия, хлеборобы Черноземья, спали новорожденные дети… И светилось лишь одно окно: не спал в Кремле товарищ Сталин.

Он нажал кнопку звонка. В дверь кабинета просунулась лысая голова помощника.

— Товарищ Поскребышев, — попросил вождь, — разбудите и пригласите ко мне товарища Молотова.

Через несколько минут нарком Молотов в халате, застегнутом не на ту пуговицу, стоял в кабинете. Спросонок он никак не мог укрепить на переносице пенсне, оно соскальзывало.

— Вот что, Вячеслав, — размеренно начал вождь. — Говорят, ты заикаешься. Это правда?

— Да, т-товарищ Ст-талин.

— Хорошо, что сразу признался. А знаешь, кто мне это сказал?.. Каганович. Ну ладно, иди. Прости, что ночью побеспокоил.

Ночь… Ночь простерлась над великой Советской страной. Спали оленеводы Чукотки, трактористы Полтавщины, токари заводов Урала, дачники Подмосковья, спали заслуженные и народные артисты… И светилось лишь одно окно: не спал в Кремле товарищ Сталин.

Он нажал кнопку звонка. В дверь кабинета просунулась лысая голова помощника.

— Товарищ Поскребышев, — попросил вождь, — разбудите и пригласите ко мне товарища Кагановича.

Через несколько минут нарком Каганович в тапочках, обутых не на ту ногу, стоял в кабинете.

— Вот что, Лазарь, — размеренно начал вождь. — Говорят, ты — еврей. Это правда?

— Да, товарищ Сталин.

— Хорошо, что сразу признался. А знаешь, кто мне это сказал?.. Молотов. Ну ладно, иди. Прости, что ночью побеспокоил.

Ночь… Ночь простерлась над великой Советской страной. Спали лесорубы Сибири, балерины Большого театра, бакинские нефтяники, спали свободные от вахты моряки-черноморцы… И светилось лишь одно окно: не спал в Кремле товарищ Сталин.

Он размышлял: «Молотов заикается, Каганович — еврей… Надо собрать съезд партии».

Вспомнив предыдущий съезд — в марте прошлого, 39-го, — вождь улыбнулся самому яркому воспоминанию. Тогда артистка из БССР заверяла делегатов: «Мы — пограничная республика и в случае вражеского нападения грудью защитим страну!» Ворошилов тогда облизнулся восхищенно: «Такой, как у нее, грудью, — можно!» А вождь осадил: «Ты с грудью твоей еврейской Розы помолчал бы. Или тебе, Клим, мало еще и балеринок Большого театра?»

Он нажал кнопку звонка. В дверь кабинета просунулась лысая голова помощника.

— Пригласите ко мне товарища Ворошилова, — попросил вождь.

— Он пришел на просмотр. Ждет.

Вошел Ворошилов, не поздоровался — они сегодня виделись, — сел через кресло от Сталина.

— Помнишь, Клим, ту минскую артистку, которая обещала грудью… Помнишь?

Нарком хихикнул.

— Наверное, приедет на декаду. — Вождь черенком трубки очертил грудь, пошутил: — Будет своих белорусов защищать. От Храпченко.

— Приедет, — согласился Ворошилов, — если еще на сцене, если еще поет, если еще…

— Товарищ Поскребышев, что нам Большаков сегодня привез?

— Сейчас позову.

Не успел помощник это произнести, как в дверях возник председатель Комитета по кинематографии.

— Добрый день, товарищ Сталин.

— Какой же «день», Большаков? Ночь над великой Советской страной. Что сегодня смотреть будем?

— «Три мушкетера» с Эрролом Флинном. Вам понравился его Робин Гуд.

— А, тот забияка со шпагой!.. Кто у нас так может фехтовать? Все на экране трактористы, пастухи, парторги… Начинайте.

Под неторопливую мелодию пошли начальные титры фильма.

— Студия «Уорнер Бразерс» представляет фильм «Три мушкетера». В роли д'Артальяна — Эррол Флинн, — сухо читал с экрана переводчик, — мадам Бонасье — Оливия де Хэвилэнд, режиссер — Майкл Кертиц, композитор — Сэмюэль Пок…

— Остановите проектор, — вдруг скомандовал Сталин.

Экран погас, в зале включился свет.

— Отмотайте пленку на начало.

Он нажал кнопку звонка. В дверь кинозала просунулась лысая голова помощника.

— Товарищ Поскребышев, — распорядился вождь, — пошлите машину за композиторами братьями Покрасс.

— Сейчас? — осмелился спросить помощник.

— Мы с вами работаем ночью. Пускай и советские композиторы будут при деле — мы же их ценим, награждаем. Подождем их.

Поскребышев, многоопытный служака, держал тут, рядом, «в сенях» сталинского кабинета всех, кто мог понадобиться по ночному хозяйскому вызову. Но возникали и непредсказуемые ситуации. Вызов братьев Покрасс как раз был из таких.

Сталин спросил, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь:

— Что можно пока посмотреть интересного?

Председатель Комитета по кинематографии Большаков возник в дверях, не осмеливаясь войти, предложил:

— Из немецкого посольства передали свежий выпуск киножурнала «Ди Дойче Вохеншау». Прикажете демонстрировать?

…Хроника была жуткой: напористые, скалящиеся солдаты Вермахта неумолимо теснили, громили, загоняли за реку Маас военных в хаки, в касках с плоскими полями — высадившихся на материк англичан. Эти несчастные беспорядочно отстреливались, бросали технику — танки, машины, орудия, — поднимали руки, другие бежали к морю, спешно грузились на просевшие баржи: лишь бы быстрее покинуть берег. Море виделось спасением, хотя и на неповоротливые баржи, накренившиеся от перегрузки, пикировали немецкие самолеты. Диктор с победной интонацией упоенно чеканил нескон-

чаемый список трофеев, количество убитых и плененных англичан; часто звучали названия «Маас», «Дюнкерк», «Ла-Манш». Много раз мелькал крупный план: из танкового люка отдавал команды по рации запыленный генерал в круглых солнцезащитных очках, и звучала его фамилия: Роммель.

Включился свет. Сталин, мундштуком трубки поглаживая усы, с ухмылкой обратился к Ворошилову:

— Этот материал англичане нам не прислали. Нам эту хронику передал… товарищ Геббельс. Есть чем хвалиться немцам. И этот их молодой генерал… Роммель — запомним фамилию.

— Запомним, товарищ Сталин, — заверил нарком.

— Клим, а что это за новый танк у англичан?

— Легкий, хилая броня, слабо вооружен, но скорость — прет до девяноста километров! Марку не помню, — бойко отвечал Ворошилов.

— Правильно, нарком: зачем помнить, зачем нам такой танк? По шоссе гонять?

Заглянул помощник.

— Прибыли. Дмитрий и Даниил Покрассы.

Вошли и встали у двери кудрявый, с обозначенным вторым подбородком крепыш Дмитрий и худощавый бледный Даниил.

— Извините, товарищи, что побеспокоил. Недавно показывали американцам фильм «Трактористы» — они после просмотра напевали вашу песенку «Три танкиста». — Сталин махнул трубкой, предлагая братьям места. — А сегодня мы будем смотреть американский фильм.

Затрещал проектор, на экране засветился щит с маркой студии, пошли титры.

Переводчик забормотал:

— Студия «Уорнер Бразерс» представляет фильм «Три мушкетера». В роли д’Артальяна — Эррол Флинн, мадам Бонасье — Оливия де Хэвилэнд, режиссер — Майкл Кертиц, композитор — Сэмюэль Покрасс…

И вот тут Покрассы поняли причину ночного вызова: Сэмюэль — Самуил — их родной брат-эмигрант в США, о чем оба знали, но не указывали ни в одной анкете. Для вождя, оказывается, это не тайна.

…В откровенной декорации, изображавшей якобы средневековый Париж, под песенку «с развалочкой» цокал копытами конь-доходяга, а восседавший на нем актер распевал.

По низу кадра шли титры перевода:

Вари-вари, мечта моя — Париж,
Поэтами воспетый от погребов до крыш!
Шагай туда быстрее, мой верный конь Малыш, —
Туда, где небо всех светлее,
Туда, где вина всех краснее,
Красотки всех милей — туда, в Париж!

Д’Артаньян с тройкой… нет, не мушкетеров, а их слуг, — это была пародийная кинокомедия — искусными трюками дурил гвардейцев кардинала, привычно дрался на шпагах, бражничал, ухлестывал за красотками…

Братья с трудом воспринимали экранное действие; уставившись в затылок Сталина, думали об одном: выпустят ли?

…Госпожа Бонасье укрылась за дощатой калиткой, но в прорези в виде сердечка виднелось ее милое личико. Сердцеед Эррол, прильнув щекой к калитке, сладким баритоном в ритме вальс-бостона сладко пел сладкую мелодию «Май леди»…

Фильм, конечно же, чем-то окончился; мелькнул титр «The End». Братья очнулись только когда включился свет и в аппаратной залязгали бобины, опустевшие от прокрученной пленки.

Вождь развернулся к Покрассам, осмотрел одного, перевел взгляд на другого, покачал головой; трубкой через плечо указал на экран.

— А братец-то — талантливей вас. Отдыхайте, товарищи. Извините, что побеспокоил.

Композиторы, подталкивая друг друга, покинули зал.

— Можно отдохнуть. — Сталин устало поднялся с кресла.

— Что завтра хотите смотреть, товарищ Сталин? — осмелился спросить Большаков.

— Завтра… нет, уже сегодня открывается Декада белорусского искусства, — напомнил, ни к кому конкретно не обращаясь, Сталин и пошутил: — Я купил билет в Большой театр, на ее открытие. Вы, товарищ Пономаренко, не будете в третий раз переносить свою декаду?

В дверях уже обозначился Первый секретарь белорусского ЦК, подал голос:

— Доброй… добрый… — он не знал, как определить время суток. — Здравствуйте, товарищ Сталин. Мы готовы.

— Это хорошо. Правда, в Западной Европе войска «товарища Гитлера» теснят войска английских империалистов. Но уверен, это не помешает мне слушать вашу оперу. Как она называется?

— «Михась Подгорный», — отрапортовал Пономаренко.

— Хорошее простое название: как «Евгений Онегин». А кто такой этот Подгорный?

Нависла тишина: ответа не знал никто.

— Везем в Москву оперу — и не знаем, о ком она. — Взгляд Сталина уперся в Пономаренко — тот сжался, струсил. А Сталин продолжал с едва уловимой издевкой: — Неизвестный «Подгорный» — герой оперы. Кого воспеваем? Кого прославляем? Наш человек или не наш? Чьи интересы он защищает?

— Грудью, — неудачно встрял Ворошилов.

— Кстати, товарищ Пономаренко: как фамилия певицы, которая от БССР выступала на съезде партии?

— Соколовская. Людмила Эдуардовна.

— Ее включили в белорусскую делегацию?

— Она на открытии будет петь главную партию в опере… — Пономаренко споткнулся, закончил едва слышно: — «Михась Подгорный».

— Слышал, Клим? Приедет Эдуардовна. И будет нас с тобой защищать. Грудью. — Черенком трубки вождь потыкал в грудь наркома.

Тот подобострастно захихикал.

— И чем Москву удивлять будут белорусы? Чего не было у других братских народов нашей страны?

Сталин был главным зрителем и оценщиком всех декад союзных республик; в расчете на его восприятие, собственно, и составлялись их программы. Он непременно бывал на открытиях декад — все шесть предыдущих начинались национальными операми, — и на заключительных банкетах. Программы строились с желанием угодить его непредсказуемому вкусу.

Пономаренко знал ответы на вопрос вождя, осмелел, докладывал уверенно:

— Еще новая опера и балет, Ансамбль солдатской песни и пляски Белорусского Особого военного округа…

— Красная Армия поет — это хорошо.

— И танцует! В финале у них, товарищ Сталин, сюрприз для вас.

— Сюрприз — тогда зачем рассказываете? Увидим.

— Очень интересный детский балетный номер, джаз-оркестр Эдди Рознера…

— Вы им дали статус Государственного коллектива БССР… Да, ни одна республика не имеет своего джаз-оркестра. Утесов обиделся… Молодец, Пономаренко, хороший пример другим секретарям дал.

— Они завтра начинают работать в саду «Эрмитаж». На все десять дней билеты проданы.

— Значит, я не попаду, — делано сокрушался вождь. — Придется летом в дни отпуска послушать их в Сочи.

— И еще… чего не было у других: еще мы решили привезти драматический театр. Играть будут на белорусском языке.

— И правильно! На съезде ваша Соколовская читала приветствие на белорусском — и все всё поняли.

— Там… у нас спектакль… комедия… сатирическая.

Сталин задумался, раскурил трубку, покивал одобрительно.

— Что-то наши сатирики примолкли. Неужели мы построили такое безупречное общество, в котором нечего высмеивать? В комедиях обличают управдомов, мелких бюрократов, пьяниц. Никто не осмеливается обличать, бичевать так, как учили Гоголь, Салтыков-Щедрин… Или не умеют? А как ваша сатира называется, товарищ Пономаренко?

— «Кто смеется последним».

— Хорошо. Товарищи посмотрят вашу комедию и мне расскажут: кто же у вас там последним смеется. А кто этот ваш «Салтыков-Щедрин»?

— Кондрат Крапива.

— Сколько этой ночью надо запомнить новых фамилий: Сэмюэль Покрасс, генерал Роммель, Кондрат Крапива…

Над Москвой занимался рассвет 5 июня 1940 года.

Десять дней, которые потрясли Москву

Допущения:
могло произойти, скорее всего, так.

Первый из этих дней начался привычно: с радиопозывных Москвы «Широка страна моя родная», исполненных на виброфоне. Затем шли выпуски известий, перемежаемые бодрыми песнями, утренней гимнастикой. Несколько раз дикторы сообщили об открытии декады искусства БССР.

Кондрат и Ружевич неразлучно бродили по Москве, уступая друг другу в выборе интересовавших каждого объектов. Осмотрели Триумфальную арку, высившуюся у Белорусского вокзала, от которой начинался Ленинградский проспект. Из закрепленных на столбах черных квадратных раструбов радио звучала бравурная музыка.

Кондрат, восхищенный Москвой, вглядывался в лица прохожих, подолгу застывал у витрин, дивился на двухэтажные троллейбусы, что катили по улице Горького; поливальные машины водяными усами освежали мостовую. Он как бы узнавал столицу СССР, сравнивая с виденным в киножурналах и в фильме «Светлый путь».

В начале Тверского бульвара, рядом с аптекой, постояли у памятника Пушкину, тут же, задрав головы влево, заглянули под пачку балерины, что балансировала на одной ножке на крыше углового здания. Ружевич не преминул заметить скабрезно:

— Можно рассмотреть, какие трусы носили женщины при царе.

Кондрат этого словно не слышал: рассматривал книги на лотке с открытой выкладкой, осетров в витрине-аквариуме рыбного магазина, вертящийся глобус на фасаде Главтелеграфа. Где-то в подсознании звучали строки песни: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля…» На башнях с рубиновыми звездами краснокирпичного Кремля отбивали время куранты.

Отстояли змеящуюся очередь в Мавзолей Ленина. Невидимые лампы освещали труп розоватым светом. Благоговения Кондрат не испытал: так, кунсткамера… Выйдя оттуда, перешли Красную площадь: прямо напротив Мавзолея стоял памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Простертая рука князя как бы призывала изгнать супостатов и указывала: где они. Тянулась она, отметил Кондрат, через площадь, к Мавзолею. Голова князя, развернутая к гражданину Минину, как бы звала того разделить с князем его благородный порыв.

Приезжая в Москву после войны, Крапива заметил шесть перемен: в начале перрона Белорусского вокзала не было черномраморного памятника сидящих рядышком Ленина и Сталина; снесли у вокзала Триумфальную арку; не катили двухэтажные троллейбусы; памятник Пушкину стоял не в начале Тверского бульвара, а ровно напротив, на площади; убрали балерину с башни углового дома, чтобы, значит, не заглядывали под балетную юбочку; памятник гражданину Минину и князю Пожарскому переместили с Красной площади к ограде храма Василия Блаженного — и князь указывал уже не на Мавзолей, а на Исторический музей. Но все равно всплывали у Крапивы светлые воспоминания о Москве и триумфе в июне 40-го, хоть позже и премий, и наград получил множество.

Уставшие Кондрат и Ружевич пообедали в ресторане своей гостиницы. Там чувствовали себя уже уверенней: правда, не рискуя, заказали то же, что и вчера.

В конце этого дня, когда они собирались в Большой театр на открытие декады, радио сообщило: высадившиеся на континенте для борьбы с фашизмом английские войска были окончательно окружены, прижаты немцами к морю в районе Дюнкерка. Сегодня последний транспорт под бомбами Люфтваффе отчалил и, перегруженный, направился к берегам Англии. Несметное количество брошенной военной техники досталось немцам в качестве трофеев, остатки английских военных подразделений окружены и взяты в плен. Командовал блистательной операцией Вермахта генерал Роммель. На завтра, 6 июня, в Берлине намечен парад в честь этой победы. И дальше дикторы радио привычно сообщали об очередных трудовых подвигах советских людей, и опять упомянули об открытии декады.

Места в Большом театре отвели им на галерке, на самом верхнем ярусе. С кресла Ружевича можно было хоть кое-как, вытянув шею, увидеть левый верхний угол сцены. Кондрат же со своего созерцал лишь лепнину над порталом, а опорный столб вообще перекрывал вид на все. Зато во всех деталях можно было рассмотреть невиданной пышности люстру.

Когда за минуту до открытия занавеса стал медленно меркнуть свет, раздался нарастающий гул голосов, аплодисменты. Свет врубили до полного.

Кондрат поднялся, увидел, что все зрители в партере развернулись — спиной к сцене. Он понял: где-то под ним, в царской ложе появился Сталин — наверняка со свитой.

Овация и выкрики здравиц долго не смолкали. Кому, невидимому, аплодировали, тут, на балконе, было непонятно и даже, казалось, бессмысленно. Но за этим проявлением восторга следили стоящие у дверей с литыми табличками «Выход» молодцы в гимнастерках.

Кто-то из гофмейстеров во френчах с петлицами дал команду убирать свет, сами собой утихли овации, дирижеру Шнейдерману разрешили заиграть увертюру.

Кондрат постоял на цыпочках у столба, увидел, как в декорации — в роще деревьев с проклеенными бязевыми листьями — запел дуэт Соколовской с Арсенко, и выскользнул в коридор.

По фойе и лестницам с золочеными бра и плюшевыми банкетками спустился до второго яруса, робко вошел в застекленный зал буфета.

Столы были уже накрыты: бутерброды с белорыбицей, с красной икрой, с сыром, с тонко нарезанной краковской колбасой; отражало свет люстр желе в мисочках с заливным; на плоских блюдах с ножками красовались пирожные с кремовыми цветочками, ромбы «наполеона», ароматная сдоба, россыпь крупных, в ярких обертках конфет, обещающих неизведанные начинки; мандарины и груши — каждая в папиросной бумаге; плитки шоколада; в бокалах и рюмках — водка, коньяк, вина разных оттенков. Кондрат проглотил слюну, побродил между столиками, пытаясь понять: как и кому заказывать, как и кому платить. Кое-где за столиками стояли и сидели штатские и военные с дамами, пили, закусывали, шумно переговариваясь. Еще вошла гомонящая компания: видно, исход любовных страстей поющих артистов в париках и с приколотыми русыми косами был им ясен. Люди подходили к столиками и смело брали то, что на них смотрело. К окончившим закусывать подходили официанты, и едоки рассчитывались, перечисляя съеденное и выпитое. Конечно, тут, в зеркально-хрустальном пространстве, было бы стыдно утаивать проглоченное пирожное или опрокинутую рюмку — мелочиться, словом.

Поняв систему расчетов, осмелел и Кондрат: заполнил тарелку набором бутербродов, взял две рюмки водки — одну предполагал опорожнить сразу, вторую позже, под осетрину, — прихватил и кое-что из кондитерских изделий, присел, огляделся в предвкушении наслаждения: когда еще такое выпадет!

— А я вас было потерял, — раздался голос запыхавшегося Ружевича. — Но нюх подсказал, где вас искать. Ну, что: по пивку?.. А, вы уже взяли на двоих? Спасибо, Кондрат, предусмотрительно.

Он бесцеремонно опрокинул рюмку, хапанул два — один на другой — первые подвернувшиеся бутерброды, стал жевать с аппетитом.

А у Кондрата охота к наслаждению враз померкла, когда увидел, как к ним приближается официант с блокнотиком и карандашом наизготове. Встал — пусть лейтенант платит!

— Пойду дослушаю третий акт, — сообщил он Ружевичу. — Интересно: чем там все кончится?

Чекист, жуя, кивнул.

Вошла, робко оглядываясь, девушка со значком Осоавиахима; завидев Ружевича, поправила завиток волос на щеке, смущенно улыбнулась.

А Кондрат вместо зрительного зала спустился по лестнице к выходу. В дверях охрана задержала, попросила предъявить билет. Но он остался у Руже-

вича. Кондрат предъявил командировочное удостоверение и паспорт — выпустили, предупредив, чтобы не задерживался.

У театра рядком выстроены черные ЗИСы-101, напротив, у сквера, — «эмки». И всюду: военные, охрана, подтянутые личности в штатском.

Тут же, переминаясь, крутились Мовчар с Горским. Диалога с охраной не было: видно, попытки литераторов проникнуть на мероприятие уже были пресечены. И они, и Кондрат сделали вид, что не знакомы: говорить было не о чем.

По краю Театральной площади он направился в гостиницу — благо, была рядом. Ужинать в ресторан не пошел: талоны на питание остались у «обязательного друга».

Открыв в номере свой новый фибровый чемодан, обратил внимание, что граненая бутылка водки лежит наклейкой вниз — совсем не так, как укладывал ее позавчера в Минске. Хотя, мелькнула мысль, возможно, сам что-то путает.

На домашней холстине разложил нарезанные дома сальце и хлеб, яйца вкрутую, два соленых огурца. Над пепельницей ножом расколотил сургуч на пробке бутылки, выковырял картонную втулочку, обернутую вощеной бумажкой, пальцем стер с горлышка сургучную пыль.

Распахнулась дверь, ворвался потный, запыхавшийся Ружевич, проговорил раздраженно:

— Не знал, где вас искать, — исчезли! Я же не против… но предупреждать обязаны.

— Вас же агитировали вступить в Осоавиахим. Не смел мешать.

Ружевич самодовольно заулыбался, подмигнул.

А Кондрат подумал с досадой: придется все же чокаться рюмками.

«Смайлинг, панове, смайлинг!»

Допущения:
могло произойти, скорее всего, так.

Оторваться от чекиста Кондрату не удалось: вечером вместе пришли в сад «Эрмитаж». Ружевич тут же стал рыскать в поисках мороженого.

Слева от входа в сад выстроилась очередь у кассы Мюзик-холла. Справа, в Зеркальном театре, давали какую-то венскую оперетту. Кондрат подошел туда, поближе, обогнул закулисную часть. На скамейках в ожидании начала спектакля отдыхали, «входили в образ» артисты балета и миманса. Они курили, бросая в чан с коричневой водой окурки, пересмеивались. У «графов» и «баронов», кто сидел, закинув нога на ногу, на подошвах туфель, в изгибе у каблука, виднелись бумажные наклейки из мастерской ремонта обуви, а на обвисших фалдах фраков читались чернильные инвентарные номера. Подметив экипировку «аристократов», сатирик усмехнулся.

По тенистым аллеям прогуливались нарядные москвичи: женщины с ридикюльчиками, в крепдешиновых платьях разных фасонов, в легких жакетках, большинство — с модной тем летом «шестимесячной» завивкой волос; мужчины-тоняги щеголяли в чесучовых костюмах, в белых парусиновых туфлях. Стоял запах терпких духов «Красная Москва» и дорогих папирос.

У входа в Летний театр бурлила невообразимо огромная толпа. Милиция в белых гимнастерках выстроила на ближних подступах к залу кордон-пропускник — прежде чем счастливчик-зритель с билетом добирался до билетеров.

Ажиотаж перед вторым концертом джаза Эдди Рознера был подогрет восторгами зрителей вчерашнего выступления оркестра: слухи по Москве разнеслись — неведомо как! — за ночь. Люди устраивались на ближних скамейках, а кто помоложе, — на деревьях: не попасть, так хоть послушать.

Пропуск на бланке оркестра снискал предъявившей его паре уважение. Три ступеньки — и они в деревянном зале. Своды его покоились на дубовых полуколоннах с резными грифонами.

Белорусов усадили во втором ряду, прямо перед сценой. Соседа Кондрат узнал: видел барабанщика оркестра в комедии «Веселые ребята». А дальше сидел сам герой фильма — Леонид Утесов.

Невидимый оркестр заиграл знакомую мелодию Штрауса, но в каком-то непривычном звучании. Пригасился свет. Два круглых луча вспыхнули на легком занавесе.

Кондрат справедливо считал себя театральным человеком, знал, как может исчезнуть занавес: подняться, раздвинуться, уйти влево или вправо. Тут тюлевый занавес медленно… опал.

А под ним уже разместился кордебалет. Девушки, присев, создавали «волны». В глубине сцены поблескивал в полутьме металл саксофонов и труб.

В центр освещенного голубыми лучами волнуемого полотнища вышел стройный музыкант в белом костюме, приложил к плечу скрипку. Сверху на шнуре опустился микрофон.

Скрипач заиграл знакомый вальс «Голубой Дунай», оркестр ритмично поддерживал солиста, мягко вторил ему.

Дали полный свет, и Кондрат узнал человека, сидевшего в ресторане за соседним столиком: это был Эдди Рознер.

Он развернулся к оркестру, что-то крикнул им — и без того веселые музыканты заулыбались еще шире.

Рознер сказал им фразу, в которой русские не поняли бы ровно ничего, англичане не поняли бы второго слова, а поляки — первого: «Смайлинг, панове, смайлинг!» — «Улыбаться, господа!» Он говорил на всех европейских языках, но на всех с акцентом.

Кроме русского пели на польском, английском, жена Рознера Рут — на французском, что никаким артистам в СССР не разрешалось. Это многоязычие, свободное, даже развязное поведение артистов на сцене, двухцветные костюмы оркестрантов, несоветский джазовый репертуар — все впечатляло каким-то заграничным, «не нашим» лоском.

Отпускал шуточки лысый обаятельный толстячок, меняя скрипку на мандолину. Гитарист в очках голосил тирольские йодли. Павлик и Лео — соседи белорусов по ресторану.

Зал неистовствовал: аплодисменты продолжались почти столько же, сколько длился исполненный номер.

— Ой, а эту песню в нашей деревне пели! — по-детски оживился Ружевич, уловив в инструментальном парафразе народную мелодию, и замычал: — Я-а табун сцерагу-у…

— Ой, пан Юзеф, скатываетесь в «нацдэмы»! — не удержался Кондрат.

В оркестровой пьесе на соло ударника остальные музыканты делали вид, что дремлют, другие принимались играть в карты, кто-то уходил, кто-то разворачивал газету — это чтобы показать: как долго будет длиться блистательная каденция на барабанах, бонгах, лошадиных черепах, колоколах и тарелках.

Кондрат слышал, как на аплодисментах Утесов бубнил своему музыканту:

— Коля, ты так играть не умеешь. Мы так играть не умеем. Как помогают микрофончики! Зачем они Рознеру? Их бы мне с моим голосом, а трубу его и так слышно. Увел Рознер аппаратуру! Чтоб еврей одессита обошел!

— Чему улыбаетесь? — заинтересовался Ружевич.

В антракте чекист убежал за мороженым — уверен был, что Кондрат с этого необычного концерта не исчезнет.

Перед Летним театром мужчины курили, женщины прихорашивались, и все — в восторге от увиденного и услышанного — бурно обсуждали концерт. В сумерках при свете фонарей белели милицейские гимнастерки: кордон не сняли из-за реальной опасности наплыва в антракте любителей джаза. Между галдящими зрителями терлись, прислушиваясь к разговорам, мужчины, функции которых Кондрат научился определять.

— Як вам мой Лео? — услышал он обращенный к нему ангельский голосок.

Это была соседка по столу юная Ирэна: белое платье чуть ниже колен — без отделки и кружев — просто облегало юную хрупкую женщину с живым цветком в кудрях. Она источала тонкий аромат духов, который облаком обволакивал ее.

Она бесцеремонно взяла Кондрата под руку, и они влились в поток пар, фланирующих перед входом. На них оглядывались.

— Как вашему мужу удаются такие переливы голоса? — первое, что взбрело, произнес Кондрат.

— Не ведаю, — беззаботно засмеялась Ирэна. — Мы тылько год поженившись, ешчэ не все узнали один про одного. У него абсолютны слых, але не може выучить русский! Слова песэнэк записывае польскими буквами и так учит — аж смешно!

— А вы уже хорошо говорите по-русски, — бормотал Кондрат. Близость, запах обворожительной женщины приводили в отупение.

А она щебетала:

— Я же знала, что мы будем выстэмповаць в Москве, потому учила русский. Мы разговариваем с Лео по-французски. Когда у нас в Белостоке он уговаривал меня взять… шлюб…

— Выйти замуж.

— Запомню слово. Да, так Лео объяснялся по-французски, жебы мои тата и мама не зрозумели. И когда я решилась и пришла на вокзал, чтобы ехать с ним… в Совдепию, Рознер увидел меня в школьных гетрах и сказал: «Лео, ты увозишь с собой детский сад!» — И она звонко рассмеялась. — А вы, пан… Кто ест?

— Кондрат, театр. Моя пьеса в программе декады.

— О, такой молодой и уже такой знаменитый! А костюм на вас — не советский, нет.

Он видел, что старше Ирэны больше чем в два раза, что она задабривает, но ее обходительность, и то, что их провожали пытливыми взглядами, льстило.

Встретившийся им директор оркестра Давид Рубинчик озабоченно предупредил:

— Ирина, не опаздывайте к автобусу, как вчера. Лео с ног сбивается, разыскивая вас.

— Слухам се, пане дырэктоже! — отреагировала покорно женщина и подмигнула Кондрату.

Прошли, бурно беседуя и тоже молча оглядев их, Утесов с Колей-барабанщиком.

Коля — Николай Самошников, ударник знаменитого джаз-оркестра. После блестяще сыгранного комедийного эпизода в «Веселых ребятах» стал любимцем разгульных компаний. Вытекавшие отсюда последствия вынудили Утесова уволить виртуоза. Через несколько лет они случайно встретились. Утесов попытался упрекнуть, уговорить спивающегося Колю. Но тот отрезал: «И так, Леонид Осипович, можно жить». — И отошел, пошатываясь.

Кондрат пытался доступно пересказывать Ирэне содержание своей пьесы, то и дело натыкаясь на драматургические ситуации и выражения, которые никак не могли быть понятны человеку из буржуазного общества,— и это его сбивало. Но она слушала, не перебивая, искренне стараясь вникнуть в суть. И вот что предложила:

— И пусть бы в финале пьесы дырэктора повысили бы еще, нет?

Драматург вздохнул, глянул на собеседницу восхищенно:

— Я так и написал. Но… не разрешили.

— Как?! Автор же — вы! Кто посмел? — искренне недоумевала она.

— Видите ли, пани Ирэна, — начал выкручиваться Кондрат.

Но тут, как-то отыскав их в толпе, подлетел Ружевич с двумя эскимо на палочках. Поняв, что их трое, торопливо надкусил свой батончик, второе эскимо протянул подопечному. Кондрат взял — и предложил мороженое спутнице. Она приняла, благодарно помигала ресницами и по-детски стала лизать эскимо.

— Продолжайте, Кондрат, рассказывать. Так интересно!

Но — звонок. Ирэна сунула свой пропуск Ружевичу, а сама бесцеремонно, не отпуская Кондратовой руки, уселась с ним рядом.

Второе отделение началось игрой оркестра в полутьме, с нарастающей громкостью и учащенным ритмом.

— Сейчас увидите, как выйдет Рознер, — шептала женщина Кондрату. — А потом мой Лео опять будет петь. Ну, хлопайте же, хлопайте в ритм!

Ирэн и Лео Марковичи осели в Москве. Он до пенсии играл в оркестрах Рознера. Она, владевшая языками, до пенсии работала в магазине иностранной литературы «Дружба» — на улице Горького, рядом с Моссоветом. До глубокой старости пани Ирэна делала макияж, оставалась элегантной; хранила рассохшуюся гитару покойного мужа. Она ездила в Париж к родственникам. Проездом в Берлине встречалась с Рознером, была последней, кто из старых друзей и соратников видел его.

В полутьме оркестр, разделенный надвое пандусом, развернулся к его вершине. Там на последнем аккорде — оглушительном «фермато» — в небольшом световом пятне из разреза занавеса показалась рука с золотой трубой.

Зал уже, что называется, вибрировал.

Рознер в ритме музыки легкой походкой спускался к сцене. Проходя мимо группы труб, взял инструмент у музыканта. На сцене, встав перед оркестром, заиграл на двух трубах знакомый по заграничным грампластинкам «Сан Луи-блюз».

Не десять дней, а месяц — месяц! — срывая все планы гастролей в «Эрмитаже», играл в Летнем театре джаз Рознера. Играл бы там до зимы — на аншлагах.

Это был пик триумфа оркестра. Далее — грустнее: война, поездки в вагоне по фронтам и по стране, развал оркестра из-за бегства музыкантов-поляков в армию генерала Андерса, игра остатков джаза перед киносеансами, через год после окончания войны неразумная попытка Рознера тайно сбежать с семьей в Польшу, суд — и восемь лет ГУЛАГа. После освобождения у Рознера новые оркестры — с середины 50-х до начала 70-х. Но менялись симпатии публики, музыкант старел, меркла былая слава. Он эмигрировал в Берлин и очень скоро угас там в бедности и безвестности. В день смерти пришло сообщение о выделении ему пособия как жертве фашизма...

Ружевич начал разборки, когда с Кондратом еще только шли к городскому автобусу:

— О чем в антракте с этой пшечкой шушукались?

— О ее муже Лео — о чем же еще!.. И, конечно, о радости жизни в СССР.

Чекист заглянул в лицо спутника с недоверием.

— Вы, конечно, пригласили ее на свой спектакль?

— Они же пригласили меня на свой концерт. Ответная любезность.

— Но у них — просто музыка, а у вас — сатира! Понимаете? Са-ти-ра. Причем острая! Ведь так?

— Осмеивая нравы, сатирик не может писать иначе как негодуя.

— Ну вот — тем более! Зачем человеку из буржуазного общества видеть наши недостатки?

— Но они, эти недостатки, как вы их называете, уже и ее: все музыканты — граждане СССР! Имеют право знать.

Ружевич насупился.

— И где гастролирует ваш театр?

— В филиале МХАТа.

— Когда вы намерены посетить с ней свой спектакль?

— А вот еще мы не решили.

— Пойдем втроем, — настаивал чекист.

— И вот что, мой обязательный друг, — осмелел Кондрат. — Мало ли как сложится в дальнейшем ситуация… Отдайте мои талоны на питание.

— Это невозможно. Нет.

День последний

Допущения:
воспоминания участницы, поведанные через много-много лет кому-то, пересказанные кем-то и кем-то записанные.

Кондрат из партера оглянулся: царская ложа пустовала.

— Не туда смотрите. Вон товарищ Сталин, — шепнул Ружевич, кивнув на ложу прямо у сцены, слева от портала, если смотреть из зала.

Вождь на этот раз расположился не в царской ложе, а в правительственной: там, за складками тяжелых портьер с золотыми кистями и бахромой, легче было укрываться от извержений народной радости, да и что говорить, — безопасней. Потому зрители не заметили, когда он при уже погасшей люстре и поднятом занавесе появился там со свитой и присел спиной к стеночке, отделявшей ложу от соседней.

В заключительный концерт режиссеры Касьян Голейзовский и Лев Литвинов, пребывая в постоянной конфронтации, кроме обязательных хоров,

балетных номеров и оперных арий все же отобрали то, чем можно было поразить… нет, не все повидавшую Москву, а главного зрителя.

Начал хор Оперного театра, спел кантату, посвященную ему:

«Мы роднаму Сталіну ў песне
Паклон і падзяку прынеслі…
Жыві, наш любімы,
На шчасце радзімы…»

Как всегда при исполнении произведений хором, текст распознавался через слово, да Кондрат особо и не вслушивался. Он следил, качнется ли в ложе портьера, за которой укрывался вождь. Было же любопытно: как человек воспринимает адресованную лично ему льстивую казенщину. Нет, не шелохнулась. Вождь кантату воспринял милостиво: привык выслушивать славословие себе в концертах предыдущих декад, да и вообще — всюду и ежедневно.

Что-то сольное станцевала балерина Николаева. Следом бархатным голосом Рахленко стал читать оду вождю — на белорусском:

«Ты нашых садоў і палёў красаванне,
Ты — наша вясна, дарагі правадыр!..»

В какой-то момент Кондрату стало горько и досадно за «дядек» Янку и Якуба, принимавших участие в сочинении од, «Писем вождю», текстов кантат. Как адресат терпит патоку, не сгорает со стыда, не прекратит?! Но нет: и тут не дрогнули помпончики на портьере.

Исполнили коронный оперный дуэт Соколовская с Арсенко, мило сплясали девочки в костюмах цыплят, народную песню исполнила Млодек — пока все шло, как у всех: официально и скучновато.

Обнаружил себя вождь только когда встал, аплодируя народному хору села Великое Подлесье.

Кондрат с левой части партера видел лишь показавшиеся из-за портьеры аплодирующие ладони, но знал, что это руки Сталина.

Поднялся и весь зал — неясно было, кому предназначались овации: самодеятельным артистам или родному вождю.

Этому выступлению предшествовал скандал.

Перед концертом певуний в платочках-«хустках», по-деревенски завязанных у подбородков, в просторных курточках и юбках, пахнущих сыростью, печным дымком и нафталином, на служебном входе Большого театра задержала охрана режимного объекта и отказалась пропускать: не верили, что они — артисты. Давида Рубинчика рядом не оказалось — находился при своем оркестре в «Эрмитаже», — и заступиться за сельчан было некому.

Но тут уж не растерялся их руководитель Гэнек Цитович: дал команду — и Рыгор Крамник прямо в проходной развернул гармонь, а девушки звонко запели. Цитович представил милиции коллектив:

— Полесский хор. Профсоюз «Леса и сплава»!

Таковой, конечно, оказался в списке.

Так с песней и двинулись хористы по переходам закулисья. Все впервые увидели лифт, примолкли; входили в зеркальные кабины с опаской. В коридорах загримированные, уже в сценических нарядах участники декады смотрели на зажатых стеснительных земляков в посконных одежках снисходительно.

Тринадцать сотен посланцев БССР заняли все гримерные, все репетиционные помещения театра. Хору отвели балетный зал. На брусья, отполирован-

ные ладонями артистов балета, делавших тут экзерсисы, хористы развесили привезенные с собой костюмы. Девушки пудрились, красили губки, черными карандашами подводили брови…

За кулисой, перед самым выходом, Цитович, как Рознер со своим «смайлинг», рассмешил девушек, призывно запев фальцетом: «Дарагі Генадзь Іваныч, прыхадзі да нас ты нанач!» Так, с улыбками, и выпорхнули на огромную сцену.

Зал ахнул! Веселые, молодые и цветущие, в самотканых разноцветных юбках, в расшитых кофтах, в жилетках-«горсетках» с гарусными узорами, в бусах — запели:

«Нам прыслала Москва подкрэпление —
Усим фронтам пашли у наступление!..»

Вторые строчки повторяли. Цитович, тоже в вышитой сорочке, звонко зачастил:

«Як за ружья мы все дружна взялися,
Так буржуи-паны разбяжалися!»

Рефрен пробовали подхватить и в зале.

А потом под Крамникову гармонь пустились парами в кадриль. Зал вызвал их на бис, сплясали; зрители требовали еще, еще!

— Этот гармонист Крамник… рядом с правительственной ложей, — беспокоился Ружевич.

А Кондрат в восторге аплодировал.

Аплодировал и вождь; стоя, заметил довольно:

— Какой сообразительный народ эти наши новые белорусы: только стали советскими людьми — и уже песня! Молодец, Пономаренко, молодец.

А в зале не утихали овации. Полешуки повторяли и повторяли концовку кадрили. Из-за кулис им делали знаки: кончать! Но повторили они танец пять раз. Это был триумф. Секретный «козырь» Пономаренко сработал.

Хор этот, как в модели, повторил судьбы всех белорусов: в войну гармониста Крамника заберут немцы за то, что откажется играть им, — и больше его в селе не увидят; двух сестричек расстреляют полицаи за песни о Сталине; кого-то угонят в Германию, троих после войны репрессируют: пели на вечеринках в годы оккупации; наиболее голосистых заберет Цитович в Минск — они станут основой будущего Народного хора БССР. Остальные будут тихо доживать в полесском селе без леса и реки Великое Подлесье, вспоминая свое выступление 15 июня 1940 года в Москве, в Большом театре, где свою кадриль они станцевали перед Сталиным пять раз.

А на сцене — второй «козырь» белорусов: лихо танцевали и пели артисты Ансамбля солдатской песни и пляски БОВО. Самый секретный эффект — «сюрприз» вождю, как проговорился ему Пономаренко, — был в финале «Казачьей пляски». Репетировалось это в Минске тысячи раз. Размахивая в танце саблями, скрещивая их, высекая искры, в финальной точке танцоры в одно мгновение сложили из сабель слово СТАЛИН! Зал ахнул. Но…

Далее все произошло мгновенно.

Сабля танцора, не задействованная в составлении заветного слова, вдруг, блеснув лезвием в полете, пролетела полсцены и остро воткнулась в пол у самого барьера правительственной ложи: порвался ее крепежный ремешок у кисти танцора.

Зал замер.

Танцоры в финальной мизансцене окаменели.

Застыла охрана.

Пономаренко, сидя в ложе за спиной вождя, закрыл глаза.

Сталин, чуть помедлив, встал и показал залу, что аплодирует.

От обвала оваций, казалось, дребезжали хрустальные подвески на люстрах.

В антракте вождь подозвал Пономаренко.

— Я утром подписал Указ о наградах. Включите туда и этого казака без сабли. Хороший трюк. Эффектный. Продуманный.

Никто не решился выяснять: полет сабли был отрепетированным трюком, счастливо окончившейся случайностью или задуманной провокацией.

Усаживаясь после третьего звонка, вождь обернулся к Пономаренко:

— А почему в заключительном концерте не играет ваш хваленый джаз?

— Они работают в Летнем театре сада «Эрмитаж». Сегодня у них два концерта. Но по вашему приказанию, товарищ Сталин, в любой день…

— Товарищ Пономаренко, у товарища Сталина в другие дни есть еще кое-какие другие заботы. Послушаю оркестр в июне, во время отпуска.

И тут Пономаренко неосмотрительно, что называется, «ляпнул»:

— Джаз Эдди Рознера нарасхват: в июне гастролирует в республиках Средней Азии, затем у них Сибирь — плотный график…

Вождь медленно развернулся.

— А другого времени, товарищ Пономаренко, у меня не найдется. Значит: или в июне джаз приедет ко мне в Сочи, или я прерву отпуск и поеду к ним в Среднюю Азию.

Под взглядом вождя Пономаренко непроизвольно отступал, пока спиной не наткнулся на фигуру охранника, стоявшего у двери в ложу.

Близился финал концерта.

Огромную сцену Большого театра заполнили нарядно одетые сто пар, лихо отплясывающие «Лявониху».

Художник Лариса Бундина: «Моя бабушка — Янина Могилевская — танцевала «Лявониху» в первой паре. Ну, бабушка была фантазерка, могла и приукрасить. Но так утверждала».

На сцену к танцорам стекались с песнями и прискоками заявленные в сценариях отряды пограничников, колонны физкультурников, батальоны военных с женами, дети-скрипачи, девочки-«цыплята», шеренги фанфаристов-герольдов, стахановцы, хоры, ансамбли — тысяча поющих участников призвана была поразить Москву масштабностью, как экзотический сельский хор, как составленное из сабель слово, как неслыханный в СССР джаз.

Далее опять произошло непредвиденное. Началось с простой накладки.

Оркестр бодро заиграл вступление к белорусской песне, уже ставшей популярной в стране: «Будьте здоровы, живите богато!»

Но солистка Соколовская от волнения вместо этих привычных слов запела почему-то текст припева: «В зеленой дубраве мы ночевать будем…», да еще на полтона выше.

Дирижер Шнейдерман нашелся, крикнул музыкантам:

— С восьмой цифры! — и взмахнул дирижерской палочкой.

Оркестр подхватил. Но духовики и деревянные инструменты заиграли по нотам, а струнники — по подсказке своего сообразительного концертмейстера в тональности, в которой запела солистка: на полтона выше.

Подхватил весь сводный хор — пошел за солисткой.

Медные в оркестре дули свое.

У осветителей в партитуре было записано: на словах «Бывайте здоровы!» — дать общий полный свет с усилением световой зоны в центре сцены. Но первых-то слов они как раз и не услышали, поэтому программу не изменили, ожидали «Будьте здоровы». А некоторые, имевшие слух осветители опознали мелодию, звучавшую на репетиции, — и включили свою часть программы: ярко высветили центр, где на обнажившихся, очень высоких станках беспомощно стояли крестьяне из села Великое Подлесье.

Тысячеголосый хор в полутьме пел вразнобой с оркестром. Все головы почему-то были повернуты к боковой ложе.

И тут Кондрат увидел, как, движимая какой-то притягательной магией, вся тысячная масса стала медленно надвигаться на сталинскую ложу.

Первыми потянулись дети. Свободного места на авансцене оставалось все меньше — и маленький пионер, оступившись, вскинул руки и рухнул в оркестровую яму. Там затрещали сломанные пюпитры.

Женщина-хористка, упав на колени, простерла руки к вождю, выкрикивая что-то истерически.

Толпа, беснуясь, выдавила еще одного: в оркестровую яму упал с воплем танцор — глухо и коротко ухнула литавра.

А масса неумолимо смещалась влево, надвигалась на ложу. Стали невольно сходить со станков хористы и подпирать сзади толпу.

Грохотал оркестр.

Соколовская, путая слова, продолжала петь; раскинув руки, жалкой попыткой пыталась сдержать психозный порыв толпы, но и ее несло: неотвратимо напирали сзади.

Все свершалось стремительно. Кондрат с ужасом ожидал развязки: люди вот-вот посыпятся в оркестр, а масса перехлестнет барьер ложи. И тогда…

Но раздался гортанный командирский выкрик.

Ружевич пружинно вскочил. Кондрат невольно отпрянул.

Открылся контингент зрителей партера: планомерно, продуманно рассаженные — ближе к сцене по четыре в каждом ряду, а дальше пореже, — вскочили крепыши в штатском. И они, и Ружевич, оттаптывая ступни сидящим в ряду, ринулись к проходам, пробираясь, шипели, бросали коротко зрителям:

— Сидеть. Сидеть.

Выбравшись, они бежали по проходам к сцене, выстроились спинами к барьеру оркестровой ямы, вперились в сидящих. Через одного правые руки держали в карманах.

Торжественная кода песни. Дирижер снял звучание.

Зависла зловещая тишина.

Вождь, выждав и сдержанно насладившись порывом толпы, неторопливо поднялся — Кондрат это понял по колыханию портьеры. Сталин поднял правую руку, развернул ладонь к подступавшим.

Лавина дрогнула, замерла.

Именно от декад 30—40-х годов продолжилась традиция так называемых «правительственных» концертов с их помпезностью, политизированной скукой.

Но как не признать, что лишь благодаря декаде в Минске достроили Оперный театр, улучшили материальное положение артистов, родились новые произведения, спектакли обрели новое оформление и сценические костюмы, дали коллективам возможность выступить на самых престижных сценах Москвы, вообще почувствовать свою значимость.

На выходе из театра в толпе зрителей Кондрат заметил Купалу, стал пробиваться к нему — так хотелось пообщаться с дядькой Янкой! Но поэта-орденоносца все десять дней возили сопровождающие по творческим встречам с непременными застольями, и в гостиницу возвращался он поздно.

Через два года, накануне своего 60-летия, в этой же гостинице «Москва» улетит Купала в межлестничное пространство. У низких перил шестого этажа стоял еще белорусский гений, а две секунды спустя на мраморном полу вестибюля уже простерлось всего лишь тело. И ляжет Купала в родную землю нескоро: ее в 42-м еще топчут немецкие оккупанты.

К Купале, видел Кондрат, притерлись Мовчар и Горский, — и ему расхотелось быть там четвертым.

Когда переходил скверик на площади Свердлова, непонятным образом — профессиональным чутьем, никак иначе, — лейтенант отыскал Кондрата в толпе выходящих с концерта.

— Ну что, товарищ сатирик, смешно? — утирая пот, кривенько усмехался Ружевич.

Девушка со значком Осоавиахима тоже шла к остановке автобуса, пристроилась рядом с ними.

Кондрат молчал.

— Смешно, да? — явно провоцируя, настаивал чекист.

— Это вы сказали «смешно». — И Кондрат, остановившись, крикнул ему прямо в лицо: — Страшно!

«Мойте руки, проходьте в хату»

Допущения:
неопровержимость подтверждается последствиями.

Таким присловьем 17 июня на Кремлевском приеме встречали гостей девушки в экзотических для Москвы костюмах — «певухи» из хора села Великое Подлесье. Гостями были представители московского «света»: по два-три человека от ведущих театров, творческих союзов, министерств, Академии наук, летчики — первые Герои Советского Союза, папанинцы, несколько участников «Челюскинской эпопеи», просто всесоюзные знаменитости — одни и те же личности из приема в прием, по любому поводу. Список приглашаемых на Кремлевские приемы неоднократно обкатан. Отобранных, проверенных делегатов и гостей разделяли, провожали и рассаживали за столы в Георгиевском и Владимирском залах, в Грановитой палате.

Привычные и отработанные хлопоты и для устроителей, и для руководителей делегаций: кого отобрать на банкет? Кого в каком зале разместить? В какой близости от стола вождей рассадить?

С белорусами возникла особая сложность: во-первых, отбор следовало сделать из тысячи двухсот сорока двух участников — такие, притом, страсти кипели и обиды! — во-вторых, за «западниками» следовало надзирать особо. Поэтому среди сельчан, встречающих гостей, были и молчаливые, просто улыбающиеся мужчины: младшие чины НКВД переоделись в вышитые сорочки мужчин-хористов. А те отмечать окончание декады оставались в общежитии: свои припасы, чарки-шкварки, они почти не тронули, Москва по талонам питала обильно.

Артистов Минского драматического театра, певицу Соколовскую, писателей Купалу и Крапиву сразу, едва вошли, препроводили в комнату служебного характера. Человек в штатском — чекисты все тут носили штатское — раздавал листочки с текстами здравиц, определял последовательность выкриков.

— А если мы от себя, от души? — с улыбкой предложил Борис Платонов. — Готовились!

Распорядитель, тоже улыбнувшись, пояснил:

— Душа может воспарить. А бумага — надежней. Вы же артисты: заучите это, как роль.

— Как эпизод — здесь текста мало, — скривился Владомирский.

— Это роль, — повернувшись к народному артисту БССР, внушал распорядитель. — Роль. Отнеситесь как к роли. Главной. Не забывайте, на какой вы сейчас сцене и кто ваши зрители.

Артисты примолкли.

— Товарищ Купала, за вами первое приветствие. Вот ваш текст.

Поэт замахал руками.

— Ой, что вы! Я собьюся, со страху под стол залезу! Пусть лепей Людмилка, соловейка наша.

Распорядитель всмотрелся в поэта и передал текст певице Соколовской.

А самых высоких гостей на входе встречали физкультурницы в белых, обтягивающих торс свитерах.

Галина Савченко, дочь участницы декады: «Мама часто рассказывала, как они выступали перед Сталиным, Молотовым, Ворошиловым. У нас дома долгие годы хранилась та ее форма: белый нитяной свитерок и белая льняная юбочка. Я потом, по молодости, выпросила этот свитерок у мамы и ходила в нем на каток: была самой модной девочкой — ни у кого тогда такого не было!.. Так жаль, что вещи эти не сохранились».

Вошедшим Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, Калинину, Андрееву, Микояну, Жданову, Швернику, Маленкову, Булганину, Шкирятову и Пономаренко физкультурницы вручали те самые, оговоренные сценарием сорочки-«вышиванки» и тканые пояса. Среди них была в белом свитерке улыбающаяся девушка со значком Осоавиахима.

Аплодисменты продолжались не только на проходе вождей к своим привычным местам за столом, но и когда они расселись. Овации, казалось, не будет конца. Хлопали в ладоши и вожди.

Кондрат, почувствовав несуразность ситуации, прекратил аплодировать и попытался сесть.

Ружевич тотчас же зашептал:

— Нельзя первому кончать хлопать, нельзя!

Соколовской подали знак. Она поднялась с бокалом вина.

— Я славлю лучшего друга белорусского народа, нашего родного отца, нашего учителя, солнце нашей жизни: Иосифа Виссарионовича Сталина!

Все, не пригубив бокалы, не закусив, опять вскочили и стали неистово бить в ладоши.

Кондрат посчитал, что пяти минут аплодисментов достаточно, и опустил руки.

Заметив, Ружевич всполошился, зашипел:

— Я же предупреждал: нельзя первому заканчивать хлопать, не смейте! За этим пристально следят.

— Кто?

— Мы.

Мимо них пронесли пышный, со вкусом собранный букет. Сотрудник почтительно преподнес его Соколовской со словами:

— Вам, Людмила Эдуардовна, от товарища Сталина.

А вождь, послав ей букет, обратился к сегодняшнему «имениннику», 1-му секретарю ЦК КП(б)Б:

— Товарищ Пономаренко, я вашу приму не пригласил за свой столик: боялся, рэвновать будете.

— Что вы, товарищ Сталин! К тому же, у нее есть муж.

— А вот товарищу Ворошилову это, я знаю, не помеха.

Ружевич восхищенно глядел на вождя, радостно сообщил Кондрату:

— Товарищ Сталин три вечера отдал нашей республике, а на предыдущих декадах был только на открытии и закрытии!

— Спасибо за такую честь нашему отцу, другу и наставнику.

— Кому-кому?

— Наставнику.

— Это еще кто? — насторожился чекист.

— Учитель.

— Так бы и говорили.

— Корень слова общий с русским. Несмышленыша «наставляют»: учат. А наши военные инструкции как еще называются? «Наставления по уходу за стрелковым оружием». Наставления.

— Все-то вы меня, товарищ Крапива, поучаете! — недовольно бросил Ружевич.

— Белорус должен знать свой язык, товарищ Юзеф.

— Отрыжки нацдэмовщины. — И Ружевич продолжал неистово аплодировать.

Второй тост, как и было расписано, через короткий промежуток времени произнес Владимир Владомирский:

— За пламенного ленинца, лучшего соратника великого ленинца… Сталина, за ленинца товарища Молотова!

Все заметили, что для народного артиста БССР этот бокал был далеко не вторым — когда успел?

Третьей по знаку распорядителя поднялась Ирина Жданович. Здравицу вызубрила, но бумажка с текстом лежала перед ней.

— Я поднимаю бокал за неутомимого борца за идеи Ленина-Сталина, за неутомимого борца за дело товарища Сталина, за Всесоюзного старосту — товарища Калинина.

Остаться незамеченной ей не удалось, а хотела.

Алексей Платонов, племянник Бориса Платонова — мужа Ирины Жданович: «Ирина Флориановна рассказывала… К ее столику подошел военный, щелкнул каблуками: «Вас приглашает за свой стол товарищ Сталин. Пойдемте». Сказала, что ничего не помнит от волнения!»

Соколовская ревниво следила за подходами к столу вождя, нетерпеливо ждала приглашения — была звездой декады! И когда пригласили туда Жданович, проводила ее завистливым взглядом: ей, Людмиле, букет, а эту Ирку — за стол!

А Ирина шла к Сталину сама не своя. Затылком чувствовала присутствие посланца вождя. Ступала механически, ничего не слыша, перед глазами все плыло. Что мог означать этот вызов?

Было отчего волноваться: ее отец, Флориан Жданович, основатель Белорусского театра — репрессирован как «нацдэм»; брат мужа, отец Алексея, — репрессирован. Он, директор авторемонтного завода в Витебске, якобы подсыпал в бензин сахар, который народ отоваривал по карточкам, ремонтировал бронемашины штаба маршала Тухачевского, уже репрессированного как враг народа.

Губы под седеющими усами шестидесятилетнего Сталина шевелились, изгибались в улыбке. Но у дрожащей молодой артистки напрочь отключился слух. Единственное, что уловила: будто бы вождь произнес «…новая роль». Она еле выговорила:

— Джу… Джульетта, товарищ… Иосифович…

Алексей Платонов, племянник ее мужа: «Ирина Флориановна рассказывала, что Сталина за его столом не узнала: на портретах такой рослый, представительный, а тут: лицо в пупырышках — он же оспой болел».

Сталин поднял свой бокал, другой бокал с вином кто-то из-за ее спины сунул Ирине в руку; чокнулись. С таким же, как у Людмилы, букетом, не помня себя, вернулась она к своему столику.

Артист Михаил Жаров, знакомый девушке в национальном наряде по кинофильмам, одной рукой чередовал рюмки и закуски, а другой поглаживал локоть робеющей танцовщицы — и говорил, рассказывал, смешил! Скользнув рукой по ее тонюсенькой талии, пригласил на вальс.

Художник Лариса Бундина: «Моя бабушка — Янина Могилевская — вспоминала, что на том приеме на столах было много конфет, пирожных, а она стеснялась взять — так потом жалела, что не попробовала кремлевское пирожное!.. А еще на банкете за ней ухаживал любимец народа артист Михаил Жаров и все приговаривал: «Ах, хороша белорусочка!» Бабушке, думаю, даже вспоминать было приятно, что за ней ухаживал такой знаменитый артист».

В зале стоял гул голосов, звон вилок и бокалов. Компании складывались стихийно. Подвыпивший Утесов подступился к Кондрату:

— А где же ваша прелестная Рахиль?

— О ком вы?

— Та, рыженькая, с которой были на концерте Рознера. Сидели же рядом со мной.

— Это жена гитариста. Мы просто…

— А, того, что токовал по-тирольски! У нас в Одессе все так умеют, только стесняются. А гитарист он — так себе. Мой Миронов — куда посильнее! Девицу — правильно, что отбиваешь у этого польского тетерева.

К чему было доказывать Утесову, что Ирэну с того летнего вечера он не видел: часы обеда в ресторане не совпадали, искать ее и навязываться с посещением спектакля по его пьесе не посмел. Да и сам он в филиал МХАТа, где «Хто смяецца апошнім» играли два вечера, заглянул лишь однажды, поздно, к самой развязке комедии. Крапива мысленно представил, как выглядела бы его пьеса с запрещенным, обрезанным финалом: нового повышения Горлохватского по карьерной лестнице. Еще раз поразился прозорливости юной Ирэны, безошибочно, с ходу угадавшей его нереализованный, уничтоженный, но такой острый и естественный для сатиры замысел!

И неотступно преследовала мысль: почему Москва позволила показывать здесь его пьесу? И чем это может кончиться для спектакля да и лично для него?

Писатель Алексей Толстой, кинорежиссер Михаил Чиаурели поместили в центральных газетах отзывы на оперу и балет белорусов — одобрительные, конечно.

— Попробовали бы не похвалить, — заметил Ружевич, пожав плечами. — Так на всех декадах заведено.

А вот на «Хто смяецца апошнім» рецензий не было. Но восторженных перешептываний среди москвичей хватало. Кондрат посчитал разумным: не появляться в театре, не выходить на неизбежные поклоны… не высовываться.

Давид Рубинчик изнывал: его оркестр играл в «Эрмитаже», а он, директор, разлученный с коллективом, пребывал на банкете в непривычном для себя состоянии полной безответственности: он ни за что тут не отвечал. Почти никого здесь не зная, ни с кем не общаясь, он не догадывался, что и у джаза Рознера, и у него эти триумфальные гастроли в Москве в июне 40-го — самые звездные дни жизни.

Дальше все будет грустнее, драматичнее.

Кинорежиссер Валерий Рубинчик, сын директора оркестра: «Папа относился к Эдди Игнатьевичу с большим почтением, как к великому таланту. Самым драматичным в биографиях обоих был ноябрь 46-го: та попытка Рознера выскользнуть в Польшу, где уже утверждался такой же, как в СССР, коммунистический режим.

Папу вызвали ночью на Лубянку. Мы с мамой и музыканты оркестра в гостинице «Москва» ожидали его сутки в невероятном напряжении. Отца отпустили. Что там с ним происходило, знаю с его слов.

Дознание вел сам всесильный министр Госбезопасности Абакумов. Вопрос ставил жестко: знал ли директор о намерении Рознера сбежать из страны?

Папа кроме того, что директор и ближайший сподвижник Эдди Игнатьевича, был единственным в большом коллективе членом коммунистической партии, аж с 1932 года, а до того — преданным комсомольцем.

И на допросе к теме попытки побега Рознера возвращались всю ночь.

Папе как-то удалось убедить Абакумова, что никто в оркестре ничего не знал. И постепенно темы и тон допроса сменились. Абакумов стал интересоваться: как проходят репетиции, кто шьет музыкантам такие элегантные костюмы, куда оркестр намерен ехать на гастроли? А к утру Абакумов поинтересовался: «Вы, наверное, ничего не ели?» И папе принесли чай и бутерброды. Закончилось чаепитием. «До свидания». Папа вернулся в гостиницу «Москва»… или «Киевская»?.. А что с Рознером, никто тогда не знал».

Пономаренко чувствовал, понимал: мероприятие, именуемое «Декада национального искусства БССР», прошло… скромно оценивая, — триумфально. И он, чуть разгоряченный напитками, совершил неосмотрительный шаг, решил попросить милости своему детищу:

— Товариш Сталин, джаз Рознера задерживается в «Эрмитаже» на месяц, до июля. Москва ломится на их концерты…

— Вы торопитесь, товарищ Пономаренко. Ваш Рознер еще не врос в советскую систему. Рано ему быть заслуженным артистом — ведь вы об этом хотели просить. Заслужить надо. Вон у нас Утесов еще не заслуженный. А вдруг ваш Рознер — сбежит?

Некий высокий чин из бдяще-карательных органов заверил вождя:

— Куда сбежит?! От погони сбежать можно, от пули даже. От нас — никогда. Невозможно.

Кондрат, завидев за дальним концом соседнего стола Янку Купалу, двинулся с бокалом к поэту.

— Не ходите, — удержал Ружевич. — Не рекомендовано.

— Но Утесов ходит.

— Ему можно. Он тут свой. А нам — желательно общаться с ближайшими соседями по столу.

— С вами.

— Со мной. Разве нам нечего обсудить?

— Лепей бы с кем близким… по профессии.

— «Лепей» — это как?

— «Не лепо ли ныне, братие…» или «нелепо», или «лепота» — эти русские слова понятны?.. Тогда: а не чокнуться ли нам, друг?

Бурные, долго не смолкавшие аплодисменты продолжались уже после того, как вожди покинули зал.

Крапива аплодировал уже один.

Выходили через Никольские ворота.

В конце мостика на Манежную, у пропускного поста, заметил Кондрат парочку: Айзека Мовчара с Ильей Горским. Те влились в толпу гостей, покидавших Кремль: выглядело так, будто и они возвращаются с банкета. Обоих подхватила под руки девушка со значком.

Кондрат придержал чекиста за локоть.

— Скажите, Юзеф…

— Иосиф. И-о-сиф.

— Мовчар — он ваш человек? — Выпили, можно пооткровенничать, как водится среди друзей.

— Все-то вам надо знать, Кондрат Крапива… нет, он так, от себя.

— Их произведений на декаде нет — как в Москве оказались? — допытывался Кондрат. — Как испанские дети-переростки?

— Нет их ни в каких списках, — подтвердил лейтенант. — А они сами выписали себе командировки: от Союза писателей.

Кондрат, как все гости, тоже заметно под хмельком, ускорил шаг, догнал Горского.

— Илья, не боишься: пока ты тут, в командировке, кто-то в Минске войдет в белорусскую литературу?

Горский ответил резко:

— С пьяными не разговариваю.

Вопросы на ответы

Допущения:
фантазия на тему фактов.

Кондрат осваивался в двухместном купе международного вагона: мягкие, в бархате, диваны друг против друга, плотные портьеры, накрахмаленная, с отделкой мережкой, салфетка на столике, туалет между соседними купе — вот так предписано теперь ездить белорусскому драматургу, лауреату Сталинской премии!.. Но угнетала глухая тревога, какое-то темное предчувствие, и насторожило, что на одном из диванов лежал чиновничий портфель, а не

знакомый фибровый чемоданчик Ружевича. Странно, что после обеда исчез и сам «обязательный друг», а должны были после награждения возвращаться из Москвы, естественно, вместе.

Поезд тронулся, проплывали литые чугунные столбы перрона Белорусского вокзала, поддерживавшие навес. Вот и он кончился. За окном в темноте светились огоньки московской окраины. Поезд миновал перрон пригородной платформы «Беговая», вдали над домиками светились скульптуры коней, венчавшие ворота ипподрома.

На соседнем диване лежал в ожидании хозяина портфель.

В купе вошел улыбчивый блондин. Кто это — Кондрат понял по выправке.

— Гражданин Ружевич… он где? — не утерпев, спросил.

— Почему «гражданин»?

— Чтобы потом не переучиваться.

— Предусмотрительно. Он под следствием. Разрабатываем…

— Дальше не надо. Не хочу ваших тайн.

— Ружевича забыть, Кондрат Кондратович. Разговорчив, много себе позволял.

— Добрый… Вы мой новый «обязательный друг»?

— Не будем играть в прятки. Я — старший лейтенант Крупеня.

— Как я расту: присматривал за мной лейтенант, а теперь уже — старший! Тот обещал: до конца декады «дружить», она закончилась, всем сестрам раздали по серьгам — и значит…

— Это вы так о своем ордене Ленина и о Сталинской премии?.. Кстати: поздравляю с высокой правительственной наградой.

— Кстати: спасибо.

Кондрат повернулся к нему спиной, стал взбивать подушку, готовясь ко сну.

— Ваша премия, Кондрат Кондратович, в двадцать шесть раз больше моей зарплаты.

— Конечно несправедливо! Я — чего там?! — сел да и написал. А вам треба: разрабатывать, следить, анализировать, описывать…

Крупеня недоумевал:

— Ну, так… «Треба» — это сугубо по-белорусски?

— Зачем же, корень общий с русским: потребление, потребность, требование…

— А-а, — протянул Крупеня, — теперь понятно, почему Ружевич обложился белорусскими словарями, выкопал запрещенную «Грамматику» нацдэма Тарашкевича!

— Закрываем тему: я, лауреат Сталинской премии, требую: хватит «дружбы».

— Времена меняются: нынешние тревожны. Видите, что творится в Европе? Не буду надоедать. Так, изредка станем в Минске встречаться, поболтать.

— У вас столько дел в нынешние тревожные времена, когда такое творится в Европе: хватит ли сил на болтовню со мной?

Крупеня сел, откинулся, улыбаясь:

— Кто-то вошел в белорусскую литературу, когда Илья Горский был в командировке — это вы так остроумно...

— Разве говорил? Не помню. — Кондрат спешил свернуть общение. — Пора отдыхать.

— Товарищ Крапива, а я… или кто-то из нас не станем персонажами вашей новой комедии?

— Что вы! Надо разоблачать-обличать управдомов, жечь глаголом пьяниц, каленым железным пером карать неверных мужей, срывать маски с пузатых империалистов! Не до вас… друг. Добрых снов.

Он погасил яркий верхний свет, оставил тусклый дежурный; сдвинул половинки портьер. Монотонный перестук колес усыплял. Кондрат лег лицом к стенке, натянул одеяло.

Его пьеса «Хто смяецца апошнім» так и осталась единственной в советском искусстве сатирой, с 40-х годов и до наших дней. Единственной! — настолько тщательно было раскорчевано властями сатирическое поле.

После войны БССР отстраивалась, залечивала раны, и Кондрату Крапиве было не до сатиры. Да и перо, честно говоря, притупилось: сочинил пьесы «Поют жаворонки», «Врата бессмертия», но они не выдержали испытания временем. Скорее всего, решил отсидеться в окопе, «не выторквацца».

А ту, о карьеристе Горлохватском, время от времени театры ставят — за неимением иного.

Проснулся Кондрат среди ночи: потрясений и дум хватало. Главный мучивший вопрос: почему премию дали ему не за пьесу «Партызаны», о борьбе с белополяками в 20-е годы, а за сатиру? Да еще высшая награда: орден Ленина. С чего бы это? Кто смотрел спектакль? Очевидно, что на обоих показах пьесы в Москве присутствовали московские сподвижники Руже… Крупени. Но никто из видных ответственных лиц в зале замечен не был.

Он не знал, что как раз в день банкета, утром 17 июня, Сталин подписал Указ о награждении участников декады БССР, что в этом Указе самым странным, необъяснимым было появление его фамилии.

Не приснился, нет, а почти реально привиделся Калинин, вручавший вчера в Кремле награды. Орденов Трудового Красного Знамени удостоились Белгосфилармония и 33 человека, среди них скульптор Заир Азгур, композиторы Анатолий Богатырев и Исаак Любан, артистка Лидия Ржецкая, руководитель военного ансамбля Александр Усачев; орден «Знак почета» получили 44 участника декады, медаль «За трудовое отличие» — 77 человек, в том числе и тот, кого Сталин назвал «танцор без сабли».

Рука всесоюзного старосты устала от пожатий, но каждому награжденному посланцу БССР улыбался, тряся седой козлиной бородкой. Невозможно представить, что он был когда-то молодым. Хотя это проглядывалось, по слухам, в обхаживании дедушкой артисточек.

«Золотой дождь» наград обмыли бокалами шампанского в зале приемов Верховного Совета СССР.

В Минске Крапива узнает еще о некоторых загадочных следствиях декады.

Оказывается, оставались кое-какие неиспользованные суммы, и заместитель председателя Союза писателей БССР Максим Климкович 29 июня обратится в ЦК с просьбой о премировании писателей, бывших в окончательном списке. Но что любопытно: был вычеркнут из списка челюскинец Александр Миронов, вместо Петра Глебки и Петруся Бровки — авторов либретто опер и балета — почему-то включены в список о премировании поэтесса Эдди Огнецвет, вернувшийся из лагеря Кузьма Чорны (Романовский) и, как написано, «др. писатели». Эти «др.» — Мовчар и Горский. Этим двум ЦК в поощрении откажет.

Ночь в поезде тянулась бесконечно. На какой-то остановке Кондрат приподнял занавеску, прочитал на высвеченном фасаде вокзала: «Смоленск». Еще только Смоленск, полпути до Минска.

Прикидывал: может, наградили его с подачи Храпченко — тот как-то особенно горячо поздравлял драматурга. Но начальник всех искусств СССР каждый вечер был в Большом театре в ожидании возможного визита Сталина — и потому не мог быть в филиале МХАТа.

Вряд ли кто в Москве пьесу читал: перевода на русский еще нет. Но наверняка довели же до верхов ее содержание! И почему это не сочли за привычный «поклеп на советскую действительность»? А наоборот: поощрили.

И тут Кондрату показалось, что нашел ответ.

Кто в СССР у власти? Недоучившийся тифлисский семинарист Сталин, сельский сапожник из-под Киева Каганович, реалист-«ремеслуха» из-под Вятки Молотов, луганский слесарь Ворошилов, полуграмотный казак-есаул Буденный — не все хотя бы с начальным образованием. И, видимо, как-то узнали содержание пьесы, просто подсознательно им польстила насмешка над главным персонажем: ученым-интеллигентом — пусть и прохиндеем, но все же представителем чуждого, некогда привилегированного класса. Это непременно — знали они — должно было льстить и так называемым «широким народным массам». Иного объяснения Кондрат не видел.

Знал: ни ордена, ни звания, ни премии в СССР не индульгенции от решетки и лагеря. Вспомнил друга Андрея Мрыя и понял, что у сатирика в эти дни — две дороги: или в Сталинские лауреаты, или в ГУЛАГ.

Оказалось, бодрствовал и Крупеня. Более того: чувствовал, что Кондрат не спит.

— Кто герои новой комедии? Уже, верно, обдумали?

— Никто. Сатира кончилась.

— Потому что ваши персонажи у власти? Так?

— Это вы сказали.

— А о чем будете дальше писать?

— Я сплю.

Действительно: о чем же? — задумался Кондрат. — О чем? Хотя вот, можно разрабатывать неисчерпаемую тему: «Мой родны кут, як ты мне мілы!..»

Неведомо: пил ли после московского триумфа сильно рисковавший Пономаренко шампанское? Естественно предполагать, что да.

Ровно через год и одну неделю после окончания декады искусства БССР — 22 июня 1941-го — Германия перешла ее границы. Белорусы, как и обещали, встали грудью на защиту своей земли.





Михаил ПОЗДНЯКОВ

Отцовский сад

* * *

Тут раздолье сычам…
И вокруг — ни души.
Только память меня окунает в былое,
Демонстрируя вновь,
Даже в этой глуши,
Фильм о детстве моем,
Хоть кино и немое.

Вновь кипенье черемухи,
Здесь, под окном.
И сирень пятипало бушует у хаты.
А вот мама, меня напоив молоком,
Смотрит, как я лечу,
Озорной и крылатый…

Папа где-то у Гр*е*зы уже, на лугу,
Папа косит траву
Под напев соловьиный.
И я папе, конечно, сейчас помогу…
А вокруг,
Будто звезды,
Горят георгины.

Следом хлопцы-друзья босоногой толпой
Зазывают меня
На футбольное поле.
После — юная леди танцует со мной,
Нам всего по пятнадцать…
Прощай, моя воля…

Потому каждый год в деревеньку лечу,
Отвергая Париж
И заморские пляжи,
Что здесь в памяти

Фильмы кручу и кручу —
Те, что мне никогда
И никто не покажет…

Кони

Мы поздно ехали… Темнело…
Гудели от косьбы ладони.
Вдруг на лугу, из дымки белой,
Неясно проступили кони.

«Притормози!» — сказал шоферу
И к табуну пошел по травам
Всмотреться в их глаза-озера,
Что греют взглядом величавым.

Они, послушные, спокойно
И мирно встретили чужого.
Какое это чудо — кони!
Я поклонился… Что такого?..

И что-то ласково шептал им,
И гладил с нежностью по холкам…
Им, горделивым и усталым,
Звезда светила над проселком.

Эх, кони, кони… Вы от века
Во все суровые годины
Служили верно человеку,
Дивя отвагою былинной.

Столетья войн… Герои — в звездах…
А у коней судьба иная:
«Что конь?.. Для всадника он создан,
Пусть гибнет, воина спасая!..»

Я целовать готов им холки,
И извиняться, извиняться
За плети свист, сухой и колкий…
Столетья мчат и кони мчатся…

Так и бродил бы… Холки трогал,
От тихой нежности бессильный.
Но вновь позвал меня в дорогу
Глухой гудок автомобильный.

Ну, вот и все… Пора прощаться,
Мне снова в путь под небом гордым.
И чудится, что кони мчатся…
И что-то горькое под горлом…

Отцовский сад

Сад отцовский… Как тихо…
По две яблоньки в ряд…
Но молчит воробьиха,
И деревья молчат.

Приунывшие груши
Без гостинцев своих.
А бывало — за уши
Не оттянешь от них.

Сливы высохли, вишни…
Сад крапивой зарос.
Почему же так вышло? —
Всем вопросам вопрос.

Поспешаем куда-то,
Ищем новых путей.
Нет осеннего злата
Ничего золотей!..

И когда полпланеты
Облететь ты успел.
Просто вспомни, что где-то
Отчий сад опустел…

* * *

Аист… По-нашему ***бусел***…
Зорьки лазурная нить…
Нужно служить Беларуси,
Скромно и верно служить.

Нет, ты на это не призван
Возгласом: «Мы — бульбаши!..»
Нужно, чтоб поле Отчизны
Сделалось полем души.

Предками с детства горжусь я —
Теми, что спят меж берез.
Нужно служить Беларуси
Не потому, что здесь рос.

На впечатления скорый,
После нелегких дорог
Всем говорю без укора:
«Здесь нынче правды исток!..»

Утром и полночью вьюжной,
В стужу, прохладу и зной,
Очень стране это нужно —
Чтобы мы жили страной.

Пусть же улыбки лучатся! —
Родина… Все здесь мое.
Как ей в любви признаваться? —
Сам я частичка ее.

Очи любви

Очи у любви — из чистоты,
Пить и пить… Глядеть — и видеть счастье.
Будто две криницы золотых —
Замутить не смей их безучастьем.

Очи у любви — из доброты,
В них не свет, а ласковая м**у**ка.
Таинством наполнены… И ты
Огорчить не смеешь их разлукой.

Очи у любви — сама светлынь,
Молодого солнышка разливы…
Ты их невниманьем не отринь,
Женские глаза и так пугливы.

Очи у любви — из тишины,
В них сокрыта истинная тайна.
Грозами, что взору не видны,
Не разрушь идиллии случайно.

Очи у любви — из глубины,
Что хранит бездонье океана.
Не печаль их… Видишь, как полны
Эти очи силой окаянной?..

Очи у любви — из высоты,
Той, которой верую и внемлю.
Но взлетая в небо, помни ты —
Расшибешься, падая на землю…

Очи у любви — из чистоты…
Очи у любви — из доброты…
Очи у любви — сама светлынь…
Очи у любви — из тишины…
Очи у любви — из глубины…
Очи у любви — из высоты…

Очи у любви — глаза богинь,—
Господи, к моим глазам придвинь!

* * *

Бродит месяц над хатой пустою,
Зацветает в канаве вода.
Я с печально-тревожной душою
Каждый год поспешаю сюда.

Где-то в небе рыдает мой папа —
Агроном, и садовник, и врач.
Запустение… Дождик закапал…
В небо некому молвить: «Не плачь…»

Травянистым бреду переулком,
Снятся дичкам тугие плоды.
Сердце бьется тревожно и гулко
Ощущеньем вины и беды.

Ты простишь ли меня, милый краю,
И над хатой ночная звезда,
Что так редко сюда приезжаю —
Лишь гостить приезжаю сюда?..

Потому и рыдаю душою,
И предчувствую холод беды,
Когда месяц над хатой пустою
Озаряет пустые сады…

Перевод с белорусского Анатолия АВРУТИНА.





Ирина БАТАКОВА

Ты не умрешь никогда

Рассказы

Никто об этом не знает

Саша не ждал от жизни уже ничего нового — вся она превратилась в нескончаемое, душное лето, которое никуда не двигалось, застыло на месте в солнечном параличе, и сохло, и задыхалось от самого себя. Зато дорожная пыль за три месяца зноя сделалась мягкой и тонкой, как шелк. Саша любил копаться в пыли. Окунал в нее руки, чтобы они покрылись серым слоем, затем сильно растопыривал пальцы — и тогда все линии на ладонях прочерчивались белым рисунком.

«Никто об этом не знает», — думал Саша, чуть сжимая ладонь и снова расправляя ее, наблюдая, как рисунок на коже то исчезает, то снова появляется. Чудесные свойства пыли он обнаружил совсем недавно. И был уверен, что один обладает этим тайным знанием красоты, потому что ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из людей занимался тем же самым.

«Никто», — повторял Саша в блаженной тоске одиночества. И еще что-то гордое и насмешливое лезло в голову: «Они думают… ха-ха!..» Но кто «они» и что «думают» — Саша и сам себе не мог бы ответить.

«Где тебя носит? — сказала мать. — Опять всю пыль на себя собрал. Купаешься ты в ней, что ли? Как воробей…» Она обхлопывала его, морщась и отворачиваясь. Он молчал, с привычной отстраненностью покоряясь ее сильным нервным движениям. «На речке не был?» Он помотал головой. «Ну и правильно, не ходи. Я запрещаю. А то сегодня там девочка утонула. Помнишь Кристину, племянницу коменданта?.. Приехала на каникулы, и вот тебе…»

«Утонула?» — повторил Саша, осознавая, что совершилось удивительное событие, свидетелем которого он не стал.

Ночью ему представилось, что племянница коменданта Кристина лежит на дне реки, придавленная камнем и обвитая водорослями, как сестрица Аленушка. Выплынь, выплынь на бережок! Не могу, братец Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желты пески на грудь легли. Желты пески… Он положил руки на грудь и закрыл глаза — и его тотчас унесла в сон большая поющая рыба.

«А у Кристины есть жених?» — спросил он мать на другое утро. «Жених? Какой жених?» — «Ну, который ее спасет, достанет из речки, чтоб они жили долго и счастливо?» Мать поглядела на него так, словно впервые увидела и теперь хотела получше рассмотреть. Открыла было рот, чтобы ответить, но промолчала.

На третье утро Сашу разбудили звуки траурного марша — то тягучие, то распадающиеся, словно музыка ползла на сорока ногах, спотыкаясь и запутываясь, нащупывая дорогу вслепую. Мать стояла у окна и смотрела во двор. Саша подбежал, вскарабкался по батарее на подоконник и прилип носом к стеклу.

По улице двигался оркестр. Музыканты — солдаты военной части, неуклюже и старательно взбивая пыль сапогами, брели под изнуряющим солнцем под бременем своих инструментов. Трубы полыхали тяжелым металлическим огнем и натужно гнусавили, срываясь на визг. Тарелки сыпали сухим звоном. Барабан утробно стонал. За оркестром несли гроб. В гробу лежала Кристина — на белых крахмальных подушках, в венке из белых роз. Ее лицо, прозрачное и тонкое, с заостренным темным носиком, казалось сделанным из голубого стекла. За гробом вели черную женщину, поддерживая под локти.

Непонятно было, как Кристина выбралась из реки, и почему ее положили в гроб, и зачем все это… Вдруг страшная догадка пронзила Сашу. «Она умерла?» — воскликнул он. «Да», — сказала мать. «Насовсем-насовсем?» — спросил он. «Да, — кивнула мать. — Насовсем-насовсем».

Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок, костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезати… «А я? Я тоже умру?» — «Что ты такое говоришь? Ты не умрешь никогда. Слышишь? Никогда-никогда».

«Конечно, — рассудительно думал Саша. — Я же совсем другой. Они — там. А я — здесь». Он дотронулся до груди, прикоснулся к глазам, пытаясь понять — где находится это «здесь». Лег на пол и зажмурился, силясь повернуть зрачки внутрь себя, но ничего не увидел, кроме плывущих под веками розовых блямб.

Спустя несколько дней он встретил возле киоска солдата — это был один из музыкантов похоронного оркестра, Саша запомнил его по рыжим волосам и рябому лицу, и еще потому, что из всех инструментов его сильнее всего впечатлил большой барабан, на котором играл этот солдат.

Солдат отошел от киоска, разворачивая пачку сигарет, сел на спиленное дерево и закурил.

«А где твой барабан?» — спросил Саша. «А ты откуда про него знаешь?» — удивился солдат. «А вот знаю», — загадочно сказал Саша. Ему понравилось, что неожиданно для самого себя ему удалось сбить с толку взрослого человека в армейской форме, и захотелось еще чем-нибудь удивить его. «А я вот как умею!» — Саша повозил руками в дорожной пыли и выставил перед солдатом ладони, сжимая и разжимая их. «Ну и ну! — притворно воскликнул солдат. — А так умеешь?» — он сплюнул сквозь щербину в передних зубах. «Ты ничего не понял», — разочарованно произнес Саша. «Ну так объясни мне», — сказал солдат миролюбиво, и Саша снова заважничал. «Это секрет», — ответил он, отряхивая руки. «Давай меняться: ты мне свой секрет, а я тебе свой», — подмигнул солдат рыжим глазом. «Ладно», — согласился Саша и уселся рядом на высохший ствол мертвого дерева.

Он хотел спросить о главной тайне, о Кристине, о барабане, и как это все связано, но не знал слов. Солдат тоже молчал, думая о чем-то своем, затягивался, стряхивал пепел, снова затягивался, медленно, с наслаждением вдыхая и выдыхая дым.

«Сегодня костюм хоронили, — сказал вдруг солдат. — Иногда от человека остается один костюм». — «Как это?» — вытаращил глаза Саша. «А вот так вот, братан. Вот так». Солдат затушил окурок. «Хотя, по сути, разве это все — он похлопал себя по бокам — не костюм? Понимаешь, братан?» Он обернулся, поглядел на Сашу и, опомнившись, засмеялся: «Куда тебе! Рано еще».

На этот раз Саша не обиделся — он сидел притихший, очарованный бездной и тем, что эта бездна языком солдата говорит с ним на равных, называет братаном.

«Вот так вот живешь-живешь как дурак, а потом бац — и нету тебя, только костюм, аккуратно разложенный на крышке цинкового гроба. Со стрелоч-

ками на штанах. Ну разве не идиотизм?» — солдат закурил вторую сигарету, сломав три спички.

«Иногда смотришь на красивую девчонку — там все горит, все трепещет. Что это? Откуда? Куда уходит? Или вот это дерево, — он провел белотелой, конопатой рукой по заскорузлой коре, — когда-то оно было зеленое, с густой блестящей листвой. Все умирает, все…»

«Я не умру», — сказал Саша тихим, уверенным голосом.

«Ну, тебе видней», — кивнул солдат, подумав. Вдруг он пристально сощурился, выругался и со словами «шухер, патруль» бросился наутек.

Из рощи вышли офицеры. «Это кто там сиганул?» — спросил один. «Рыжий», — сказал второй.

В тот же момент на землю упали тяжелые капли — одна, другая, третья — словно гвозди, они вколачивались в дорожную пыль, вздымая вокруг себя маленькие вихри. И вскоре все кругом хлестало и шумело, барабанило и лилось. По улице с радостными криками паники бежали люди. И Саша побежал вместе с ними.

Похороны костюма

Однажды Кочетков забоялся говорить о себе в прошедшем времени.

Где-то он услышал об этом или сам вообразил — давно еще, будучи мальчиком. Мол, нельзя. Иначе прошлое овладеет речью и сквозь язык пустит корни в сердце — и сердце засохнет.

С тех пор это стало его личным суеверием. Ему нравилось иметь свои, особые суеверия — так он ладил с жизнью интимную связь, так он испытывал к самому себе больше доверия. Все общепринятое казалось ему подметным, и он боялся оскорбить тайну бытия каким-нибудь ходовым предрассудком или ритуалом — никогда не плевал через плечо, не скрещивал пальцы, не целовал икон, не веря, что Богу нужны поцелуи в доску. «Ты, Валера, ничего не понимаешь в соборности», — говорил ему следователь Мальцев, и Кочетков, благодарный за интерес к себе, не спорил.

В людях он замечал то же самое — какую-нибудь подробность, намек на неуставные отношения с жизнью и смертью. Как-то раз хоронили старуху, и Кочетков обратил внимание на перевязанный резиновым жгутиком мизинец на ее руке. Он сфотографировал эту деталь. Уже вечером, на поминках, слушая разговоры за столом, он узнал, что старуха боялась быть похороненной заживо, как Гоголь, и наказала мужу, чтобы тот в случае ее смерти туго перевязал ей палец — если смерть ненастоящая, палец опухнет и посинеет. Люди говорили об этом как о чудачестве, но с пиететом, качали головами: ученая была женщина, да и правильно, что докторам не доверяла, разве можно им верить. Но Кочетков увидел здесь другое — недоверие к смерти, которая может перехитрить кого угодно, только не ее, старухино, кровообращение.

Кочетков служил в местной газете фотографом, а в неурочный час выезжал на свадьбы и похороны. Иногда ему звонили из милиции — приглашали на место преступления, фотографировать улики и приметы злого дела, а потом они вдвоем со следователем отправлялись куда-нибудь выпить и пофилософствовать. Кочеткову нравилось работать на похоронах и преступлениях, а свадьбы он не любил — они все получались у него на снимках одинаковыми. Он поделился своими размышлениями с Мальцевым. «Наверное, счастье безлико, в отличие от горя. А может быть, я просто не различаю ликов счастья…» Мальцев как раз в это время расследовал интересное убийство, от

которого ждал чудесного поворота в судьбе, и ему стало радостно, что Кочетков — человек совсем иного внутреннего склада — разделяет его любовь к преступлениям.

Следы убийства вели на Кавказ, то ли в Осетию, то ли в Абхазию, и Мальцев выехал туда на встречу со свидетелем, да там и пропал. Через два месяца его тело привезли в цинковом гробу. Гроб поставили на две табуретки, в саду, под старыми кряжистыми яблонями, а чтобы обозначить присутствие невидимого Мальцева, положили на крышку пиджак и брюки. Для правдоподобия рукава пиджака скрестили на груди, как у покойника. Эта простодушная имитация сперва показалась Кочеткову злой проделкой детей, он даже огляделся, гневно сверкнув глазами. Но тут слабый вздох ветра пронесся по листве, и в знойном воздухе расползлось страшное, гнусное зловоние...

Дорога шла в гору. Крутой подъем измучил его, он задыхался и ругал себя за рыхлое тело. Скорей бы к реке, чтобы ба-бах — и в воду, прямо в одежде, в ботинках, в единственном костюме — сером в тонкую полоску, как же он мне осточертел, купленный в сельмаге двенадцать лет назад, до сих пор как новенький, умеют же наши. Правда, теперь костюм тесноват, — но не тратить же деньги на новый, да и как-то уже сросся, сроднился с ним. Кочетков и сам себя чувствовал таким костюмом — серым ширпотребом, и в то же время — единственным, уникальным. Во мне существуют два человека — один невзрачный, другой невидимый. Под ногой хрустели улитки и кузнечики.

Сегодня на поминках, когда он закончил работу и засобирался, хозяйка поднесла ему кружку самогона: «Чтобы были не в претензии». Он выпил большими глотками, как воду, и отправился домой, и теперь, в дороге, сонно и мутно тяжелел с каждым шагом, тоскуя в одиночестве своего опьянения. Один невзрачный, другой невидимый. Ему стало горько за свою судьбу. Хотелось плакать. Но он рассмеялся, вспомнив сегодняшнего мертвеца. Хоронили художника. Он был славен на всю округу своей бородой — дикой, черной, как у кубинского повстанца. Но санитары в морге не разобрались и от усердия или от скуки побрили его. И художник исчез. Вместо него в гробу лежал строгий человечек — то ли парторг, то ли завхоз, то ли кастелянша. Никто не узнал его — ни мать, ни дочь, не говоря уже о посторонних, и похороны прошли в неловком изумлении. Только когда собака художника не захотела уходить от могилы, люди поверили, что он это он.

Завести, что ли, собаку? — подумал Кочетков. Но тут же рассудил, что это хлопотно, да и к чему — если нет бороды. Интересно, собака все еще там? Лежит среди крестов и плит, вздыхая, ворочаясь и выкусывая блох, в будничном ожидании хозяина. Или, может, все поняла и не знает, как теперь быть и зачем теперь быть, старая верная собака, и вот она просто лежит, оцепенелая, на свежей жирной земле, а двумя метрами ниже лежит сам не свой художник с босым лицом, с выбритой и напудренной кожей, сквозь которую потихоньку растет посмертная щетина.

Еле живой, он вскарабкался на вершину. В груди жгло, словно там каталась в углях печеная картофелина, и жар подымался к горлу, не давая вздохнуть. Сквозь дымную муть в глазах сверкнул ему отблеск реки, и Кочетков побежал вниз с холма на гуттаперчевых ногах, не владея уже телом, а лишь подчиняясь ему — то вприсядку, выкидывая коленца, то по-медвежьи подворачивая ступни, ломясь через кусты, спотыкаясь на кочках, оступаясь в ямы. Сумка с фотоаппаратом, перекинутая наискось, лязгала по бедру, — он попытался было переместить ремень, и в этот момент резкая боль проткнула стальным прутом его сердце, он качнулся и стал заваливаться на бегу, земля вздыбилась, ударила плашмя по лицу, потащила… Он кувыркнулся через себя и вдруг, каким-то чудом снова оказавшись на ногах, по-мальчишески легко, в два прыжка сбежал к реке. Остановился. Приложил руки к груди — там все молчало, как в воздухе,

как в звездах над рекой. Что это? Что со мной? Кочетков замер в тихом изумлении, потрясенный широтой и светоносным покоем воды. Осторожно, словно боясь разбудить кого-то, он вошел в реку. Постоял. И смиренно вышел.

Пора… Пора домой. Кочетков продолжил путь, ступая по земле, как впервые, — теперь он чувствовал, что вся она населена беззащитной жизнью, и ногам было стыдно давить ее. Сквозь холодную влагу ночной росы он чувствовал теплую влагу травы, ее зеленую кровь, волокнистые сосуды, спутанные клубящиеся корни, протянутые в подземной тьме до горизонта. Стоп. Я что, иду босиком? А где же ботинки? Кочетков опустил взгляд, чтобы увидеть свои ноги, но ничего не разобрал в темноте. Господи! — спохватился он. — А камера! Я забыл на берегу камеру! Он поспешил обратно. Но чем быстрее он шел, тем медленнее двигался мир, и с детства знакомая местность казалась неузнаваемой. Забавный случай, — думал Кочетков с нарастающей тревогой, — расскажу об этом следователю. Но что ему сказать? Как объяснить? Дорогой закадычный друг товарищ Мальцев, над рекой, в километре от дамбы, безвозбранно летает святой дух, чье присутствие можно обнаружить, но нельзя зафиксировать, т. к. сердце, пронзенное его безветренным полетом, сокрушается и немеет, вследствие чего наступает потеря ориентации в пространстве и времени, прошу принять меры и вернуть мне обувь, потому что каждый мой голый шаг ослабляет мою телесность мукой сострадания ко всякой насекомой твари, и вообще — жалко ботинок, недавно куплены.

Наконец, в какой-то странно измененной перспективе, он увидел знакомые очертания того самого холма. Под холмом лежал человек среднего возраста и телосложения. Луна во всех подробностях освещала его скомканную фигуру, заледеневшие зрачки, пуговицы и складки на заношенном сером костюме. Из расстегнутой сумки поблескивало кольцо объектива. Кочетков обошел вокруг, привычным взглядом фотографа-криминалиста изучая обстановку. Затем вернулся к телу и еще раз осмотрел его. Признаков насильственной смерти нет. Похоже, инфаркт. Ну, что же… Я умер, — заключил он и впервые не испугался прошедшего времени.

Кристина

— Вода-река, приручись ко мне! — прошептала Кристина и нырнула.

Она еще успела услышать, как кто-то извне крикнул: не плывите с Криской, она всех победит! Но ей уже было все равно. Она уже считала гребки. Раз. Два. Три.

На дне было все желто-зеленым, мутным и пустым. Где-то в близорукой дали колыхались водоросли. Ну, вон дотуда. Кристина всем телом сосредоточилась на цели, как учил ее тренер по плаванию.

Ей даже почудилось, будто он ждет на другом берегу, держа палец на секундомере. И она его не разочарует, она придет первой. Да-да, она всех обгонит, не плывите с ней. Не плывите с ней, не дружите с ней, не играйте с ней. У нее мать ку-ку, с приветом, полоумная, Нинка-баламошка, Нинка-чокнутая, Нинка-катастрофа, сожгла балтийский флот. Это было давно, еще до рождения Кристины. Четыре. Пять. Шесть.

Тогда Нинке было чуть больше, чем Кристине сейчас. Пятнадцать лет, детский санаторий под Юрмалой, лето, море, первая любовь. Преступная любовь. Он был женат и что-то такое, короче, старик. Уходя, подарил ей колечко. Дешевая поделка из сувенирной лавки. Но она подумала: венчальное, и ждала его — день, два, неделю. А потом выдернула шнур, выбила стекло, выбросила кольцо и сошла с ума.

Семь. Восемь. Девять… Глупое соревнование, кто его затеял? Кажется, Генка, это он закричал: а давайте, кто дальше проплывет под водой! Как будто у них были шансы. Кристина сразу заметила, что плывет в одиночестве, — все остальные, наверное, барахтаются на поверхности, как поплавки, сунув лицо в воду, — это у них называется «плыть под водой». Дураки. Не знают, что надо держаться у самого дна, почти скользить по дну — тогда вода тебя не вытолкнет, а наоборот прижмет, придавит, и только под этим давлением можно плыть прямо вперед, прямо вперед.

Они легкие, а я тяжелая, — подумала Кристина, вдруг заново переосмыслив урок по физике об удельном весе тела в воде. Это не тело в воде, поняла она, не тело. Это совсем про другое.

Наверное, мать бы мне объяснила эту физику. Она что-то знала — про скрытые связи между предметами и существами, про иную телесность вещей. Но ее залечили. Так говорила бабушка: ее залечили. Из-за этого чертового кольца. Нет, не так: из-за того, что кольцо вызвало необратимые флуктуации в мироздании, самовозгорание кораблей, кипение океанов, мор, глад, войну и гибель Вселенной.

Десять. Одиннадцать. Двенадцать. А Кристина получилась обычная. Не такая, как Нинка. Обыкновенная. Она, как и все, хотела бы стать балериной или гимнасткой, но не вышла статью. Была долговяза и сутула, и когда в школу наведывались учителя грациозных движений, Кристину неизменно браковали. А потом пришел тренер по плаванию и сказал: широкие плечи, длинные руки — то, что надо. Ей было тогда семь, да, семь, мать как раз почти совсем вроде бы поправилась. А сейчас тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать.

Сначала Кристине не нравилось плавать. Она паниковала, набирала ноздрями воду, взбивала брызги. Кафельное эхо, синегубый холод и хлорка. Вечный запах хлорки. Все было им пропитано: бассейн, душевая, раздевалка, дорога домой. По дороге домой, где-то на полпути, всегда выливалась из уха струйка воды, которая, как ни хлопай себя по голове, никогда не выбивалась вовремя — ни в душевой, ни в раздевалке, а закупоривалась наглухо, и только когда Кристина выходила на леденящий ветер пустыря, на мороз, — вот тогда-то и вытекала из уха в меховую шапку.

Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Ты боишься воды, — сказал тренер. — Приручи себя к воде. И перестань стучать зубами — у тебя есть только один способ согреться: плыть очень быстро, быстрее всех.

И Кристина поплыла быстрее всех. Через два года она обогнала своих сверстников, и тренер перевел ее в старшую группу. Спустя год она и там была первой. Ее записали на областные соревнования — ехать надо было в другой город, и Кристина уже представляла, как она будет жить в гостинице, словно взрослая, и ходить со своей командой в бассейн, как на важную работу. А накануне отъезда у нее начался жар. Потом — скорая, больница, инфекционный бокс, за окном — лицо матери, сразу как-то молниеносно постаревшее, долгое выздоровление, после которого она так ослабла, что казалась себе прозрачной на свет, как лист рисовой бумаги.

Девятнадцать. Двадцать. Ты вот настолько отстала, понимаешь? — тренер вытянул вверх руку, обозначая недосягаемую планку. — Сама от себя отстала. Или работай как зверь, или уходи. — Но я болела, я же не виновата! — Никто не виноват, и никто не будет подтирать тебе сопли. — Но я все делала правильно! — кричала Кристина — Я плавала быстрее всех! Я же приручилась к воде, приручилась! — Ну, значит, вода к тебе не приручилась, — ответил тренер в сторону, и вдруг заорал кому-то яростно: голову! голову держи! И не надо мне вот это вот тут, не надо!

Двадцать один. Двадцать два. Не хватает воздуха… Надо наверх. Двадцать три… Нет, еще немного. Вон до тех водорослей. Двадцать четыре. Нет,

не могу, не могу. На миг ее охватила паника. И тотчас — презрение к себе, к своей трусости — здесь ведь так мелко, вынырнуть всегда успею. Затем — холодное, отчужденное любопытство: интересно, сколько я так протяну? Совсем-совсем без воздуха. Двадцать четыре. Двадцать пять… Двадцать шесть… Двадцать семь… Двадцать восемь… Зачем? Не спрашивай, просто считай. Двадцать девять... Тридцать… Тридцать один… Тридцать два… Тридцать три…

Оказывается, можно жить и двигаться вперед не дыша. Вот и водоросли. Она помнила — тренер предупреждал, — что даже опытный пловец может запутаться в речной траве. Вот были случаи… Тридцать четыре… Тридцать пять… Так что держитесь подальше, а если попались — порядок действий такой… Она прекрасно усвоила порядок действий. Осталось проверить. Вот он удивится, когда она преодолеет эту опасную ловушку легко и свободно, проскользнет тайными ходами, сквозь узкие просветы, в сонно мерцающие щели, где пасутся мальки, не потревоженные опытным пловцом.

И может быть, тогда он простит ей корь и снова примет в команду, снова признает. Он скажет: смотрите и учитесь, эта девочка приручила воду, настоящую воду, с донным речным песком, с илистой мглой, она прошла между холодными и теплыми потоками, сквозь клети подводных растений, сквозь это мертвое клубление тьмы — и вышла на свободу.

Тридцать шесть. Или не шесть… Или семь? Пусть будет семь… Семь чего? Вот раньше были дайверы, задерживали воздух на семь минут. Красивое слово — дайверы. Дай веры. Дай. Веры. Не дашь? Ну и не надо. Мне все равно, есть ты там или нет — на том берегу, со своим глупым секундомером. Нет так нет. Нет так нет.

И вдруг наступил покой. Кристина почувствовала необычное опустошение внутри.

Раньше пустота казалась ей воздухом, который наполняет горюющее сердце, когда оно забывает о своем горе. Теперь не было никакого сердца, никакого горя и никакого забвения — ничего, что можно было бы заполнить. Только покой.

Кристина медленно скользила в подводной тьме, со всех сторон к ней ластились нежные лапы водорослей, и все сгущались вокруг нее, пока, наконец, течение воды не застопорилось совсем, а с ним — остановилась и Кристина. Теперь она просто лежала в реке-траве, как в колыбели, колеблемая вместе с ее листьями и стеблями, — она сама стала травой, и в этот момент увидела свет: тысячи огоньков белого света, они были везде, они распускались, как цветы в гуще водорослей, и, струясь, отлетали вверх. Ух ты! Здесь все наоборот! — удивилась Кристина. — Лепестки опадают не вниз, а вверх. Она потянулась вслед за ними, но водоросли крепко спеленали ее. На одно бесконечно длинное мгновение Кристина увидела себя со стороны — и все поняла. Но уже было не страшно. Вверху сияло, качалось в слоях воды зеленое карамельное солнце. Белые огоньки взлетали к нему, роились и соединялись с его светом, и свет увеличивался и расширялся, как надувной шар, внутри которого лежала исчезающе маленькая Кристина.

Она забыла все — и гордость, и обиду, и как мечтала, чтобы чужой человек с секундомером был ее отцом. И острое сострадание к матери, смешанное с чувством гадливости и стыда. Все вынесло на поверхность, закрутило течением, унесло — вместе с горящими кораблями, кипящими морями, кишащими тварями, божьими карами, со всеми сокровищами мира, которые внезапно превратились в пустяк. В поделку из сувенирной лавки. Копеечное кольцо. В последний момент Кристина вдруг поняла, что оно до сих пор так и лежит там, на лесной тропинке, под юрмальскими соснами.



Георгий КИСЕЛЕВ

Вот такая мне вышла стезя

Перед Богом

И в великом, и в большом, и в малом
Не такой мечталась старость мне.
Сплю я под облезлым одеялом
На почти прозрачной простыне.

Не жалею, не зову, не плачу:
Крыша есть, и греет ремесло.
Лишь во рту открылась недостача,
Но число извилин возросло.

Но и всем числом своих извилин
Осуждая все, что позади,
Как дитя, пред Богом я невинен,
Хоть грехов за мною — пруд пруди.

Хоть живи ты в царстве Берендея,
Хоть в стране, где круглый год весна, —
Как тут быть и что тут, Боже, делать,
Если жизнь на свете так грешна!

Невозможно жить и быть святыми!
Посмотри и убедись, Господь!
Вон твое созданье — не в пустыне,
А в миру, где духом правит плоть.

И в Тобой поставленных пределах
Долга, службы, горестей, утех
Ни чихнуть, ни кашлянуть, ни телу
Дать поблажку — всюду, всюду грех!

Посуди, нам надо молодыми
Умирать, пока мы не грешны.
Но слепыми и в плену гордыни
Разве мы Тебе, Господь, нужны?

Нет, Ты нас, здоровых и болезных,
Всех ведешь, дороги не прямя,

Вознося и окуная в бездны
Духа, власти, славы и ума.

С сожаленьем смотришь иль презреньем
На лукавой плоти удила.
Скольких она в бездну наслаждений
По свободе духа увела!

Ужаснется каждый и затужит,
Осознав, что все, чем жил, — тщета.
И с тропы, что всех житейских уже,
Нам тогда откроются врата.

Вот тогда, опоминаясь в сраме,
Вор, прелюбодей, алкаш, смутьян
Причастятся скверными устами,
О Господь, Твоих Пречистых Тайн.

Он уже на Истину не взропщет,
Припадая к Церкви, наконец,
Пусть вначале, как Фома, на ощупь,
Как прозренья жаждущий слепец.

Господи, с чего ж я ныне плачу
Перед кротким образом Твоим?
О, каким слепцом я прожил зрячим
И прекрасно слышащим глухим!

Старичина

Валерию Яковлеву

Мой друг, уже нам, как того портвейна,
Задора молодого не глотнуть.
И в нашем обращении шутейном
«Старик» — уже не шуточная суть.

И вхожу я в старикачество,
Словно в новой жизни качество.
Мне поднять, как знамя, хочется
Молодое старикотчество!

Я в молодости был стол*и*к,
На то была своя причина.
Долой притворство! Я — старик!
Мне ни к чему уже личина!

Мне сладко спится, редко плачется,
Я не ищу пустых подруг.
В потеху им стариктрюкачеством
Мне заниматься недосуг.

Мне бы не выпустить из рук
Жизнь в ее зряшной бестолковости,
В ее пустячной стариковости,
Вкушая снедь как свет и звук,
В конце пойти на главный трюк —
Уйти неслышно, тайно, вдруг.

Ведь как бы ты ни жил шикарно,
В комфорте, в почестях, в тепле,
Тебя настигнет старикарма
Не где-то там, а на земле.

Да, я старик! Прощай навек
Канонов старых мертвечина!
Я — просто старый человек,
Мне ни к чему уже личина!

И все, что черпал я из книг,
Облагородило мой опыт.
Смотрите — вот мой новый лик,
Он мною в споре с веком добыт!

Цветы России

Осенняя флора России!
Как память былой красоты —
Ее луговые живые
И сердцу родные цветы.

Лишь стоит сбежать с косогора,
Где пашни чернеется пласт, —
России осенняя флора
Росою колени обдаст.

Под ветром клонясь непрестанно
Цветком, обмакнутым в зарю,
Он разве клянет, короставник,
Осеннюю долю свою?

И в дождь, и в ненастную роздымь
Все ловит он издалека
Гулявника желтые звезды
И синий привет василька.

О нет, не о том, что все было
И так на земле одинок,
Над былкой сухой чернобыла
Его говорит огонек!

Он знает — не будет спасенья!
В морозном сгорят серебре

Собратья его по осенней
Жестокой и дивной поре.

И, землю сжимая в кореньях,
От ветра не пряча лица,
С цветами его поколенья
Он будет стоять до конца.

Приди на излом косогора!
И вновь улыбнется тебе
России осенняя флора —
Родная сестра по судьбе.

А с нею и дождик унылый,
И участь — сгореть — не страшна.
Как думы о родине милой,
По ветру летят семена.

О только бы силы достало,
Подобно простому вьюнку, —
Прибиться цветком запоздалым
К ее полевому венку!

* * *

С собою не в ладу
И никому не ведом,
Я по шоссе бреду
Один под низким небом.

А ветер — прямо в лоб
Ладонью ледяною.
И облачный сугроб
Клубится надо мною.

Люблю дороги власть
И с ветром поединки,
Люблю под ноги класть
Асфальты и суглинки.

И никого окрест:
Леса, холмы и воля.
Лишь придорожный крест
Вдруг встанет с краю поля.

Католиков ли крыж
Иль православный символ, —
С минуту постоишь
В порыве негасимом.

Трудна твоя судьба,
Но дух царит над плотью.
И осенишь себя
Привычною щепотью.

* * *

Вот такая мне вышла стезя:
Мне напиться и спиться нельзя.

Хоть не ангел я, не херувим,
Мне нельзя то, что можно другим.

Если мне бы начать с сорока,
Но, увы, все минули срока.

И уже остающийся срок —
Как последний на клене листок.

Словно в поле заснеженный стог,
Словно горечь ненайденных строк.

Я качаюсь, как лист на весу
В опустевшем предзимнем лесу,

Где о тайне последнего срока
Мне трещит без умолку сорока.

О как дышится горько и сладко
На исходе седьмого десятка!





Валерий ЧУДОВ

«Русалка»

Рассказ

Переход через экватор на корабле — событие знаменательное. Чтобы оно осталось в памяти человека ярким и незабываемым, моряки обычно устраивают праздник Нептуна. Когда родилась эта традиция — не знает никто. В истории российского мореплавания «игрища» в честь Нептуна впервые проводились в 1804 году во время кругосветного путешествия Крузенштерна и Лисянского на шлюпах «Надежда» и «Нева». Это были первые российские корабли, которые пересекли линию экватора. Спустя почти 170 лет настало время перейти экватор атомному подводному ракетоносцу…

Атомная подводная лодка, закончив боевое дежурство в Саргассовом море, вырвалась на просторы Атлантики и взяла курс на юг. У нее было ответственное задание. Переход с Северного флота на Тихоокеанский. Не всплывая. Так, чтобы никто не обнаружил. Скрытно. И в одиночку. Попутно — десять дней патрулирования у Бермудских островов.

Над ней была толща воды в 200 метров. А под ней, на глубине в несколько километров, застыли горные хребты, долины, плоскогорья, равнины, навсегда скрытые от людского глаза. Ее окружала абсолютная темнота и полное безмолвие. На тысячи миль вокруг — тишина. Она была одинока и незаметна в этом огромном водяном массиве. Океан равнодушно воспринимал ее лишь как одно из многочисленных существ, обитавших в его подводном мире.

Боевая лодка не имеет иллюминаторов, не снабжена прожекторами, она идет под водой только по приборам, в кромешной тьме. Там, на глубине, нет качки, не ощущается движение, и если бы не слабая вибрация корпуса в энергетических отсеках, то вообще может показаться, что лодка стоит на месте. Впрочем, в жилых отсеках даже вибрация не чувствуется. Только шумит система кондиционирования, поддерживая температуру + 20 градусов по Цельсию. И лишь вахта знает, что субмарина передвигается и держит курс.

В этой огромной, трехэтажной, железной «бочке» длиной 130 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн несли вахту, занимались боевой подготовкой, ели, отдыхали, смотрели фильмы и играли в нарды в свободное время 128 человек. Люди не обращали внимания ни на огромные массы воды над головой, ни на глубины под ногами, ни на 16 боевых ракет с ядерными боеголовками рядом с ними. Моряки просто делали свое дело. Они служили.

Старший лейтенант Дудов сидел на реакторе и курил. Правда, сидел он на маленьком складном стульчике с брезентовым сидением, который на флоте

называют «баночкой», а до крышки реактора было еще полтора метра биологической защиты. Но это уже были тонкости. Он находился в выгородке реакторного отсека, что категорически запрещено при работающем реакторе. Даже ему, командиру седьмого, реакторного, отсека. Ну а о курении даже речи не могло быть. И если бы его присутствие здесь обнаружилось, ему грозили серьезные неприятности. Но в данный момент эти «мелочи» Дудова не волновали. Радиации он не боялся, она была в норме. Дыма от сигарет не ощущалось — вентиляторы с мощными фильтрами работали хорошо. А центральному посту сейчас до него нет никакого дела. У них — запарка. Там готовились к сеансу связи. Лодка всплыла на глубину 40 метров, и из нее выпускалась антенна в виде маленького самолетика, которая принимала сигнал из Москвы. Это была очень ответственная и нервная операция. Командиры лодок не любили работать с этой антенной, потому что были случаи, когда она обрывалась. Тогда приходилось писать объяснительные и выслушивать «нагоняи» командования. Дудов был спокоен. Вряд ли его хватятся. Все сидели по боевой тревоге. Переходы из отсека в отсек запрещены, люки задраены.

(Справедливости ради надо сказать, что это был первый и последний раз, когда он заходил сюда при работающем реакторе.

Инструкции на флоте пишутся кровью. В подтверждение этого, спустя несколько лет, два офицера, никому не сказав, вошли в реакторную выгородку и больше не вышли. А ведь лодка стояла у пирса, и реактор только запускался.)

Дудов думал. Это был худощавый молодой человек двадцати пяти полных лет с симпатичным, классического типа лицом, карими глазами и каштановыми волосами. Думал он о сценарии, который ему надо было написать. Казалось бы, понятие совершенно не подходящее для боевой подводной лодки. Ан нет.

Сутки тому назад, Дудов, позавтракав после смены, в предвкушении перекура и отдыха, уже собирался выйти из кают-компании, когда его остановил замполит:

— Валерий Иванович, зайдите ко мне.

На подводной лодке офицеры обращались друг к другу по имени и отчеству либо просто по имени, с равными и младшими на «ты», со старшими на «Вы». Кроме командира. Он всегда был «товарищ командир». Для всех, от старпома до матроса. Когда Дудов после училища прибыл в экипаж и представился командиру, тот сказал: «Запомните, лейтенант, капитанов первого ранга на флоте много, а командир у вас один».

Дудов вздохнул. Отдых откладывался. Вызов к замполиту всегда означал какое-нибудь задание, которого любой офицер старался избежать.

Замполит был достаточно высокого роста для подводной лодки, поэтому немного сутулился. У него было вытянутое, малоподвижное лицо и короткие волосы. Флегматичный по натуре, он обычно долго подходил к сути разговора, но на этот раз сразу перешел к главному:

— Вас включили в комиссию по подготовке к празднику Нептуна, посвященному переходу через экватор.

Дудов равнодушно пожал плечами. Включили так включили. Он уже был членом нескольких комиссий, членом партбюро и редактором стенной газеты.

— Командир считает, — продолжал замполит, — что вы сможете написать сценарий к празднику.

Дудов удивленно посмотрел на замполита:

— Но, Альберт Семенович, я никогда не писал сценарии.

Замполит ответил не сразу, сделав вид, будто о чем-то вспоминает:

— Но у вас ведь были литературные пробы?

— Когда это было! В юности. Парочка рассказов, которые затерялись в моих бумагах. А потом — служба…

— Мне кажется, у вас получится. У вас есть опыт, есть воображение, и потом… — замполит сделал паузу и закончил как-то виновато: — Кроме вас ведь некому.

Это была уже лесть, против которой молодой офицер не устоял.

— Ладно, — сказал он совсем не по-уставному, — давайте набросаем, какие у нас будут персонажи.

Когда Дудов, после перекура, вошел в свою четырехместную каюту, там отдыхал только командир турбинной группы. Они вместе заступали на вахту во вторую смену. Только турбинист — в свой турбинный отсек, а Дудов — на пульт управления главной энергетической установки.

Сосед по каюте приоткрыл один глаз:

— Ну, что от тебя хотел «зам»?

— Мне поручили написать сценарий к празднику Нептуна, — сообщил Дудов.

— Да… — протянул его товарищ и закрыл глаз, подтверждая тем самым естественность предложения, — все равно больше некому.

А Дудов еще полчаса не мог уснуть, обдумывая начало сценария.

Прошли сутки, в течение которых в голове Дудова рождались куски сценария, но он никак не мог сложить их в законченный ряд. Постоянно что-то отвлекало его: вахта, сон, еда, боевая подготовка, и главное, сослуживцы, с которыми он вынужден был общаться каждую минуту…

И вот только здесь, в реакторной выгородке, где не было никого и ничто ему не мешало, наконец-то сценарий окончательно сложился и приобрел стройный вид. Теперь нужно было изложить его на бумаге.

Дудов удовлетворенно хмыкнул, пропел про себя «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», аккуратно потушил сигарету и положил ее в спичечный коробок. После чего, оглядевшись, вышел из выгородки, захватив с собой стульчик.

Реакторный отсек считается необитаемым. В нем можно находиться лишь кратковременно, для осмотра. Пост управления механизмами седьмого отсека находился в шестом. При повседневном расписании там нес вахту один из спецтрюмных. Сейчас на посту сидели трое — вся команда, как и положено по боевой тревоге.

Когда появился Дудов, они попытались привстать, но командир отсека жестом остановил их. На подводной лодке разрешается сидеть в присутствии старшего. Команда спецтрюмных подчинялась ему только по боевой тревоге. С ними он проводил отработку борьбы за живучесть. С ними он должен был воевать и умирать во время аварии. Но когда они несли посменную вахту, они подчинялись тому, кто сидел за пультом управления главной энергетической установки.

— Меня никто не спрашивал? — обратился он к старшине команды, стройному, рассудительному казаху.

Тот отрицательно помотал головой.

Прошло некоторое время, но желаемой команды «Отбой боевой тревоги» не было. «Что-то случилось», — подумал Дудов. В подтверждение этой

мысли из динамика раздался взволнованный голос командира БЧ-5: «По местам стоять, торпедная атака!» Это было настолько неожиданно, что Дудов даже растерялся. Но тут же взяв себя в руки, посмотрел на подчиненных. Те вопросительно смотрели на него.

— Потренируемся, — успокоил их Дудов. — Наверно, забыли сказать «учебная». Следите за приборами и выполняйте указания.

Более тревожно стало всем, когда, погрузившись на глубину 120 метров, выключили вентиляцию. В отсеке поднялась температура. Становилось душно. Кроме команды «Режим тишина, слушать в отсеках», никакой информации из центрального поста не было. Тишина в отсеках и неопределенность действовали угнетающе. Все молчали и напряженно осматривались по сторонам в поисках чего-то неизвестного. Еще серьезней стала обстановка, когда лодка начала погружаться на глубину 220 метров. При тишине в отсеке было слышно, как потрескивает корпус лодки. Такое бывает при быстром погружении. Для лодки такая глубина считается безопасной и рабочей, но от этого не становилось спокойнее. На такой глубине ходили редко, от греха подальше. Дудову почему-то вспомнилось, как на одном из занятий по борьбе за живучесть подчиненные спросили его, что произойдет с лодкой, если она провалится на глубину ниже предельной. Дудов тогда ответил просто: «Она будет похожа на пустую консервную банку, раздавленную ногой». Сейчас эта картинка почему-то мелькнула у него в голове.

Из люка, ведущего на нижнюю палубу, показалась плотная фигура командира электротехнической группы. Он был старше Дудова на год и недавно получил капитан-лейтенанта. На шее у него висел индивидуальный дыхательный аппарат (ИДА). Широкое курносое лицо излучало оптимизм. Его всегда считали исполнительным и деловитым офицером.

— Внимание в отсеке, — объявил он. — Как командир шестого отсека, приказываю всем надеть ИДА. Маски не надевать, в аппарат не включаться.

Действительно, в данный момент все в отсеке подчинялись ему. Так как седьмой отсек был необитаемым, Дудов с подчиненными находились в шестом, на пульте управления механизмами реакторного отсека. Все без слов надели свои спасательные аппараты и как-то даже успокоились.

Дудов с командиром электротехнической группы прошлись по отсеку.

— Думаешь, нас спасут ИДА? — усмехнулся Дудов.

— Конечно нет, — ответил его собеседник, — зато подчиненным спокойнее.

— Навряд ли, — заметил Дудов.

Конечно, на такой глубине, если прорвет хоть одну маленькую трубочку, бороться за живучесть будет бесполезно. Вначале — сильнейшая струя, распыляющаяся в туман. Затем — поток воды под огромным давлением. И через несколько минут — весь отсек затоплен.

— Ты что-нибудь понимаешь в этой «войне»? — спросил Дудов сослуживца.

Тот помотал головой:

— А нам и понимать ничего не надо. Что считают необходимым, доведут до сведения, а что не скажут, сами узнаем. И мне кажется, «война» закончилась.

В этот момент из динамика раздался спокойный голос командира БЧ-5:

— Всплываем на глубину 120 метров.

Зашумела вентиляция, заработала система кондиционирования. Народ в отсеке повеселел. А через некоторое время раздалась давно ожидаемая команда «Отбой боевой тревоги».

Лишь через сутки Дудов узнал, что же произошло.

Когда закончился сеанс связи, командир ходил по центральному посту. Лишь после доклада, что антенна на месте, он успокоился и сел в свое командирское кресло. Потом шифровальщик принес радиограмму. В ней кроме указания продолжать задание было краткое сообщение: «В северной Атлантике, на атомной подводной лодке «К-19» произошла авария. Лодка всплыла. Принимаются меры к ее спасению».

Командир помрачнел. На флоте «К-19» прозвали «Хиросимой». Она пережила уже несколько аварий. Теперь еще одна. И помочь нельзя, хотя до места аварии не больше суток хода. Надо выполнять свою задачу. Размышления прервал голос акустика: «Товарищ командир, прямо по курсу цель».

Командир вскочил с кресла:

— Надводная?

— Подводная. Предполагаю, атомная подводная лодка.

Дальше полетели команды: «Старпом, торпедная атака!», «Механик, самый малый вперед!», «Боцман, погружаемся на глубину 120 метров!»

Для ракетной подводной лодки самое главное — это скрытность. Враг не должен знать ни места, ни времени ракетной атаки. Если же ты обнаружил чужую подводную лодку, значит, есть вероятность, что и тебя слышат. А это уже чрезвычайное происшествие. Значит надо уходить, отрываться от преследования. И все время быть готовым к торпедной атаке — своей и противника.

— Пеленг, акустик?

— Меняется на корму.

— Дистанция?

— Максимальная.

Лодка медленно уходила на глубину. Командир уводил ее под «слой скачка». Так моряки называют слой воды с большей плотностью. Под ним субмарина может ускользнуть от гидролокаторов. Акустические сигналы отражаются от «слоя скачка», не достигая корпуса лодки.

Нырнув на глубину 120 метров, лодка притаилась. Самый малый ход, режим тишины, прослушивание океана. Но и цель замедлила ход, видно, тоже решила провериться. Теперь обе лодки были похожи на двух огромных морских животных — хитрых, сильных, хищных. Находясь в полной темноте на расстоянии в несколько десятков миль, они не могли видеть друг друга, но могли слышать. Изматывающая, напряженная, психологическая дуэль.

— Погружаемся на глубину 220 метров, — скомандовал командир.

Через некоторое время акустик доложил:

— Горизонт чист.

Теперь — полный ход, и быстрее уходить от контакта. Затем опять — малый ход. Прослушивание. Маневрирование глубиной и разными курсами. И так несколько раз. Наконец акустик в пятый раз устало доложил:

— Горизонт чист.

Игра «в прятки» закончилась. Что это была за цель — неизвестно, но то, что от нее избавились, можно было считать удачей.

Вероятные составляющие этой удачи Дудов услышал от командира дивизиона живучести.

Они сидели вдвоем в курилке и следили за струйками дыма, ускользающими в вентиляционное отверстие. У командира дивизиона живучести было интеллигентное лицо, черные вьющиеся волосы и темные влажные глаза. Он

славился тем, что был в хороших отношениях со всеми в экипаже, от матроса до командира, и знал обо всем, что происходило на корабле.

Поглаживая тонкие усики и мягко улыбаясь, офицер изложил свои соображения:

— Во-первых, мы шли малым ходом на глубине 40 метров. Над нами следует океанографическое судно, которое нас прикрывает. Значит, оба наших шума могли принять за один. Во-вторых, цель была на максимальной дистанции, и мы, к тому же, быстро ушли под «слой скачка». В-третьих, очевидно, эта непонятная цель куда-то спешила, и ей просто было не до нас.

— По всей видимости, — заключил командир дивизиона живучести, — она шла полным ходом к месту нахождения «К-19».

Тогда никто и не предполагал, что их лодку могут перепутать с аварийной.

Весть о том, что какая-то субмарина терпит бедствие в северной Атлантике быстро распространилась по поселку, где живут подводники. Но не было известно, чья она и что там произошло.

Когда жена Дудова узнала об аварии, она сразу же связала ее с той лодкой, на которой служил муж.

— Это пока только слухи, — успокаивал ее друг Дудова. — Официальных сведений нет. Что там случилось, тоже неизвестно.

Жена Дудова кивала головой и молчала.

Но потом, когда все выяснилось, она долго плакала, глядя на двухлетнюю дочку, мирно спящую в своей уютной кроватке.

А в это время Дудов с чувством выполненного долга нес исписанные листы бумаги со сценарием замполиту.

Еще через пару дней комиссия из пяти человек собралась в офицерской кают-компании. Командир сидел на своем обычном месте, в кресле, во главе стола на пять человек. Остальные места заняли члены комиссии. Замполит, не входивший в состав комиссии, расположился за столиком рядом.

Командир корабля, грузин, совершенно не походил на кавказца со своим круглым лицом, серыми глазами навыкате, курносым носом и рыжеватыми, слегка вьющимися волосами. Небольшого роста, полноватый, он весь был какой-то округлый. Только тонкие усики и легкий акцент выдавали в нем жителя солнечной республики. Ему было под сорок, и по подводным меркам считался уже старым для командира лодки. Но подводник он был хороший и в некоторых ситуациях даже лихой. Говорил командир размеренно, неторопливо, постоянно контролируя и сдерживая свой темперамент. Никогда не снисходил до мата, общаясь с подчиненными, чем грешили многие командиры кораблей.

Первая часть заседания прошла быстро. Единогласно одобрили сценарий. Приняли решение проводить праздник в кают-компании младшего командного состава, которую можно было преобразовывать и в гимнастический зал, и в кинозал, и просто в зал. Командир сообщил, сколько дней осталось до того, как лодка пересечет экватор.

Во второй части заседания выбирали кандидатов в главные действующие лица.

«Нептуна» согласился играть офицер, член комиссии, «вечный» секретарь какой-нибудь парторганизации. По должности такой же «управленец», как и Дудов. Его дородная, внушительная фигура как нельзя лучше подходила к этой роли. «Звездочетом» был «назначен» командир группы КИПиА, высокий, худой офицер, вечно чем-то недовольный и озабоченный.

«Пираты» — два мичмана. Выбрали самых объемных. «Чертей» будут играть несколько матросов.

Наконец подошли к главному: кому дать роль «Русалки»?

Перебрали несколько вариантов и уже решили было остановиться на молодом матросе с нежным девичьим лицом, но тут раздался голос командира:

— Это ответственная роль. Матрос с ней не справится. Здесь нужен офицер.

Члены комиссии в замешательстве смотрели друг на друга. Ничего толкового никому в голову не приходило. Командир продолжал:

— Я предлагаю на роль «Русалки» старшего лейтенанта Дудова.

Это было как гром среди ясного неба. Вначале все были ошарашены, но потом как-то быстро отошли. А ведь действительно, лучшей кандидатуры не найти. И как это мы раньше не додумались? Дудову некуда было деваться, пришлось согласиться.

Последний вопрос заседания был прост: каждое действующее лицо готовит свой костюм сам. Остальные члены экипажа, если будет необходимость, помогают. И установлен был срок готовности.

Весть о «Русалке» быстро распространилась по кораблю, и теперь Дудов часто ловил любопытные взгляды членов экипажа. Но офицер не обращал на них внимания. Он был занят изготовлением костюма. Корабельный доктор, русый крепыш в очках, великодушно предоставил в его распоряжение свою амбулаторию и пустующий изолятор. Вместе с офицером, назначенным на роль «Нептуна», они соорудили для «Русалки» парик из пакли. Получилось неплохо. «Нептун» пообещал сделать груди. Тунику, короткое платье без рукавов длиной чуть выше колен, Дудов сам выкроил из «разовой» простыни и разрисовывал греческим орнаментом по подолу. Сшивал тунику «управленец», лысоватый, меланхоличный капитан-лейтенант. Он был на два года старше Дудова и считался уже «старым» для этой должности. Сзади туники приделали хвост из того же материала, отделав его блестками. Добровольные помощники преподнесли «Русалке» самодельные «греческие» сандалии с ремешками, которые завязывались крест-накрест до колен, и широкий пояс с большой пряжкой. Так как лодка делала переход с Северного флота на Тихоокеанский, у каждого были какие-нибудь домашние вещи. У кого-то нашлась французская губная помада. Как последний штрих, Дудов решил надеть черные очки.

Через несколько дней провели репетицию без костюмов, а затем — генеральную, с костюмами. Оказалось, что все участники будущего представления добросовестно выучили слова и были готовы к празднику. Командование осталось довольно.

Праздник Нептуна, как традиция, отмечается на всех кораблях, гражданских или военных, при пересечении экватора. Это веселый и «мокрый» праздник. Каждый человек, пересекающий экватор, должен быть омыт морской водой. Можно в бочке окунуть, или ведро воды на голову вылить, или из шланга окатить. На подводной лодке такой возможности не было, поэтому решили кропить моряков веником, предварительно смочив его в тазике с водой. Эту обязанность вменили «Русалке».

Дудов в душе даже гордился своей ролью. Мало найдется на подводном флоте офицеров, которые писали сценарии, единицы играли «Русалок», и совсем не было тех, кто и писал сценарий, и играл эту роль. Его тщеславие было удовлетворено. Будет чем похвастаться лет через десять.

Наконец настал день пересечения экватора. С утра корабль был в суете.

Все готовились к празднику. Начало было назначено на тринадцать часов.

После обеда столы и скамейки убрали, и кают-компания превратилась в зал. Половина ее была отдана «Нептуну» и его команде, на второй половине столпились первые желающие. Личный состав двух свободных смен подтягивался в четвертый отсек. Тех, кто стоял в это время на вахте, будут заменять на время, чтобы они тоже прошли процедуру окропления.

И вот из динамика зазвучали трубы, полилась музыка. В кают-компанию торжественно вошли «Нептун» в короне и с трезубцем, за ним «Звездочет» в академической шапочке и со свитком под мышкой, потом «Русалка» в черных очках. Их сопровождали «свирепые пираты». Кривляясь, запрыгали «черти». Они внесли таз с веником и поставили его рядом с «Русалкой».

«Нептун» вызвал командира, выслушал его и объявил свое решение. «Звездочет» зачитал приказ «Повелителя морей», и «Русалка» окропила командира водичкой.

Потом пошла вереница желающих. Почти два часа Дудов махал веником, пока не окропил последнего. Пришел черед «чертей», «пиратов», «Звездочета», «Нептуна», и в конце концов, самого себя. «Русалке» подарили бутылку шампанского. Началось фотографирование. Все хотели сфотографироваться с «Русалкой». Вдвоем, втроем, групповой снимок… И каждый старался обнять ее, а некоторые даже пытались положить руку ей на грудь. И когда уже очередь иссякла, подошел командир.

— Сфотографируй меня с «Русалкой», — сказал он замполиту.

Командир и «Русалка» одновременно улыбнулись в объектив.

После праздника Дудов еще отстоял смену четыре часа, потом зашел к доктору в амбулаторию. Туда же заглянул вездесущий командир турбинного отсека. Подошли «Нептун» и «Звездочет». Доктор открыл шампанское. Впятером они распили бутылку и пошли отдыхать. Праздник закончился.

Через три дня Дудова вызвали к командиру. Командир сидел в своей каюте. Перед ним лежал ворох фотографий. Вид у него был недовольный.

— Товарищ командир, старший лейтенант Дудов по вашему приказанию прибыл.

— Посмотри на это, — командир протянул ему фотографию. — Посмотри, что «ти» наделал.

Когда он был недоволен или взволнован, его грузинский акцент проявлялся сильнее.

Дудов внимательно рассмотрел фото.

— Хороший снимок. Прекрасно получились, товарищ командир.

— Нет, «ти» посмотри, что наделал, — настаивал командир. — Посмотри, где твои груди лежат!

Он сделал ударение на слове «лежат».

И тогда Дудов понял. Грудь, которую сделал для него «Нептун», была без лямок и в процессе махания веником все время опускалась. Дудов постоянно поправлял ее, поднимая вверх, но к концу праздника устал и перестал обращать внимание на эту чисто женскую деталь. Грудь сползла и лежала на поясе. К несчастью Дудов забыл ее поправить, когда фотографировался с командиром. Получилось действительно неудобно. Все фотографировались с нормальной, высокой грудью, а вот командир — с отвислой.

— Виноват, товарищ командир, — бодро проговорил Дудов, — я готов перефотографироваться.

— Идите, — устало сказал командир, давая понять, что разговор окончен.

Дудов вернулся в каюту и рассмеялся. Хорошо, что в каюте никого не было.

Об этой неточности на фотографии ни он, ни командир никому не рассказывали. Все остальные, кто рассматривал снимки, этого не заметили.

Только жены потом подозрительно спрашивали: «Откуда это у вас женщина на корабле?» Мужья вначале таинственно улыбались, а потом говорили правду. Впрочем, женщины в конце концов и сами догадывались, разглядев хотя и стройные, но в меру волосатые ноги «Русалки».

Дудову редко снились сны, но в эту ночь ему приснились пальмы и пологий песчаный берег. Наверное, потому, что, возвращаясь от командира, он встретил штурмана и поинтересовался:

— Где сейчас идет лодка?

— На траверзе — Рио-де-Жанейро, — ответил штурман и добавил: — Самый лучший пляж в мире — Капакабана. Мулатки бродят по песку…

— А сколько миль до них? — допытывался Дудов.

— Шестьсот.

— Не повезло, — вздохнул Дудов.

— Кому? Тебе?

— Нет, — сказал Дудов и улыбнулся, — мулаткам.

Он спал спокойно, как и положено молодому человеку с устойчивой психикой. Впереди у него была вся жизнь.

А лодка продолжала свой путь на юг. У нее впереди были пролив Дрейка и Тихий океан. Она шла к берегам Камчатки, на свою новую базу.



Время встречать Рождество![*]

Яков ЕРМАНОК
Гродно—Ашдод

Вот и зима

Вот и зима. А погода — как осенью.
Лишь по ночам иногда прорывается:
Крыши домов вдруг покроются проседью,
Да на траве седина появляется.

Поздно светает. И рано смеркается.
Солнце исчезло, закрытое тучами.
День ото дня ничего не меняется,
Только осталась надежда на лучшее.

Будут метели, морозы трескучие?
Или дожди в декабре, ближе к празднику?
Что-то зима затаилась за тучами
И притворяется осенью, дразнится.

Но все уйдет в недалекое прошлое.
Тучи снежком, как в природе и водится,
Выпадут враз покрывалом-порошею.
И, наконец, на душе распогодится.

Время в пространстве — годичными волнами.
Жизнь и природа... Единое целое.
И превращается белое в черное,
Чтобы опять возвратить меня в белое.

Инесса ГАНКИНА
Минск

Зима в Мичигане

В лесу Мичигана поваленных елей не счесть,
висят над дорогой, стоят накренясь, полупьяно.
Хруст снега мое отмечает присутствие здесь —
в лесу Мичигана.

[*] Продолжаем публикацию произведений финалистов ежегодного Фестиваля одного стихотворения, начатую в декабрьском номере 2014 года.

С дорожной тревогой расстанусь, не властен хайвэй,
и только немного покажется странно
знакомой тропинка, ведущая от белорусских полей
в леса Мичигана.
Мой бедный английский, тебя позабуду опять.
Дубовые листья как метки, душа-недотрога,
ты будешь безмолвно стоять,
дыша тишиной и роняя слова на дорогу.
Мой бедный английский, мой русский, как все вы смешны!
На фоне лесной, всепланетной, прозрачной, стеклянной,
упавшей с ладони у Бога горошинки круглой Земли,
потерянной бусинки — точки, пропавшей в тумане.

Евгения КОРОБКОВА
Карталы

Старый шкаф

Закройте шкаф. О, бельевой сквозняк,
Как сильно дует ветер полотняный...
Б. Божнев

Попасть туда — как выиграть авто...
Решив, что в ванной слишком громкий кафель, —
Забраться в шкаф. Блуждать среди пальто,
Но, не нашарив задней стенки шкафа, —
Открыть глаза. А вместо шубы — ель,
И теплый снег, как драп, повис стеною,
И вертикальным горизонтом щель
От двери шкафа светит за спиною.

Из платяного шкафа — в древний бор,
Где снег пропах навеки нафталином,
Снежинки, словно шашки, с давних пор
Никто не двигал в воздухе старинном.
Свет фонаря приклеился ко льду,
Прозрачная изба, открыты двери...
Не подходи. Беги домой. Скорее.
Там спит колдун.

И дать обратно к шкафу стрекача.
Лес оживает. НЕЧТО грянуть хочет.
Уже дрожат, как пальцы скрипача,
Снежинки на черненом грифе ночи...
Успеть. Вбежать. И выбрать ЭТУ жизнь,
Захлопнув старый шкаф уже снаружи.
— Ты прятался так долго? Ну, держись!
Ты весь в снегу и пропустил свой ужин...

А после долго думать: зря, не зря
Ушел тогда,
что было там такое?
Но дважды эту дверь открыть нельзя
И до конца не обрести покоя.

Александр МОРОЗОВ
Дебальцево—д. Филипаны, Островецкий р-н

Зима

Серебрится из инея дождик
На деревьях, не скрыть красоту.
А Зима, как заправский художник,
Наколола на стеклах тату.

Повсеместно трещали морозы,
Ближе к людям сгонявшие птиц,
Ну, а в оттепель капали слезы,
С очень длинных сосулек-ресниц.

Не спеша, сквозь туманную дымку,
Запорошила снегом дома,
И как будто визитку, снежинку
Мне вложила в ладошку Зима.

В танце диком кружилась и пела,
И смотрела сквозь звезды-огни,
Словно девушка, робко, несмело
Мне шепнула она: «Позвони.

Я как море во время прилива,
Я бездонна, достанешь до дна?
Присмотрись, я чертовски красива
И ни капельки не холодна.

Я из снега сотку одеяло,
Отложу все другие дела,
Я тебя очень долго искала
И сейчас, наконец-то, нашла.

Хочешь, спустимся в оранжерею
Собирать ледяные цветы?
Я вообще никогда не старею,
И со мной не состаришься ты.

Для тебя романтический ужин
Приготовлю из яви и снов.

Позвони мне, пожалуйста, суженый,
Позвони, если будешь готов».

Я стою, мне тревожно и зыбко,
Не пойму, это явь или сон.
Испарилась снежинка-визитка,
Не успел записать телефон.

А вокруг равнодушные лица,
Равнодушье, как пуля в висок…
Как к Зиме мне теперь дозвониться?
Где узнать мне ее адресок?

Екатерина МОНАСТЫРСКАЯ-ЛИВИ
Москва

Предновогоднее

Мокрый снег, в авоськах апельсины,
Слякоть цвета кофе с молоком,
И в метро — оттаявшие спины,
И набит вагон битком.

Шапки, шапки, норки и ондатры,
Паром изо рта — слова плывут,
Безглагольно, медленным анданте
В декабре — минут

Сколько? Не считали, не волхвы мы,
Вереницей шествуя во тьму,
А снежинки — ох, неисчислимы,
Даже Самому.

От предновогодней, предпоследней,
Маеты, как время и итог,
Высыхают лужицы в передней
От моих сапог.

Сергей СТОЙКО
Симферополь

Письмо Деду Морозу

Небо летит на ладони Пизанской башней,
Перекошенное и табачное, как стихи.
Эй, баянист, расскажи нам цитатку с Баша —
К твоей «Молдаванке», увы, мы давно глухи.
Год проползает раздолбанной электричкой

Сквозь все правительства, цены, постели, дни.
Я напишу письмо Дедморозу в личку:
«Эй, ямщик, не гони свой джип, не гони.
Не спеши ты нас хоронить и дарить подарки
На поминках в Бозе почившего декабря».
Полногрудой Снегуркой с лицом пожилой татарки
К нам приходит зима и становится на якоря.
«Знаешь, дед, дети день ото дня борзеют,
Динозавры, дрожа, пылятся в большом шкафу.
Если ты без подарков — то вздернут тебя на рею,
Но, дед, ты не трусь, я знаю чуть-чуть кунг-фу».
Свежий воздух похож на прокуренную маршрутку,
В альвеолах занозами колется Новый год.
«Дед, возврати мне улыбку хотя бы на две минутки,
А еще, деда, помнишь, был рыжий кот,
Я кормил его головастиками из речки,
А он приносил мне гордо своих мышей...»
У нас тогда не было микроволновой печки,
Но было счастье, чуть позже выгнанное взашей.

Татьяна СВЕТАШЕВА
Минск

* * *

Не дозвонившись, идешь ловить от борта.
В городе постапокалипсис. Пар изо рта.
Пять пятнадцать утра. «Сколько до Серебрянки?» —
«Сотка». — «Вчера ж было семьдесят». — «Значит, езжай вчера».
Плюешь — садишься. Все-таки первое января.
Русское радио — худшие звуки в худшем порядке.

…Там, где теперь гипермаркет открыл бегемотий рот,
Ты еще помнишь пыльное поле с бревнами вместо ворот,
Как все смеялись, что высотку построили криво,
И кучи ларьков, рассыпанных, как угри,
И повсюду — горки и пустыри,
Лучше было ходить с ножом, без ножа — лучше не надо,
И рельсы трамвая упирались в самое жерло ада —
В Серебрянку-три…

Это твой район, твой прекрасный и яростный мир,
Твой sweet home, твое место силы, твой Канзас и твой Шир.
Сколько раз ты снимался — столько же раз приехал назад,
И со всех на свете вокзалов тащишь сюда рюкзак —
Верность — вся, на какую ты только способен.
…Входишь в подъезд, нажимаешь на свой этаж.
И вскоре уже затихаешь у Серебрянки своей в утробе,
Как в животе кита.

Дмитрий ЮРТАЕВ
Минск

Снег падает и молчит

Опять ты одна, не спишь
Под шепот январских вьюг,
Молчишь, обо мне грустишь,
Любимый мой, нежный друг.
Не верь, что поют ветра:
«Забуду, не жду, уйду...»
Что есть у меня тепла —
К тебе на алтарь кладу.

Прости, если что не так,
Такой уж я человек,
Не умный и не дурак,
Без шапки вышел на снег.
Ему до меня-то что?
Идет себе и идет,
И падает на пальто,
Не тает, чего-то ждет.

А может быть, он привет
Спешит передать мне твой?
Ему я скажу в ответ,
Что все хорошо со мной.
Пусть также среди домов
Окошко твое горит,
И пусть, как во сне, без слов
Снег падает и молчит.

Андрей ХАРЧЕВНИКОВ
Санкт-Петербург

Рождественское молчание

Их было трое. Ветер в пустыне крепчал.
Младенец, закутанный в груду тряпья, молчал
О том, что ему на четвертом десятке поведает плеть,
О том, что ему на кресте суждено умереть.
Иосиф, взглянув на жену, тяжело вздохнул
И следом за нею в пещеру, согбенный, шагнул.
Бархан под ногами плавился, как халва.
В благой тишине Иудеи шли три волхва.
И каждый из них молчал о чем-то своем,
Поскольку царям предстояла встреча с Царем.
А небо кипело Звездою нездешних кровей:
Так рады отцы рожденью своих сыновей.
Так в сердце своем хранит молчание Тот,
Кто знает, что со всеми нами произойдет.

Татьяна ШЕИНА
Радошковичи

Рождественский сонет

В сахарной пудре верхушки холмов-куличей.
Свечи березок цветут снегириными грудками.
В небо шпагатами тянется дым от печей.
А под ногами не чавканье — бодрое хрумканье.

Сосны кудрявые в легких ажурных платках,
Белая скатерть с мережкой на поле расстелена.
Месяц лукаво глядит, улыбаясь слегка:
Мол, суетитесь, бедняжки? Эх, молодо-зелено!

Пара сорок-поварих согласует меню.
Тучная тучка барашком пасется по озими.
Скоро — волшебный подарок короткому дню —
Дали начнут розоветь маргаритками поздними,

Солнечный шар заалеет — зимы колдовство…
Все подготовлено: время встречать Рождество!

Татьяна ЯРОШЕВИЧ
Минск

* * *

Говорят, стеклодувы в Праге на Бетлемской площади
вновь выдувают сосуды,
чтоб принести с собой Рождество. И тогда чудесами пахнет повсюду….
Не знаю, но верю (хоть видела Прагу лишь только весной).
Говорят, на Адвент в Вене подковки на счастье
с ванилью начинают в кондитерских печь.
И правда, наверное, это. Ведь запах за километры слышен.
И очень сберечь
аромат этот хочется: нет для него расстояния… Что это?
Россыпь снов или просто сознание,
а в нем — воздушные замки? Не важно, но в странствие хочется
(будет весна — и в Карпаты),
а пока что гуляю по Минску. Родному Минску. Просто так…
Или нет — с мечтами,
встречными белыми (снег приодел, а кто знает — какие они)
котами и листом из блокнота,
который мне в прошлом году подарил невзначай кто-то
перед самым Рождеством…

Анатоль КУДРАВЕЦ

Немного о Германии. 2013 год



Анатоль Кудравец.

Вот уже четвертый день, как я в Госларе[1]. Кажется, и отоспался, и успокоился. Старость не радость, со старостью приходит все то, что собиралось, накапливалось годами и десятилетиями. И прежде всего — недовольство собой, сделанным и недоделанным. Недоделанным больше всего из-за своего характера, несобранности, разбросанности, нежелания сделать немедленно, как можно быстрей, желания отложить, перенести на завтра, послезавтра. И по причинам внешним, «атмосферным»…

У меня хорошая уютная комната. Есть фото: Захаровна с зятем Хельмутом, сам Анатолий Павлович, уголок Вячи с березкой и яблонькой — все это зеленое, летнее, все цветет и роскошествует.

На улице тоже весна — первая, очень нежная зелень, цветут, местами отцветают, вишни, цветут яблони, сирень — и белая, и сиреневая. Желтым пламенем горят поля рапса, высокого, в человеческий рост. Как-то я приезжал зимой — снег и мороз, а теперь самый разгар весны — поют птицы, люди прогуливают собак и сами прогуливаются кто куда, но все спокойно, замедленно, как во сне или перед сном. Вероника, дочка, на работе, а мы с Хельмутом ни дать ни взять бездельники.

Кайзерпфальц — резиденция короля — громадное здание из нескольких этажей, первый из которых отапливался с помощью печей, в которых жгли дрова. Тепло шло по трубам и согревало комнаты, за какой-то час температура поднималась до 15 градусов. Второй этаж не мог обогреваться из-за больших окон, ведь стекол, которыми бы можно было их застеклить, еще не изобрели. Резиденция была построена в начале одиннадцатого столетия. Теперь в резиденции проходят регистрации молодоженов и свадьбы в небольшом зале человек на 30—40, есть и огромный зал, где проводились большие королевские приемы. Зал отреставрирован в XVIII веке. Стены

[1] Гослар, город в Германии, находящийся на Земле Нижней Саксонии у подножия горного массива Харц.

расписаны батальными сценами времен королей. Все это впечатляет, восхищает, говорит о богатстве города — в окрестных горах северного Харца[1] с давних времен добывали серебро (оно было дороже золота), и не только серебро. И только в недавние времена добыча остановилась: извлекли все что можно было, теперь разрешается пускать туристов. Здесь, перед резиденцией и в резиденции, бывали все правители Германии, были и Бисмарк, и Гитлер. Памятники Вильгельму I и Фридриху Барбароссе на конях стоят на газоне перед резиденцией.

Гослар — откройте для себя Гослар — мировое наследие ЮНЕСКО! — говорится в туристическом буклете о 9 старинных городах Нижней Саксонии: Брауншвайг, Целле, Гёттинген, Гослар, Ганновер, Хамельн, Хильдесхайм, Люнебург, Вольфенбюттель.

И правда, каждый из этих городков несет на себе отпечаток своей истории и истории Нижней Саксонии — своеобразной, ни на что не похожей, со своими домами и кирхами, своей культурой и порядком, немецким порядком; и чистотой, и цветами, и деревцами, деревьями ли — дубами, высаженными вдоль дорог, посадками или аллеями на несколько сотен метров. И никто их не вырубает, напротив, каждое дерево бережется, будто оно выросло в своем дворе, своем саду, и его надо беречь, надо радоваться ему.

Ездили в Гамбург, огромный портовый город при впадении Эльбы в Северное море. До моря 12 километров, а Эльба и широкая, и глубокая. Широкая — несколько десятков рукавов, глубокая — могут заходить океанские лайнеры типа «Аиды» — туристический пароход, похожий на десятиэтажный дом на воде, — что-то огромное и страшное; кораблики, сопровождающие этот пароход, выглядят рядом маленькими гномиками. Смелые люди, которые путешествуют на «Аидах», особенно через океан, в Штаты или Канаду. Ощущение, что попади такой корабль в шторм — не устоит, опрокинется вместе с людьми, а их на корабле от 2,5 тысяч до 5. Не корабль, а целый город. И этот-то город зашел в Эльбу, в порт, и не один зашел, а целых три. Правда, прежде чем впустить их, довелось «выселить» многие менее масштабные суда — парусники на три мачты и пять рей, и меньшие парусники и пароходики, баркасы.

И порт огромный, с доками для ремонта кораблей, 160 тысяч работников, и город большой — 1 миллион 800 тысяч человек. Мы прошли через туннель под Эльбой. Туннель внушительных размеров, могут идти люди, ехать автомобили, а над туннелем 12 метров воды, и по воде ходят «Аиды» и нечто меньшее бегает, носится, бросается, гоняет воду сюда-туда, ждет приливов и отливов.

На праздник, приуроченный к спуску на воду «Мэри» — нового корабля типа «Аиды», наехало столько людей, что пройти по улочкам порта и окрестностей было невозможно, чтобы не зацепить кого-нибудь. Все разговаривают, что-то пьют, что-то жуют — в основном группами, по несколько человек. Все в ожидании, когда эти громадные десятиэтажные махины зайдут в порт. А потом, вечером, обещают веселый концерт-фейерверк над портом, над городом.

Ехали назад не по автобану, а по параллельным дорогам — это и интересно, и разнообразно: городки, поселки. Поля, леса — все зеленое, желтое, — где цветет рапс или картофель под пленкой — большой, кажется, вот-вот

[1] Харц (горный лес) — северные горы в Германии и самые высокие в северной Германии.

должен зацвести. Приехали домой где-то около 9 часов вечера, как и предполагала Вера. Приехали усталые, но довольные — и тем, что повидали, и тем, что, наконец, дома, можно вытянуть ноги и посидеть-полежать спокойно.

Из увиденного кроме кораблей-домов «Аид» запомнился отель, в котором работает Ян, младший сын Хельмута. Парню 22 года. А в отеле запомнились не залы, где можно проводить конференции, и большие, и малые, где любят встречаться с журналистами братья-тяжеловесы Кличко, не номера с саунами, не столовые, хотя все это красиво, аккуратно, ухожено, не подвальная парковка за 22 евро за ночь, а… дятел.

Отель новый, несколько лет как открылся, и он полюбился лесному дятлу. Тот на уровне пятого или шестого этажа пробил обшивку стены, под которой мягкий утеплитель. Работники отеля на это место прикрепили скворечник: живи, дорогой. Он в скворечнике жить не захотел — проклевал новую дырку пониже скворечника и живет в своем новом гнезде. Люди и сам Ян видели, как он залетал и вылетал из него. Вот тебе и город, и цивилизация: где хочу, там и построю свой дом.

Ездили в горы. Шли пешком, высота, как сказала Вероника, — три тройки — 333 метра. Поднялись довольно легко, хотя под конец ощущалась какая-то тяжесть в груди. Возраст — хочешь-не хочешь, сердце не обманешь. Хороший лес — бук, дуб, ели, березы, рябины. С одной стороны тропинки спуск, крутой и заросший, со второй стороны — подъем, такой же крутой и такой же неухоженный, хотя и прореженный пилой, но неубранный. Холодно не было, солнце и ветер, хотя на улице +10. Горы и лес впечатляют, особенно летом, когда все зелено и все, что должно цвести, — цветет. Попили чаю на остановке, полюбовались остатком горы среди пустыря, образованного из-за выбранной породы, применявшейся лет сто назад для добавок в асфальт, теперь ставшего зоной отдыха. Прошли по деревне или городку (он имеет такой статус), хотя весь он одно-двухэтажный, а городского — гостиница на шесть этажей.

Целый день потратили на магазины, и все из-за Кудравца, хотя я и пытался сопротивляться. Разбогател на ремень, пиджак, джинсы и кепку, словом, оделся с головы до ног. После ужина пошли поиграть. Вилли, наш кот, пошел вместе с нами, но по дороге потерялся — встретил собаку и пройти спокойно мимо не смог. Ночь провел где-то на природе, сегодня еще не вернулся.

Есть что-то картинно красивое в этом Госларе — все ухожено, засажено, выкошен каждый квадратный метр, можно сказать, каждый сантиметр, а людей не видно — только в магазинах или на вокзале. Отцветает рапс, уже не желтый, а зеленый с желтыми крапинками. Радуются своим голосам птицы, самая пора для песен. Пора и мне домой. Вчера зашли на банхоф (вокзал) — остался последний билет — и тот на 31-е, из Ганновера. То ли разобрали, то ли на Минск мало билетов, за Минском же Россия.

Полдня ушло на кошение травы во дворике — Хельмут, Ахим, Кудравец. Машинка такая же, как была на Вяче и сгорела, а трава — так, немножко отросла, проклюнулась белыми цветочками, а после стрижки дворик стал еще ровнее, чище, ухоженнее.

Потом сидели за столом, ели «гриль», кто мясо, кто колбаски, кто с хреном, кто с кетчупом, пили пиво. Люди что-то вспоминали, что-то рассказывали, чему-то смеялись, мне было скучновато. Без языка всегда и везде груст-

но, хотя Вероника и старалась втянуть меня в нормальный круг обычных немецких людей. Под вечер обошли лесок, в котором была воинская часть, в которой служил Хельмут, теперь она закрыта, заброшена — стоят, разваливаются пустые казармы, столовая, баня, высоченный и громадный ангар, и даже Хельмут не может зайти на эту территорию, чтобы ностальгически посмотреть, что и как там выглядит. Футбольное поле заросло травой и все зарастает, погибает.

Приезжали мой брат Жора с женой Галей. Они уже около десяти лет живут в Германии. Привез на машине их сын Денис, их и своего пятилетнего живчика Юлиана. Немножко проехали по Гослару, заехали в горы на площадку со столовой и многими столами и людьми за ними, откуда хорошо виден город — и старинный с красными крышами, и более молодой, более белый, послевоенный. Потом прошли по старому Гослару, по его центральной части, с церковью и площадью, на которой любят отдыхать и жители города, и туристы. День выходной, магазины закрыты, что-то и туристов мало, хотя столов на площади много и людей за ними тоже.

Жора понравился: светлый, чистый, чувствуется, что следит за собой, и Галя тоже, она всегда была сердечная, внимательная, впечатлительная. Жора каждый день совершает прогулки в лес, 5—6 километров, ну и лекарства, разумеется. Денис разобрался со своим коттеджем и вокруг него, теперь семья, три сына, да кредиты. Это надолго, но работы и оптимизма не занимать. Вот и сегодня — решили съездить к нам, повидаться — он сел за руль своей солидной темно-синей машины на восемь персон и проехал километров 320—350.

Встретились, немного поговорили, посмотрели — они на нас, мы на них, пообедали и — в обратную дорогу. Что ж, такова жизнь, радость не бывает долгой, но хорошо, что она есть и что-то перепадает нам.

Прочитал небольшую книжку новелл Анны Говальд, французской писательницы, автора нескольких романов. Как говорится в аннотации — всемирно известной, произведения которой переведены на многие языки. Не знаю, как романы, а новеллы читаются легко, написаны в простой реалистичной манере, а учитывая теперешнее литературное затишье, то, по-видимому, и хорошо.

Вера приехала с работы раньше, часа в два. Пообедали и поехали в пещеры города Лангенштайн. Уникальное, единственное в Германии выдолбленное в горе Харц (песчаник) поселение, можно сказать, улица в десять домов (подворий). Безусловно, все примитивно, даже по-первобытному примитивно, но люди жили в этом поселении, этих домах, выдолбленных в скале. В каждом доме несколько «комнат» — для взрослых, для детей, кухня с дыркой-трубой, пробитой вверх, через тот же песчаник, чтобы выходил дым. В некоторых домах был угол для животных: коз, гусей, кур. Козы паслись «над головой», сверху, съедали траву и молодые деревца. Прежде всего деревца, чтобы они не росли и не разрушали кореньями песчаник, в котором и были дома с дверями, малюсенькими окнами-проемами. Идея «строить» такие «дома» возникла у «барина» — был он то ли солидный фермер, то ли не слишком солидный помещик, но ему принадлежали все земли в округе и эти горы. Немного выше была построена-выдолблена крепость со всем необходимым для крепости и ее защиты. Песчаник позволял вести такие «работы», «воздвигать» постройки. То, что можно для крепости, почему нельзя для простой застройки? Фермеру нужны были люди. Кругом засевались поля. Люди приходили, молодые,

здоровые, а жить было негде. Вот и появилась идея лезть в гору: и деньги не надо платить, и тепло, зимой и летом. Зимой горел огонь на «кухне», потом закрывались «двери» и «окна». Летом все это раскрывалось. Люди работали на полях, зарабатывали деньги и потом или строили настоящие, нормальные дома, или покупали уже построенные. Проходило десять-двенадцать лет — и в поселке появлялись новые хозяева…

Первые дома и первые их хозяева появились где-то в 1855—58 годах, последние ушли в 1900—1910-м. Дома, или то, что осталось от них, стояли, сырели, мокли, зарастали, пока у жителей Лангенштайна не возникла идея «оживить» их, почистить, отремонтировать, «заселить» старой, еще сохранившейся мебелью и показывать людям. Работы у энтузиастов много, все еще впереди, но это интересно и нужно им для памяти, да и тем, кто приезжает и будет приезжать.

В лесу, в нескольких километрах от Лангенштайна, в конце войны размещался концлагерь — сорок четвертый год. Сюда свозили узников из Бухенвальда и других мест, на которые наступали Советская и армии антигитлеровских союзников. И хотя уже был 1944-й, узников привозили, селили в бараках и расстреливали. Всего в нескольких могилах похоронено (зарыто) более 4600 человек — евреи, французы, датчане, советские, — люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Фашистская машина работала до конца. Апрель 1945 года, немецкие армии разгромлены, через пару недель будет подписан пакт о капитуляции, а здесь — конец апреля, — продолжают расстреливать людей.

Теперь здесь сооружено что-то вроде мемориала, установлены знаки, не косится лужайка, растут сосны и ели, и дубы, которые помнят и те годы, и тех людей, которых привозили сюда, чтобы они уже никогда не нашли дороги домой.

Мы ходили по территории лагеря и увидели рыжеватого зайца на лужайке, увидев нас, он метнулся в лес. Жизнь идет своим чередом.

Ходили в горы. Доехали до Ильзенбурга, городка примерно с 10 000 жителей, поставили машину на стоянку и пошли вдоль реки Ильзы, чтобы добраться до скалы Ильзы с крестом на самом верху. Когда-то, в 1007 году, там, на границе отвесных скал, была построена крепость для защиты от врагов. Крепость через сто лет все-таки развалили. Но остались дорога к этой скале и легенда о принцессе Ильзе, жившей на ее вершине и спускавшейся вниз, чтобы искупаться в горной реке и соблазнить местных юношей. Легенду когда-то, в 1820 годах, услышал Генрих Гейне, он какое-то время жил в этих местах и, путешествуя по берегам Ильзы, записал легенду. Теперь на берегу реки есть пешеходная дорожка, которая так и называется — тропинка Гейне. Тропинка красивая, горно-неровная, каменная, под ногами, сбоку нависают скалы, поросшие буком и елями, а внизу несется, пенится, рвется, вечно ищет свою дорогу неукротимая Ильза, которую пытаются перегородить упавшие могучие деревья.

Если посмотреть снизу, то кажется, что скала совсем близко, чуть ли не над самой головой, а нам, чтобы к ней добраться и потрогать черный железный крест, поставленный в 1814 году, а заодно и посидеть на скамейке и съесть по бутерброду и вернуться назад, довелось пройти чуть не пятнадцать километров. Скала невысокая, 474 метра над уровнем моря и 150 метров над рекой, но дорога туда и назад, хотя это круг под ней и вверх-вверх, забирает не только время, но и силы.

Дни перед католической пятидесятницей (троицей). Пять кирх проводят разные мероприятия, посвященные этому очень важному для верующих событию, подготовили концерты. Каждая свои, и все разные. И на всех полные залы людей.

Едем в Лаутенталь — небольшой то ли городок, то ли деревню у подножия отвесной, как отрубленной горы, и в горе вход-тоннель. Когда-то это был вход в шахту, в которой добывали серебро, свинец, цинк, и тянулось это веками. Где-то начиная с четырнадцатого века работали киркой и ломом, потом отбойным молотком. Под конец шахтеров возили в шахту на мини-паровозике в летних вагончиках-клетках, где можно было вместиться только прижавшись друг к другу. Работали мужчины и женщины, дети с двенадцати лет. Больше всего получали инженеры — 2—3 талера, мастера — 1 талер, добытчики — до 80 грошей, женщины, работавшие с добытой породой, зарабатывали гроши, от одного и выше. Максимальная жизнь добытчиков ограничивалась 35—38 годами: пыль, грохот, свинец… Шахта давно не работает, стала чем-то вроде музея, местом экскурсий для туристов — что-то рассказывают, что-то показывают, дают шахтерские шлемы, грузят в вагончики паровозика, словно тех шахтеров, везут вглубь горы, опять рассказывают, показывают. И здесь, в глубине земли, где температура и зимой, и летом +12, где нависают, обступают, зажимают скалы-каменья, где даже теперь, при имеющейся вентиляции, довольно непросто дышать, начинаешь понимать, какой ценой давалось то серебро и какая цена была человеку и человеческой жизни. Наш экскурсовод, он же машинист паровозика, веселый мужчина лет сорока с красивой широкой бородой, сказал, что и его дед, и дедов дед трудились на этой «Лаутенталь-глюк» («счастливая звучная долина»), и он здесь работает. В горе нашли цинк, ищут дальше, может, шахта еще «задымит», даст еще огня людям.

Поездка в Вернигероде (35 тысяч человек), оттуда на паровозике по узкоколейке на Брокен[1] (1142 м), назад в Вернигероде и на двойном автобусе в замок-музей Вернигероде…

Вернигероде — небольшой городок, когда-то относился к Восточной Германии, теперь — просто в Германии, — зеленый, чистый, застроенный. От него с железнодорожного вокзала по узкоколейке (60 сантиметров между рельсами) небольшой паровозик, угольный, с топкой, водой и дымом, повез восемь вагончиков с людьми, среди которых и мы — Вера, Хельмут и я, на гору Брокен, на вершине которой находятся высокая антенна и несколько домов. В ясную погоду отсюда видны окрестности на 100 километров, но такой здесь погода бывает очень редко. Зима со снегом — полгода, лед на вершине — 3—4 месяца, то тучи, то туманы.

«Чу-чух-чу-чух!» — пыхтит дымом паровозик, обегая гору и поднимаясь все выше и выше. Лес — буки, ели, березы — с одной стороны спускаются, со второй поднимаются. Смотришь вниз — и страшновато, аж сердце сжимается в груди. А там, небольшими лоскутами, черника и голубика. Чем выше — все больше сломанных, вывернутых с корнями деревьев, в основном елей. Они здесь и не очень высокие, искореженные ветрами и ураганами, а на самом верху и совсем голые, сухие.

Антенну возвели где-то в шестидесятые годы советские солдаты, и не только для того, чтобы прослушивать луну. Рядом проходила граница между

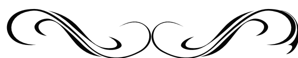
[1] Брокен — самая высокая гора в Харце, считается самым известным «местом встречи ведьм» в Европе. Эту гору описал Гете в своем «Фаусте».

Германиями. В Брокене находились советские военнослужащие, они и строили, что-то смотрели, кого-то слушали. За границей была американская зона. Теперь в одном из домов создан музей Брокена, рассказывающий о нем с давних времен по сегодняшний день, о его обитателях — и прежних, и теперешних. Когда-то, в свое время, здесь побывал даже Гете. С горы берут начало несколько рек, среди которых и Ильза, а на ней Ильзенбург.

И опять «чу-чух», опять Вернигероде, и на автобусе в два отделения едем в замок Вернигероде. Построенный в XI веке высоко на горе, среди леса, как крепость, выдержав несколько перестроек и став резиденцией и местом жизни графа, Вернигероде теперь превратился в музей с богатейшей экспозицией давнишней жизни, быта зажиточного люда этой части Германии. При музее есть ресторан и все необходимое для того, чтобы люди, приехавшие сюда, могли не только пройтись по залам-комнатам величественного, высоченного, устремленного острыми шпилями в небо пяти-шестиэтажной постройки-творения с некогда неприступными стенами и двором, присоединиться к многовековой истории, но и комфортно отдохнуть.

Перед поворотом реки Ильзы на Ильзенбург стоит деревянный указатель, обложенный камнями: там дорога, там город, там горы… И задумали Вера и Хельмут проехать туда, куда показывает стрелка, — в горы. Проехали несколько километров, остановились. Близкая осень, осыпаются листья — багряные, сухие, бук щедро делится ими. А среди этих листьев и под ними — боровички, и маленькие, и большие, но все чистые, здоровые, и чем дальше — их все больше, будто здесь никого никогда не было, и грибы ждали, когда за ними приедут Вера и Хельмут. Мы не привыкли мерить белые грибы килограммами, больше штуками, но Вера и Хельмут набрали их аж 17 килограммов! Семнадцать килограммов… И неожиданно подумалось: может, Ильза спускалась с горы не только чтобы искупаться в горной воде, а и поискать белых грибов?..

Перевод с белорусского Татьяны КУВАРИНОЙ.



Янка КУПАЛА

Курган



Поэма Янки Купалы «Курган» переводилась на русский язык много раз. В разное время разные авторы перевоссоздавали белорусский шедевр на русском языке, в том числе — Михаил Голодный, Сергей Городецкий, Наум Кислик и другие. Предлагаем читателям еще один перевод поэмы, выполненный современным автором — поэтессой Елизаветой Полеес.

I

Средь лесов и болот белорусской земли,
У глубокой реки шумнотечной
Дремлет памятник дней, что минули, ушли, —
В травах диких курган вековечный.

Ветви дуб распустил величавый над ним,
Впилось в грудь корневище сухое.
Ветер стонет над ним вздохом скорбным, глухим,
Голосит о минувшем с тоскою.

На Купалье там птица садится, поет,
А в филипповку волк немо воет.
Солнце там, распустив свои косы, встает,
Звезды дарят сиянье ночное.

Тучи плыли над ним, может, тысячу раз,
Блики молний ярились над краем.
Он стоит — это память людская, наказ.
И молва о нем не утихает.

II

На горе на крутой, на обвитой рекой,
Лет назад тому сотня, быть может,
Белый терем стоял неприступной стеной.
Грозно вдаль он смотрел и тревожно.

А в ногах у него расстилался простор
Рослых сосен и пахоты черной,
Сонных сел острова, изб замшелых узор,
Изб рабов, господину покорных.

Князь в том тереме жил, славный свету всему,
Недоступный и грозный, и гордый.
Кто хотел, не хотел — бил поклоны ему,
И пощады не знал непокорный.

Воевал, лютовал он с дружиной своей,
Стражи князя — и дома, и в поле.
К небу с плачем летели молитвы людей
И проклятья — судьбе подневольной.

III

Как-то пышная свадьба у князя была.
Замуж дочку-княжну выдавал он.
За столом вин заморских криница текла
И под музыку песни звучали.

На веселую свадьбу гостей, как на сход,
Собралось отовсюду полмира,
И богатства такого не помнил народ —
Бриллиантов, рубинов, сапфиров.

День, другой продолжалась лихая гульба,
И бокалы, и песни звенели;
И забавы сменялись там день ото дня,
Что хотели — все гости имели.

А на третий день князь вдруг придумал одну
Для дружины потеху-забаву:
Приказал он позвать гусляра-старину,
Гусляра с его громкою славой.

IV

Весь окрестный народ гусли знал гусляра,
Песня-дума сердца окрыляла.
А вокруг песни той дударя-звонаря
Сказок чудных сложилось немало.

Говорят, лишь раздастся серебряный звон
Струн, польется чудесная песня —
Сон слетает с ресниц, приглушается стон,
Ни дубы не шумят, ни черешни.

Пуща-лес не шумит, белка, лось не бежит,
Соловьи на ветвях замолкают,
Средь деревьев река в этот час не бурлит,
Плавники прячет рыба немая.

Притаятся русалка и леший-шалун,
Чибис «пить» не кричит — умолкает.
Под живительной песней гусляровых струн
Алый папоротник расцветает.

V

Из избы-развалюхи певца привели
Дворня князева в терем богатый,
Посадили певца между кленов и лип,
На кирпичном пороге магната.

Полотняная свитка на старых плечах,
Борода, как снег белый, седая.
Но сияет огонь необычный в очах,
На колени легли гусли-баи.

Водит пальцем худым он по струнам стальным,
К песне-музыке лад подбирает.
Льются отзвуки струн по стенам ледяным,
В подземельях дворца замирают.

Вот настроил, навел свои гусли гусляр,
Не взглянув на гулянье ни разу.
И сидит, глаз скрывая сиянье-пожар,
Ждет от гордого князя приказа…

VI

— Что ж молчишь ты, гусляр, нив, лесов песнобай,
Что прославлен моею округой?!
Пой нам песни свои, веселее играй, —
Князь умеет платить по заслугам!

Запоешь по душе, будет славным рассказ —
В гусли щедро насыплю дукатов.
Не понравится песня кому-то из нас —
Ты пеньковую примешь расплату.

Знаешь славу мою, знаешь силу мою…
— Знаю, княже, наслышан премного.
Я силен, как и ты, так тебе запою…
— Ну, пора, заводи песнь, убогий!

Речи князевы выслушал старый гусляр,
Заискрились глаза голубые.
Тронул гусли рукой — за ударом удар,
И заплакали струны живые.

VII

«Эй ты, князь! Эй, известный на весь белый свет,
Не такую задумал ты думу, —
Не зажжет гусляру сердце золота цвет
И веселье дворцов твоих шумных.

Соблазнил бы червонцем твоим душу я —
Гусли, княже, законов не знают.
Только небу подвластна мысль-песня моя,
Только к солнцу она улетает.

Видишь, княже, загоны, леса, сеножать? —
Им покорны и гусли, и слово.
Можешь, княже, карать, можешь голову снять,
Но на мысль не наденешь оковы.

Страшен, грозен и ты, и твой терем-острог,
Бьет от стен твоих холодом зимним.
Да и сердце твое, как кирпичный порог,
И в душе ледяной твоей — иней.

VIII

Посмотри, господин, на именье свое:
Что захочешь — тотчас тебе будет.
Но ты слышал, о чем песню пахарь поет,
Знаешь, где, как живут твои люди?

Глянь ты в башни свои, в подземелья глянь, князь,
Что построил под теремом этим:
Братья корчатся там, те, что кинул ты в грязь,
Черви точат живых их, раздетых.

Ты все золото хочешь собрать к себе в дом,
Присмотрись повнимательней, строже.
Кровь людская блестит на богатстве твоем,
Ты ее никогда смыть не сможешь.

А убранства твои, бриллианты и шелк —
Это сталь от цепей твоих жестких,
Это виселиц длинный и цепкий шнурок,
Плеток власть твоих — гибких и хлестких.

IX

Стол уставил едой. А костей под столом! —
Это кости рабов подневольных.
Наслаждаешься белым и красным вином —
Это слезы сиротской недоли.

Терем выстроил ты, глазу, сердцу он мил,
И кирпич отшлифован, и камень.
Это — плиты надгробные ранних могил
И сердец каменеющий пламень.

Любо слушать тебе плясок, музыки звон,
Ты с дружиной напиток пьешь дивный, —
Только слышал ли ты, как плывет всюду стон,
Стон проклятья тебе неизбывный?!

Что ж ты, князь, побелел, что дрожишь ты, как лист,
Гости, слуги твои онемели…
Ну, что дашь мне за песню: богатства иль хлыст?
И прости, коли спел неумело».

X

Князь молчит, только молнии сыплет из глаз.
Все затихли: ни шуток, ни смеха…
Постоял князь, подумал, взмахнул саблей раз —
С шумом, грохотом грянуло эхо.

— Эй ты, солнышку брат, не затем же позвал
Я на свадьбу тебя своей дочки!..
Сумасшедший старик! Мало горя ты знал?!
Ты учить меня разуму хочешь?!

Ты идти мне осмелился наперекор —
И выводишь безумные трели.
Плата есть у меня для таких с давних пор —
И не только мои подземелья.

Я по-княжески всем и плачу, и люблю!
Не желаешь богатства — не надо!..
Закопать старика, да живого! Велю!
Будет щедрою княжья награда!

XI

Подхватила дружина певца-старика,
Взяв под руки — и слева, и справа,
И на берег крутой, где шумела река,
Потащила его на расправу.

Место выбрали, вырыли ров шириной
В три сажени: простора хватило.
Закопали певца, гусли с ним заодно,
Сверху холм — велика княжья милость.

Не готовили гроб гусляру столяры,
Не заплакали близкие люди.
Гусли смолкли, и он замолчал с той поры.
Никого его песня не будит.

Только князя дворец все гудел — не молчал:
Пляски музыке в такт грохотали.
Много бочек с вином пенным князь открывал:
Свадьбу весело гости гуляли.

XII

Потекли в бесконечность года чередой…
На холме у реки быстротечной
Травы встали стеной, вырос дуб молодой,
Зашумел непонятною речью.

Может, сотня прошла, может, более лет,
И пошли пересуды в народе.
Говорят, что раз в год ночью старенький дед
Из кургана, согбенный, выходит.

Гусли ладит свои, струны звонко звенят,
Жменей водит по ним обомлелой.
И все что-то поет, что живым не понять,
И на месяц глядит, как сам, белый.

Говорят, если б кто разобрал те слова —
Стал бы сильным, бесстрашным и смелым.
Можно много понять, если вера жива
И душа еще не очерствела.

1910 г.

Перевод с белорусского Елизаветы ПОЛЕЕС.



Рене БАРЖАВЕЛЬ,
Оленка де ВЕЕР

Девушки и единорог

Роман

От переводчика

Рене Баржавель (1911—1985) — французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе.

Родился Баржавель 24 января 1911 года в г. Ньон на юге Франции, в нескольких десятках километров к северу от Авиньона, города, прославившегося своими культурными традициями и известного тем, что в XIV веке здесь находилась папская резиденция. Отец Баржавеля был владельцем булочной, мать умерла, когда Рене исполнилось 11 лет. Учился Рене, надо сказать, без особых успехов, в двух колледжах, сначала в Ньоне, затем в Кюссе, городке возле Виши. Самые блестящие оценки он получал по французскому языку.

После окончания колледжа (на учебу в университете не было денег) он за несколько лет сменил разные профессии — от смотрителя в учебном заведении до коммивояжера и служащего банка. В 18 лет Рене начал работать журналистом в газете города Мулэна. Вскоре ему довелось познакомиться с владельцем издательства «Дэноэль», взявшего молодого человека на работу в свою типографию. Позже, когда Баржавель стал известным писателем, за издание книг которого соперничали между собой такие крупные издательства, как «Пресс де ля Сите», «Фламмарион», «Гарнье» и другие, большинство книг Баржавеля все же выходило именно в «Дэноэле». Его статьи, заметки и рассказы публикуются в разных газетах и журналах, хотя заметное предпочтение писатель отдает журналу «Белый дрозд».

В тридцатые годы Баржавель начинает работать над своей первой книгой. Была написана только первая часть, опубликованная отдельным изданием в 1934 году под названием «Колетт в поисках любви». С тех пор эта публикация больше никогда не переиздавалась. В этом тексте Баржавель, которому едва исполнилось 23 года, проявил себя как достаточно зрелый автор, способный на глубокий психологический анализ. Он так характеризует героиню, известную писательницу: «Ее сентиментальная жизнь, или, короче, ее жизнь — это именно то, о чем она говорит во всех своих произведениях, говорит удивительно просто, без ложной глупой скромности, без словесной эквилибристики, обычно составляющих суть женских романов».

В 1936 году Баржавель женился. Вскоре у него появились сыновья — Рене и Жан.

Потом Баржавель принимается за свой первый научно-фантастический роман, но работа над ним прерывается войной. С началом войны писатель оказывается в действующей армии, где в звании капрала выполняет обязанности повара в полку зуавов. От войны у него осталось стойкое убеждение о ее бессмысленности; Баржавель возмущался тупостью командиров и рабским положением простых солдат.

Вернувшись к гражданской жизни после поражения Франции, основывает в Монпелье молодежный журнал и дописывает свой первый роман. Этот роман, «Опустошение», вскоре ставший хрестоматийным, Баржавель называл, как и другие свои книги фантастического жанра, «необыкновенным» романом, поскольку в 40-х годах во Франции термин «научная фантастика» еще не был известен. Через год, в 1944 году, он опубликовал второй научно-фантастический роман, «Неосторожный путешественник»; эти два романа образуют дилогию, хотя связь между ними довольно относительна.

Труд писателя в те годы оплачивался весьма скромно. Баржавель страдает от безденежья, но не теряет оптимизма и чувства юмора. Он пишет: «Мой друг, сборщик налогов, прислал мне розовую квитанцию, последнее предупреждение перед наложением ареста на имущество. Несмотря не то, что я внес некоторую сумму в счет погашения долга, мне остается выплатить чудовищные деньги. Разумеется, я не могу сделать этого. Попробую раздобыть денег хотя бы на один взнос. Похоже, что наложить арест на имущество можно даже в случае отсутствия налогоплательщика. Не хотелось бы, вернувшись из отпуска, найти дом пустым! А, в конце концов! Это упростит нам жизнь. Мы жили гораздо лучше до покупки шкафа...»

Прохладный прием читающей публикой и критиками первого реалистического романа Баржавеля «Тарендол» (1946) и третьего фантастического романа «Победивший дьявол» (1948) заставляет его отказаться от писательского ремесла и уйти в кинематограф. Как сценарист и автор диалогов он участвует в работе над многочисленными фильмами, в том числе над такими, как «Дон Камилло», «Отверженные», «Геперд» и ряд других. Из печати выходит его книга «Тотальное кино» о кино будущего (1944). К счастью, через несколько лет Баржавель вернулся к своему главному предназначению.

Творчество Баржавеля исключительно разносторонне. Наряду с фантастическими романами (Баржавель написал 9 таких романов) его перу принадлежат два весьма разных по стилю реалистических романа — «Тарендол» (1946), роман в жанре семейной хроники, и «Голубая повозка» (1980), автобиографический роман о годах детства. Еще один роман, «Дороги Катманду», о котором подробнее будет сказано дальше, можно отнести к приключенческому жанру. Трудно определим жанр романа «День огня» (1957). Это фантасмагорическая смесь реальных и мифологических персонажей, реальных и выдуманных событий. Автор описывает праздник в небольшом приморском городке... Девушки в бикини и монашенки в глухих черных одеяниях на пляже... Полиция, которая накануне провела крупную операцию в горах и задержала Вараббаса и его банду... Ночью стражей первосвященника был арестован Иисус... На холме водружаются кресты, на городской арене готовится коррида... Читатель не понимает, о каком месте и о каком времени пишет автор. Можно сказать, что Баржавель искусно рвет на куски нить времен и затем связывает эти куски самым неожиданным образом. Сам Баржавель называл этот роман своим самым необыкновенным, самым своеобразным произведением, хотя и не имеющим отношения к той фантастике, которой посвящены его «необыкновенные» романы.

В конце своей писательской карьеры Баржавель, словно для того, чтобы доказать широту диапазона своих возможностей, опубликовал детективный роман «Шкура Цезаря» (1985), о преступлении, совершенном во время представления драмы Шекспира «Юлий Цезарь», когда артист, играющий Цезаря, оказывается на самом деле убитым.

Кроме художественных произведений перу Баржавеля принадлежат философские эссе «Голод тигра» (1966), «Если бы я был богом» (1976),

Завтрашний рай» (1986) и другие, несколько книг-хроник, в которых Баржавель собрал публицистические очерки, первоначально публиковавшиеся в периодических изданиях — «Годы Луны» (1972), «Годы свободы» (1975), «Годы человека» (1976), сборник статей о формах кино будущего «Тотальное кино» (1944), несколько художественных альбомов, к которым Баржавель, увлекавшийся цветной фотографией, написал тексты («Цветы, жизнь и любовь», «Брижит Бардо, друг животных»).

Одним из наиболее известных произведений «реалистического» периода Баржавеля является роман «Дороги Катманду», психологический роман о жизненном пути девушки, увлекшейся наркотиками и оказавшейся в тупике. Роман написан на основе составленного Баржавелем сценария одноименного фильма; этот фильм режиссера Андре Кайатта, вышел на экраны осенью 1969 года.

Несмотря на значительный вклад в реалистическую литературу и публицистику, Баржавель прежде всего известен как один из крупнейших и наиболее серьезных французских фантастов XX века, занимающий в писательской иерархии место в непосредственной близости от Жюль Верна. Он — признанный старейшина, он — вдохновитель, он — эталон как для молодых, так и для опытных писателей. Его фантастические романы давно стали классикой жанра, постоянно переиздаются и переводятся на разные языки.

Наиболее популярен, пожалуй, уже упоминавшийся выше роман «Опустошение» (1943), в котором описываются последствия исчезновения на Земле электричества. Это роман-предупреждение, в котором Баржавель выступает ироничным критиком техногенной цивилизации, проповедуя достоинства патриархальной жизни без науки, без машин и даже без книг. Он опубликован общим тиражом более миллиона экземпляров и продолжает переиздаваться, его изучение входит в программу курса французской литературы в колледжах и лицеях, несмотря на то, что сторонники прогресса потратили немало чернил на критику этой книги Баржавеля. Обычно с этой книги литературоведы и критики начинают историю современной научно-фантастической литературы во Франции.

Вскоре после «Опустошения» Баржавель публикует второй научно-фантастический роман «Неосторожный путешественник» (1944), написанный в жанре антиутопии. Этот роман вместе с «Опустошением» образует знаменитую дилогию Баржавеля.

Широко известны и другие научно-фантастические книги Баржавеля, относящиеся к циклу «необыкновенных романов». Прежде всего, это роман «Победивший дьявол» (1948), в котором рассказывается о начале Третьей мировой войны после того, как одному из соперничающих государств удалось водрузить свой флаг на Луне. В романе «Лунный Колумб» (1962) повествуется о первом человеке, оказавшемся на Луне. Роман «Великая тайна» (1973) — описывает последствия открытия секрета бессмертия. Роман «Роза в раю» (1981) вполне может быть отнесен к «постапокалиптическому» направлению в современной фантастике. В нем рассказывается история нескольких людей, уцелевших после гибели человечества в атомной войне и оказавшихся на судне, похожем на Ноев ковчег. Роман «Буря» (1982) предупреждает человечество об угрозе, которую может представлять для Земли орбитальная станция с ядерным оружием на борту, оказавшаяся в руках маньяка; фактически, это одно из первых в мировой литературе предупреждений об опасности экологической катастрофы.

Есть у Баржавеля и произведения в жанре фэнтези — это роман «Чародей» (1984) о легендарном волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцарях Круглого стола, посвятивших свою жизнь поискам Грааля, а также отдельные рассказы, вошедшие в два сборника — «Раненый принц» и «Дети тени».

Роман «Девушки и единорог», опубликованный в 1974 году, написан совместно с Оленкой де Веер, известной писательницей, пропагандировавшей несколько странное сочетание фитотерапии и астрологии. Он основан на малоизвестном средневековом мифе о браке человека и легендарного существа — единорога.

В отличие от других реалистических и научно-фантастических романов писателя, действие романа, который вполне можно назвать историческим, происходит не в настоящем или более-менее отдаленном будущем, а в прошлом.

В романе рассказывается о судьбе пяти сестер, живущих в Ирландии в конце XIX века. История их рода начинается во Франции тысячу лет назад, когда граф Фульк Рыжий (историческое лицо, известное как граф Фульк I Анжуйский) взял в жены девушку, фантастическим воплощением которой был единорог, существо мифическое, но в данном случае описывающееся как реально существующее. В результате этого брака возникла последовательность потомков, как правило, крупных исторических деятелей, членов королевских семей Франции, Англии и других стран Европы и всего мира. Далекими потомками Фулька Рыжего и единорога являются и девушки, дочери сэра Джона Грина. Их семья обосновалась на заброшенном островке Сент-Альбан, расположенном на атлантическом побережье Ирландии; в этой суровой обстановке каждая девушка живет своими мечтами, реализуя свою собственную судьбу, отличную от судеб сестер. Именно здесь родилась главная героиня романа, третья дочь сэра Грина, Гризельда. Для нее окружающий остров океан является тюрьмой, и она живет в мечтах об освободителе. Вскоре она знакомится с необычным юношей по имени Шаун...

События романа разворачиваются на фоне реальных исторических событий, связанных с борьбой Ирландии за независимость.

По роману «Девушки и единорог» во Франции был снят двухсерийный телефильм, показанный в 1982 году.

Существует продолжение романа, также написанное Баржавелем вместе с Оленкой де Веер: это «Дни мира» (1977). Несколько позднее Оленка де Веер, уже без соавторства с Баржавелем, написала третью часть трилогии под названием «Третий единорог» (1979).

Несмотря на то, что на счету Баржавеля около 30 книг самого разного жанра, он никогда не скрывал своего предпочтения роману. Баржавель считал роман, прежде всего роман фантастический, наиболее прогрессивным видом литературы.

Следует подчеркнуть, что Баржавель исключительно серьезно относился к научно-фантастической литературе, ни в коей мере не смешивая ее с массовой, так называемой «пограничной» литературой, приобретаемой в табачных киосках как средство от скуки в автобусе или электричке. Для Баржавеля фантастика — это способ передать читателю авторское послание в необычной форме, отличающейся от традиционной реалистической литературы; при этом основным содержанием фантастического произведения должны быть те же темы, что и любых реалистических книг.

В последние годы жизни Баржавель делил свое время между художественной литературой и журналистикой. Много времени он посвящал и написанию киносценариев.

Игорь НАЙДЕНКОВ

Часть 1

Фульк, первый граф Анжуйский, вначале носивший прозвище Рыжий, но затем получивший известность как Плантагенет, повстречался с девушкой-единорогом[1] во вторую пятницу июня 929 года, и эта встреча изменила всю историю Франции, Англии, Ирландии и даже Иерусалима. Кроме того, благодаря Ирландии, иной стала и история Соединенных Штатов, куда переселилось множество беженцев из Ирландии; к сожалению, достойное место в стране они заняли только после прихода к власти Джона Кеннеди. Благодаря Кеннеди и столь далекому от нашего времени единорогу, иной стала даже история Луны.

Фульку тогда исполнился тридцать один год. Это был высокий, широкоплечий, сильный мужчина. В те времена запад Европы населялся расой низкорослых людей. Поэтому на всех сборищах Фульк обычно был на голову выше всех остальных. Его круглую голову венчала густая львиная грива; глаза, как и волосы, были цвета янтаря. Он походил на древнего вождя галлов Верцингеторикса, чей облик еще можно увидеть на истертых прошедшими веками золотых монетах. Верцингеторикс был красавцем, но Фульк превосходил красотой. Его волосы, освещенные солнцем, походили на пылающий огонь.

Случилось так, что девушка-единорог увидела Фулька впервые в тот момент, когда он, сидя на могучем коне той же масти, что и всадник, пересекал прогалину в Анжуйском лесу. И было это осенью 928 года. Он только что потерял жену по имени Эрменга, родившую ему двух сыновей. Фульк глубоко переживал утрату, но старался не показывать скорбь, так как стыдился всего, что считал слабостью. Нередко он внезапно оставлял компанию друзей, вскакивал в седло и пускался вскачь по полям и лесам, словно олень, гонимый сворой собак.

В этот день Фулька преследовала буря, срывавшая с деревьев листву и швырявшая ее всаднику вослед. Когда он пересекал поляну, солнце неожиданно пробилось сквозь тучи, и Фульк остановил коня. Всадник запрокинул голову и посмотрел на небо, как будто надеялся найти там надежду или ответ. Солнце заставило вспыхнуть его шевелюру, а листья, кружившиеся вокруг него, превратились в золотых и огненных птиц. Деревья протягивали к солнцу обнажившиеся ветви, на которых кое-где еще сохранились следы былого великолепия. Вся поляна — огромный костер радости и печали — стала неожиданным даром солнца Фульку.

Рыжий всадник на красном коне, застывший в центре пылавшего костра, продолжал смотреть на небо, и в его глазах блестели слезы.

Таким воплощением солнечного великолепия, и в то же время символом верности и страдания увидела его девушка-единорог. Она стояла под единственным деревом, которого не коснулась осень, — двухсотлетним кедром, возвышавшимся над окружающими деревьями. Укрытая его нижними ветвями, защищенная его дружелюбной тенью, девушка-единорог сияла девственной белизной. Ее белоснежное одеяние не могли запятнать ни тени, ни солнечные блики.

Когда Фульк двинулся дальше, то проехал рядом с ней и не увидел девушки. Ему показалось, что под кедром растет большой куст боярышника, усеянный цветами. Конечно, он знал, что ничто не станет расти под

[1] Существительное «единорог» в русском языке мужского рода, тогда как во французском — женского, что создает некоторые сложности при переводе. Поэтому к слову «единорог» время от времени добавляется существительное «девушка». Иногда это мифическое существо называется просто «единорогом», когда его женский род более или менее очевиден.

кедром; кроме того, он помнил, что боярышник цветет в мае. Но так всегда бывает, когда люди сталкиваются с единорогом, они не осознают этого, даже если ряд признаков указывает им на встречу с необыкновенным. Они проходят мимо, погруженные в свои жалкие заботы, словно находятся в каморке без окон. Люди ничего не видят ни вокруг себя, ни в самих себе.

Девушка-единорог поняла, что этот человек не только великолепен внешне, но и чист душой. Она была потрясена до глубины души его обликом, обращенным к свету. В ожидании подобной встречи она прожила множество лет. Теперь надо было подождать, чтобы Рыжий снова пришел к ней и чтобы он не изменился до новой встречи.

Семья и соратники Фулька настаивали, чтобы он снова женился. Несколько месяцев граф сопротивлялся, пока, наконец, уговоры не надоели ему. И он посватался к дочери барона, обещавшего в приданое земли, которые позволили бы Рыжему расширить владения вплоть до реки Мэн. Девушке исполнилось двенадцать лет, и она была косой на один глаз, который ее мать искусно прикрывала прядью волос. Фульк даже не подозревал об этом, тем более что он ни разу не видел своей невесты.

Церемонию бракосочетания назначили на вторую субботу июня. Невеста в сопровождении родителей и слуг прибыла в замок графа вечером в пятницу. Но жених не смог встретить гостей, так как его не оказалось на месте. В очередной раз он умчался в лес, пытаясь в бешеном галопе достичь ту, которую уже невозможно было встретить.

Солнце к этому времени почти зашло, и высоко в небе сияла полная луна. Два светила смешивали золото и серебро своих лучей над лугами и лесными дебрями. Вскоре Фульк снова оказался на поляне, на которой побывал прошлой осенью. Его конь неожиданно остановился, и всадник почувствовал, как тот дрожит всем телом. Он понял, что это вызвано не усталостью. Оглядевшись, он на этот раз увидел единорога. Она стояла под кедром и смотрела на графа, призрачно сияя своей белизной в лунном свете. Длинный витой рог отчетливо выделялся на фоне звездного неба, и синие глаза смотрели на Фулька как глаза женщины, как глаза лани, как глаза ребенка.

Любопытные птицы, воспевавшие весь вечер свое счастье, замолчали и притихли. В полном безмолвии Фульк услышал бархатные звуки бившегося сердца единорога.

Он легонько шевельнул стременами, заставив коня шагнуть вперед. Его печаль неожиданно исчезла, но не потому, что Фульк проявил неверность, а, напротив, благодаря родившемуся знанию, что разлуки не существует и что смерти нет. Он был уверен в этом.

Когда единорог шевельнулся, листья деревьев внезапно посветлели, а небо потемнело. Луна спряталась за тучей. В глубине лесной чащи тревожно закричала лиса. Теперь, когда листьям вернулся зеленый цвет, девушке стало ясно, что свобода должна быть утрачена.

Девушка-единорог одним прыжком пересекла поляну и бросилась в лес. Рыжий всадник устремился за ней.

Теперь девушка-единорог спасалась от того, чего сама желала; она хотела сделать невозможным неизбежное. Бегство разрывало ее жизнь, словно ткань, надвое — между надеждой и сожалением. Эта ночь должна стать ее последней ночью в мире свободы, и она не хотела потерять ни одного мгновения этой свободы. Когда она мчалась по лесу, все вокруг нее, окрашенное в белый цвет, ярко светилось: цветы, мельчайшие звездочки во мху, даже оперение уснувших на ветвях птиц.

Перед восходом солнца единорог оказался на опушке леса. За лесом начинался небольшой луг, который тот пересек шагом, понимая, что решающий момент наступил. Вокруг поляны стеной стояли заросли дрока,

покрытого, словно пеной, множеством цветов. Взошло солнце, и все вокруг запылало. Единорог остановился и обернулся. Рыжий молча смотрел на него, сидя в седле. Лучи солнца просвечивали сквозь огненные волосы. Фульк увидел, как посветлели синие глаза единорога и все его тело призрачно засветилось, словно полумесяц, который виден днем на летнем небе. Потом единорог растаял, и перед Фульком осталась только золотая волна цветущего дрока.

Рядом с ним, почти касаясь его, на лошади цвета меди сидела девушка с волосами такого же цвета. Ее гладкие волосы спадали почти до седла; глаза у нее были синими с рыжими крапинками. Она улыбалась Фульку.

Они доехали до замка графа, находившегося неподалеку, и прошли в часовню, где ожидал архиепископ; там они и обвенчались. Двенадцатилетняя невеста вернулась домой с родителями и подарками. Она была счастлива, ее вполне устраивало случившееся. Отец не испытывал особой радости, но не мог собрать столько рыцарей, чтобы позволить себе быть по-настоящему недовольным.

Таким образом, в этот день Фульк нашел в неожиданно встреченной девушке-единороге не только потерянную жену и всех женщин, которых ему еще предстояло потерять, но и ответ на все вопросы, которые никогда не задавал себе, но которые теперь переполняли его голову, словно шум моря, стиснутого берегами.

Через семь лет в день свадьбы в часовне замка состоялась торжественная благодарственная месса. В ней принимали участие архиепископ в расшитой золотом мантии, процессия священников в великолепных розовых, красных и пурпурных одеяниях и хор певцов, приехавших из Рима.

Все обитатели замка и высокопоставленные гости теснились в небольшом круглом помещении нефа, куда свет снаружи проникал через узкие высокие окна. Стоявшие вдоль стен свечи пульсировали тысячей огоньков, распространяя аромат воска.

Супруги выслушали службу, преклонив колени на звериных шкурах, с улыбкой спокойного счастья на лицах. Он был в кожаной куртке с оторочкой из лисьего меха, она — в шелках, привезенных купцами с другого конца света. Ее волосы, собранные в виде короны, венчала небольшая остроконечная шапочка, немного наклоненная вперед.

Когда месса закончилась, Фульк поднялся с колен и протянул жене руку, чтобы помочь ей встать. Она оперлась на его руку кончиками пальцев, но, встав на ноги, продолжала подниматься над полом. Отпустив руку мужа, она медленно взлетала к куполу, и помещение часовни внезапно заполнил дикий запах влажной листвы. После нескольких мгновений всеобщей растерянности стоявшие ближе к ней попытались остановить ее, схватив за край накидки, но одежда осталась у них в руках, а она продолжала подниматься все быстрее и быстрее среди криков ужаса, пока не выскользнула наружу через окно, в десять раз более узкое, чем ей было нужно.

В мертвой тишине по плитам двора замка прогрохотали копыта и быстро затихли вдали, в то время как в ближайшем лесу послышался смех лисицы. Через узкую щель окна виднелся месяц в первой четверти.

Мы не знаем, что сказал присутствовавший при событии архиепископ, но через некоторое время его избрали папой.

Случившееся, как ни странно, ничуть не удивило и не огорчило Фулька. Но он почему-то приказал посадить на месте встречи с девушкой-единорогом дрок. С этой целью он отправил посланцев в горы Оверни, Севенн и Бретани, чтобы разыскать самые крупные кусты дрока. Вереницы повозок доставили их в Анжу. Рядом с зеленым лесом появился золотой лес. В самый разгар цветения Фульк проводил долгие часы на небольшом лугу,

на который, казалось, опустилось солнце. Может быть, он надеялся, что единорог вернется и снова будет пленен? Но остался ли единорог в окрестностях его замка?

Фульк, несомненно, знал, что стало с его женой; точно так же знал, что она не могла дольше оставаться рядом с ним. Наверное, его мания сажать повсюду дрок была желанием увековечить таким образом память о ней.

Чтобы доставить приятное господину, крестьяне тоже стали сажать дрок на межах своих полей, так что очень скоро графство Анжу было залито золотым цветом, сохранявшимся на протяжении многих веков.

Из-за любви к дроку Фульк I был прозван Плантагенетом[1], и это прозвище носил его потомок Генрих II, когда стал королем Англии. И для всех потомков рода Плантагенетов стало обычаем украшать свой шлем цветком дрока; когда же они отправлялись в поход весной, то прикрепляли к своей кольчуге распустившуюся ветку дрока.

* * *

Почти через тысячу лет обычным сентябрьским утром сэр Джон Грин, потомок Генриха Плантагенета по женской линии, совершал ежедневную прогулку по саду своего владения на островке Сент-Альбан, находящемся у западного побережья Ирландии. Его сопровождала одна из дочерей.

— Почему, — спросила у отца Гризельда, — девушка-единорог провела с Фульком только семь лет?

С запада на островок налетали порывы сильного ветра, сгибавшего деревья и относившего в сторону птиц. Принесенные ветром с океана тучи, насыщенные до предела дождем, роняли капли где придется, едва оказывались над сушей. Островок, находившийся всего в двух сотнях метров от побережья Ирландии, первым получал подарки от неба и бурного моря — дикую смесь ветра, солнца, дождя и волн, беспорядочно теснящихся, словно стадо овец.

— Семь лет — это не так уж мало, — промолвил сэр Джон Грин.

Он ответил совершенно машинально, но тут же, едва произнеся эти слова, удивился вопросу дочери. Он остановился и посмотрел на спутницу. Необычным было даже то, что рядом с ним находилась именно она. Как правило, во время утренней прогулки его сопровождала Элен. По рассеянности он не обратил внимания, что этим утром место Элен заняла другая дочь.

Гризельда… Фигурка в длинном плаще из зеленого драпа и круглой шапочке из белой шерсти. Щеки, блестящие от солнца и дождя, мокрые ресницы; в дерзком взгляде страстное желание все увидеть, все познать. Джон Грин почти догадался, что она сделает со своей жизнью, если только жизнь позволит ей это. Его сердце сжалось, когда он осознал, что Гризельда уже готова начать…

— Послушай, сколько тебе лет? — спросил он.

— Семнадцать! Вы разве не знаете этого?

Зеленые глаза и мягкий, слегка хрипловатый голос выдавали возмущение.

Сэр Джон Грин зашагал дальше, неопределенно пожав плечами.

— Ты же понимаешь, что в наше время…

Семнадцать лет… И она ведь не самая младшая… Значит, Элис, старшей, сейчас будет… Он не решился подсчитывать ее возраст. Порыв ветра растрепал великолепную светлую бороду сэра Джона, едва тронутую сединой. Солнечный лучик остановился на лице, потом спрыгнул на грудь.

[1] Плантагенет — сажающий дрок — от фр. planter (сажать) и genet (дрок).

Он глубоко вздохнул, почувствовав счастье быть живым и находиться на острове среди своих.

Время убегает только если ты гонишься за ним.

— Единорог, — сказал он, — принимает то, что считает совершенным. Наши привычки, случайная невнимательность, плохое настроение, радость по незначительному поводу, мелкие ссоры, короче, все, что слагает жизнь супружеской четы, ранит его, заставляет кровоточить сердце. С женщинами тоже часто бывает так. Но если единорог уходит, то женщины остаются.

— Уж я-то уйду обязательно! — бросила Гризельда.

В облаках появился большой просвет, через который выглянуло солнце, осветившее весь островок. И сразу же снова полил дождь.

* * *

Фульк, первый граф Анжу, он же Рыжий, он же Плантагенет, скончался в июне, в пятницу, через семь лет после того, как исчезла та, чье имя сегодня забыто всеми. Голова его стала белой, такой же, как цветы терна. Он умер в своем замке, и ему не помогали уйти ни болезнь, ни усталость. После причастия он присоединился к жене в том месте, где она находилась.

Двое его сыновей умерли в раннем возрасте, но от девушки-единорога у него был еще один сын, который совсем юным унаследовал владения отца и умер в возрасте тридцати лет. Это был добрый и справедливый правитель, державшийся несколько скованно, словно опасаясь неверно использовать ту внутреннюю силу, которую должен был передать по наследству: он был единственным, у кого в жилах текла смесь крови единорога и анжуйского льва.

Это был Фульк II, прозванный Добрым.

Его сын, Жоффруа I, остался в памяти потомков как вечно печальный человек, всегда одетый в серое, благодаря чему он и получил прозвище «Серый плащ».

И сын, и внук Фулька I были бесцветными, вялыми личностями, словно бутыли, в которых под пыльной пробкой набирает силу вино.

Пробка выстрелила, когда к власти пришел Фульк III. Свежие добавки расстроили союз двух разных кровей, соединившихся в жилах его деда, и они стремились разделиться. В результате спокойствию пришел конец. Фулька III часто охватывали приступы бешенства, за которыми следовало раскаяние; никто не мог сказать, кто был виновником его поступков — лев или плененный им единорог.

Подталкиваемый в противоположные стороны разнородными импульсами, Фульк III построил столько же монастырей, сколько и крепостей; он совершил четыре паломничества в Иерусалим, надеясь таким образом искупить свои грехи. Он поносил себя, валяясь в пыли, пахнувшей верблюжьим навозом, бил себя кулаками в грудь и кричал: «Господи, сжалься над Фульком, предателем и клятвопреступником!» Вернувшись домой из последнего паломничества, он скончался. Возможно, это и была та милость, о которой он просил.

В тайной борьбе, которую вели лев и единорог, последний скоро одержал верх: через два поколения мужчины в роду исчезли, и кровь передала потомкам женщина по имени Эрманзар. Она стала первой в ряду женщин, покорных или властных, победительниц или жертв, сыгравших роль, столь важную для потомков единорога.

Эрманзар вышла замуж за Жоффруа Ферроля де Гатинэ, и на свет появились новые Жоффруа и новые Фульки, ознаменовавшие начало двойной славы этого удивительного рода, разрывавшегося между воинственностью и миролюбием, действием и мечтательностью, солнцем и луной, землей и водой.

Фульк V, потомок Рыжего и его супруги в шестом поколении, странным образом походил на свою прародительницу. Вечный мечтатель и забияка, нежный, но неутомимый, упрямый, страстный любитель странствий, быстро забывавший о цели после ее достижения, он казался таким хрупким, что его назвали Юнцом, и это прозвище он носил до самой смерти. Он был женат два раза. Вторую его жену звали Мелисанда. Это имя феи; возможно, она и была феей. Смуглянка с каштановыми волосами, с глазами, похожими на черные бриллианты, и носом с горбинкой. Стройная и быстрая, как газель, лакомый кусочек, она была дочерью Бодуэна II, короля Иерусалима. Фульк-Юнец повстречался с ней во время паломничества, взял ее в жены и стал королем Иерусалима.

Таким образом, потомок единорога дошел до святых мест, чтобы царствовать там. Хотя, возможно, он просто вернулся домой.

Бодуэн IV, внук Юнца, заразился проказой. Когда он умер, на его лице застыла жуткая львиная маска, как часто бывает при заболевании этой проклятой и священной болезнью. Наследника он не оставил. Но кровь и на этот раз была передана дальше женщинами, его сестрами. У одной из них родилась дочь Мария, ставшая матерью Изабеллы, вышедшей замуж за Фридриха, германского короля и императора Священной Римской империи.

Таким образом, всего за три столетия единорог покорил два священных города — Иерусалим и Рим, а также город-крепость Экс, столицу двух великих императоров, Карла и Барбароссы. Впрочем, у него были и другие завоевания.

У Фулька V Юнца, походившего на свою прародительницу, как цыпленок походит на курицу, до женитьбы на Мелисанде Иерусалимской была жена по имени Эранбур, родившая ему замечательного сына Жоффруа V по прозвищу Красавчик, который стал носить славное имя Плантагенет. В возрасте четырнадцати лет он женился на Махо, девушке старше его на десять лет. Она была внучкой Вильгельма Завоевателя и дочерью английского короля. Когда король умер, Красавчик Плантагенет воскликнул: «Теперь Англия принадлежит мне!», но не смог даже ступить на английскую землю. Его сын оказался более удачлив; Генрих II Плантагенет был коронован в Вестминстерском аббатстве в 1154 году, за неделю до Рождества. Таким образом, потомок единорога завладел английским троном. И все последующие короли и королевы Англии, со времен Генриха II Плантагенета и до наших дней, являются потомками Фулька Рыжего и девушки-единорога, с которой он встретился в золотых зарослях дрока. Тюдоры, Йорки, Ланкастеры, Стюарты, Нассау — у всех в жилах течет кровь единорога. У Ее Величества Елизаветы II также кровь единорога, как и у ее мужа, Филиппа де Баттенберг Маунтбаттена, греческого принца и герцога Эдинбургского. Она досталась им от общего предка, королевы Виктории.

У их детей кровь единорога удвоилась, как уже не один раз случалось на протяжении веков. Разбавляясь чужой кровью, она всегда усиливалась благодаря многочисленным бракам между дальними родственниками. Ее частенько проливали в сражениях и на эшафоте. В длинном ряду исторических персонажей от Плантагенета до Елизаветы II история английской монархии есть не что иное, как длинная цепь трагических событий. Вопросы наследования обычно решались ударом шпаги или топора. Как дикая роза разбрасывает ростки во всех направлениях, так и династия то разделяется, то снова соединяется, захватывает потомками всю Европу, за исключением Франции, от которой она с болью отдаляется, окончательно укореняясь на британских островах, откуда начинает разветвляться по всем континентам и океанам. Земля и вода. Земля с помощью воды. В центре находится Остров и Трон. И на троне господствует то единорог, то лев, а иногда они оба. Но самыми великими английскими властителями с самой

трагической судьбой всегда были королевы. Генрих VIII, безумный лев, поменявший стольких женщин, кажется чем-то незначительным рядом с дочерью Елизаветой I, у которой не было ни одного мужчины. Она гордилась огненными волосами своего великого предка, Фулька Рыжего; в то же время у нее были белые ресницы и лунная бледность единорога. Ее руки добивались все принцы Европы, но она ни одному из них не сказала «нет», не сказав никому и «да». В возрасте за пятьдесят она полюбила Эссекса, на тридцать лет моложе ее. Она отдала ему все, но не себя; потом она приказала отрубить ему голову в наказание за то, что он едва не принял неприемлемое, а затем умерла сама.

В жилах как обезглавленной Марии Стюарт, так и прекрасной Джейн Грэй, в шестнадцать лет ставшей королевой, чтобы процарствовать девять дней, а затем лишиться головы, также текла кровь единорога. К этому цветнику относились и Анна Болейн[1], родившая семнадцать детей и пережившая их всех, и Екатерина Говард, пятая супруга Генриха VIII, оказавшаяся в числе тех, кого он отправил на эшафот, и Сарра Леннокс, муж которой, герцог Мальбрук, отправился на войну и погиб.

Среди носителей крови единорога, попавшей в Англию благодаря Генриху II Плантагенету, в числе первых был Ричард Львиное Сердце, который вскоре покинул Англию, чтобы сражаться сначала во Франции, а затем в Святой земле, где и погиб от смертельной раны при осаде Шамо. Другим был сумасброд Иоанн Безземельный. Потом пошли разные Генрихи, Эдуарды, Жаки, Георги и Гийомы. Были также отпрыски рода, вернувшиеся в Европу, — Фридрих Великий и Гийом II, кайзер с усами крючком.

Короли великие и не очень, изгнанники, завоеватели, царствовавшие неделю или всю жизнь, убийцы или жертвы, никогда не жившие в мире ни с миром, ни со своей семьей, ни с самими собой. К их числу следует еще добавить никому не известных детей, родившихся от случайной связи господина с какой-нибудь служанкой, придворной дамой или крестьянской девушкой, встреченной на охоте или в походе. Служанкам и пастушкам тоже доставались семена дрока, и они продолжали осеменять одну нацию за другой.

Самыми великими среди великих были Уильям Шекспир, в жилах которого имелась большая доза крови единорога, и жестокий король Эдуард IV. У последнего была дочь от жены сапожника, шившего ему сапоги. Эта женщина была красива; она подавала своему мужу шило и нитки, не отводя глаз от Эдуарда. После смерти короля две его законных дочери, два львенка, еще не имевшие ни когтей, ни клыков, были задушены в Тауэре по приказу их дядюшки Ричарда III, горбатого льва. Дочь сапожника, осыпанная золотом, вышла замуж за торговца сукном. Последовало четыре поколения успешных коммерсантов, и родился Уильям Шекспир, который сделал другой выбор. Он знал тайну своей крови; королевская ярость и боевые крики сражающихся звучали у него в голове. Он разрешался ими от бремени подобно Юпитеру. Порождение их теней, он даровал им вторую жизнь и, таким образом, бессмертие себе.

* * *

Когда Генрих II Плантагенет стал английским королем, римская церковь избрала очередного папу, единственного англичанина в своей истории, известного как Адриан IV[2]. Новый папа поручил Генриху II навести

[1] Вторая жена короля Генриха VIII, мать будущей королевы Елизаветы.

[2] Адриан IV — сын английского священника Николая Брекспира. Возведенный на папский престол в 1154 г., он вскоре поссорился с могущественным родом Гогенштауфенов и был убит 1 сентября 1159 г.

порядок в ирландской церкви; дело в том, что ирландские монахи нагло выбривали у себя на голове квадратную тонзуру вместо полагавшейся круглой.

В то время Ирландия была независимым государством, а Адриан IV, как мы уже сказали, был англичанином. Отправляя Генриха II выбривать круглые тонзуры у монахов Ирландии, папа не только стремился к единству церкви, но и заботился о прирастании Англии новыми землями.

Генрих II с папской буллой в руке и цветком дрока на шлеме вторгся в Ирландию в 1170 году. К тому времени Адриан IV был забыт, и Генриха II давно перестали волновать монашеские тонзуры. Он объявил во всеуслышание, что отныне Ирландия принадлежит английскому королю. Он раздал своим баронам завоеванные земли при условии, что ирландские крестьяне будут обрабатывать их, чтобы иметь возможность платить налоги в королевскую казну.

Так для ирландского народа началось тяжелое многовековое рабство. Даже сейчас, через восемь столетий, освобождение ирландцев еще не завершено. Слишком глубоко лев из Анжу вонзил когти в Ирландию. Но его белоснежная подруга, девушка-единорог, полюбила этот край воды и ветра и смешала свои мечты с мечтами ирландцев.

* * *

Родители Джонатана Грина должны были умереть. Тонкие и бледные, со светлыми волосами и голубыми глазами, они удивительно походили друг на друга, и не было ничего удивительного в том, что они одновременно заболели одной и той же болезнью. Родственники в девятом колене, они были потомками Генриха II Плантагенета в двадцать первом поколении, а через него — потомками единорога и льва. В дальнейшем, после их смерти, Джонатан должен был сменить место обитания своей семьи, так что ни его сыну Джону, ни его внучкам не суждено было родиться в замке предков, в котором сейчас приглушенно звучали голоса слуг.

— Джонатан! Джонатан!

Мальчик ждал, хотя в голосах звучала тревога. Служанки, в поисках бегавшие босиком по промерзшим залам и мрачным лестницам, не осмеливались громко позвать его. Он спрятался в библиотеке, забившись за кресло, и сейчас сидел на пушистом ковре возле камина, в котором неторопливо горели куски торфа. Перед собой он держал большую книгу в кожаном переплете, словно щитом закрывая себе грудь. Ему было почти семь лет, он хорошо читал, но в комнате было слишком темно, и он не различал буквы в книге о приключениях Иосифа Аримафейского[1], который приплыл на лодке в Британию, держа в руках чашу с кровью Христа.

Он слышал голоса служанок, но не хотел отзываться, потому что знал, зачем его зовут, и ему было страшно.

Его все же нашли, извлекли из-за кресла, притащили на кухню. Со вздохами и причитаниями раздели перед ярко пылавшим очагом и вымы-

[1] Богатый и знатный член Синедриона, из города Аримафеи или Рамафы, тайный последователь Иисуса. Он получил у Пилата разрешение снять Иисуса с креста и похоронил его в вырубленной в скале гробнице. История Иосифа получила большое распространение благодаря легенде о Святом Граале — чаше, в которую Иосиф собрал кровь Христа и затем стал хранителем этой одной из наиболее великих реликвий христианства. Иосиф с товарищами, пройдя пешком по морю, пришел в Англию, где и занялся крещением язычников. Упомянутая здесь книга — это, очевидно, английская версия французского романа в прозе «Grand St. Graal» («Великий Святой Грааль», 1240), ставшего позднее основой легенд о рыцарях Круглого стола короля Артура.

ли в лохани, наполненной теплой водой. Потом причесали и переодели в чистую одежду, красную с белым. Затем отвели в комнату родителей.

Родители Джонатана болели уже несколько месяцев. Последние пару недель они уже не вставали, измученные болезнью. Но они были счастливы, потому что находились вместе и им больше не грозила разлука.

Они лежали в двух больших кроватях с балдахином, придвинутых по их просьбе друг к другу. В изголовьях и на небольшом столике посреди комнаты горели пучки свечей, похожих на светящиеся кустики, вокруг которых сгорала темнота.

Джонатана доставили в комнату родителей, подвели к кроватям и поставили в ногах между ними, напротив разделявшей их темноты. Он видел перед собой два светлых пятна на подушках с наволочками из синей льняной ткани. Это были лица отца и матери в ореоле светлых волос. Отец лежал слева, мать — справа. По сторонам от бледных лиц пламя свечей отражалось, колеблясь, на резных колоннах из темного дерева, изображавших единорогов, поднявшихся на дыбы и нацелившихся рогом на потолок, где круглые сутки царствовала ночь.

Джонатан не осмеливался взглянуть на их лица. Он смотрел прямо перед собой, в разделявший две постели узкий промежуток, заполненный мраком. Боковым зрением он нечетко видел два одинаковых бледных лица с закрытыми глазами и легкой улыбкой на губах. Он не понимал, живы еще они или уже умерли. Горящие свечи испускали сильный запах теплого хлева.

Его взяли за руку, снова отвели на кухню, раздели, еще раз умыли перед очагом и натянули ночную рубашку. Закрыв глаза, он все еще видел перед собой два лица, но не очень отчетливо, с резкой полосой мрака между ними. Возле него слышались вздохи и едва сдерживаемые стоны. Потом раздался тихий смех, и кто-то прошептал: «Наполеон побил русских». Он знал, что Наполеон был императором французов и врагом англичан. Все, что было плохим для англичан, могло только радовать сердца ирландцев, даже в эту ночь большого несчастья.

Его кормилица, женщина с ближайшей фермы, отнесла его в детскую и уложила в постель. Потом она прошептала несколько ласковых слов на гэльском[1], слов, что он слышал, когда совсем еще младенцем погружался в сон, выпуская из губ благодетельный сосок ее кормящей груди. Она поцеловала ему руки и ушла; после этого он смог, наконец, заплакать, никого не стыдясь.

Подобно тому, как камень сопротивляется речному потоку, он сопротивлялся рыданиям, готовым унести его, боролся с безумным желанием вскочить с постели, протянуть руки к родителям и звать их, кричать, пока они не придут…

Прижимая кулаки к глазам, он пытался прогнать образ двух лиц, таких нежных и в то же время таких страшных. Постепенно они исчезли из его глаз и его памяти. Он заснул, пока жалкий огонек у его изголовья медленно тонул в последних слезах тающей свечи.

Через несколько месяцев за ним из Англии приехал дядя, забрал его с собой и стал воспитывать со своими детьми. Замок Гринхолл остался на попечение управляющего. Дядя Джонатана, Артур Вэллесли, вскоре отправился на войну, чтобы через несколько крупных сражений разбить армию Наполеона под Ватерлоо. За многочисленные заслуги король присвоил ему — одно за другим — звания графа, маркиза и герцога Веллингтона.

[1] Гэльский язык (ирландский гэльский) — один из языков кельтской группы; наряду с шотландским и мэнским языками принадлежит к гойдельской подгруппе этой группы. Государственный язык Ирландской Республики.

Через четырнадцать лет после приезда в Англию, за несколько недель до совершеннолетия, когда Джонатан возвращался к замку дядюшки с верховой прогулки, он увидел скачущего ему навстречу Георга, управляющего конюшней. Тот, словно охваченный безумием, размахивал шляпой и что-то кричал. Подскакав к Джонатану, Георг не остановился и помчался к деревне, с криками «Наполеон умер! Наполеон умер!». Испуганная этими воплями, лошадь Джонатана встала на дыбы, и он увидел нечто жуткое: у его лошади исчезла часть задранной кверху головы и на этом месте осталось нечто вроде бесформенной пустоты, по сторонам которой торчали уши. Когда лошадь немного успокоилась, дорогу перед Джонатаном закрыла странная полоса дыма или тумана. У него закружилась голова, и он упал с лошади.

Это было первым проявлением непонятной болезни, во время приступов которой перед Джонатаном появлялась серая пустота, за которой скрывалось все, что продолжали видеть остальные.

Дядя Артур отвез его в Лондон, где отдал в руки лучших докторов. Они обрили ему голову и пришлепнули к ней присоски, потом отворили кровь на левой и на правой руке, заставили выпить какие-то микстуры. Через три месяца такого лечения Джонатан весил не больше, чем его тень. Почувствовав приближение смерти, он потребовал, чтобы его отвезли в деревню, где сам занялся своим здоровьем. Его лечение заключалось в том, что он отказался от всех процедур и принимал только то лекарство, которое ему хотелось. Он почти исключил из своего меню мясо и питался овсянкой, свежими яйцами, яблоками и молоком. Силы возвращались к нему одновременно с восстановлением шевелюры, но завеса пустоты все равно оставалась перед его взглядом. Когда он обращался к кому-либо из окружающих, то видел только тех, кто находился ближе всех. Когда сэр Артур передал ему документы, связанные с опекой, он не увидел ни одной цифры. Так как он доверял дяде больше, чем себе, он зажмурился и подписал все бумаги не глядя.

Несмотря на болезнь, он решил, что будет сам управлять своими владениями. В Ирландии он не был ни разу с того дня, как сэр Артур забрал его в Лондон после смерти родителей. Прибыв в Гринхолл, он потребовал, чтобы его отвели в комнату родителей, и остался там один.

Время приближалось к полудню, весеннее солнце вливалось в комнату через два больших окна с раздвинутыми шторами. Во время его отсутствия комната содержалась в идеальном порядке, но ему показалось, что она состарилась, как бывает с человеком, долго находившимся в одиночестве. Краски казались более серыми, чем раньше, мебель выглядела устаревшей. Резные колонны кроватей казались матовыми.

Взволнованный Джонатан чувствовал, как к нему возвращаются воспоминания. Он медленно приблизился к кроватям, все еще стоявшим посередине комнаты, и когда оказался на том самом месте, где мальчика когда-то оставила рука приведшей служанки, то увидел слева и справа от себя, между вставшими на дыбы единорогами, бледные лики отца и матери на синих подушках. И завеса серой пустоты, стоявшая перед его глазами, смешалась с мраком, разделявшим две кровати.

Упав на колени, он прижал кулаки к глазам и, наконец, заплакал. Заплакал беззвучно, чувствуя, как к нему возвращаются покой и избавление. И он услышал в полной тишине, как улыбнулись родители. И понял, что они были счастливы и никогда не переставали быть счастливыми.

Поднявшись с колен, он открыл глаза. Серая завеса перед его взглядом исчезла.

Он сразу же заставил вымыть окна во всех комнатах, поменять шторы и занавески, натереть воском мебель, почистить медь и серебро, расставить повсюду букеты дрока.

Замок засверкал, словно его прежние хозяева вернулись вместе с сыном. И он приказал каждый вечер раскрывать постели родителей и зажигать на некоторое время свечи. Случалось, утром служанка находила одну из погашенных вечером свечей загоревшейся непонятным образом.

* * *

Ирландия — это последний массив суши на западе Европы, отделяющий континент от владений воды; с сотворения мира она подвергалась яростным атакам океана. Океан нападал на Ирландию днем и ночью, во время шторма и во время затишья, используя волны, дожди и туманы. Поэтому атлантическое побережье Ирландии выглядит сильно пострадавшим, эрозированным и изрезанным. Десять тысяч островов и островков разделяются языками океана, глубоко проникающими в материк. Дождевая вода скапливается между холмами и постепенно стекает вниз по склону многочисленными речками и ручьями, размывая сушу и, в конце концов, соединяясь с океаном. Гибель Ирландии в жадной пасти океана неизбежна. Через тысячу тысяч лет она растворится в воде, словно кусочек сахара.

Бесчисленные небольшие островки у западного побережья, окруженные другими, еще более мелкими островками, водой, ветром, дождями и туманами, выступают в роли бойцов передового отряда, сражающегося уже много столетий. Местами схватка между землей и водой походит на борьбу двух любовников. Это скорее слияние, а не противостояние. Невозможно различить, где мы имеем дело с Ирландией, а где с океаном, где кончается суша, а где начинается вода. То и дело вода кажется застывшей и неподвижной, а суша — изменчивой и неопределенной. Каждая частичка суши содержит в себе каплю моря.

На одном из островков в пределах досягаемости крика с суши, несколько монахов в 589 году основали укрепленный монастырь. После нашествия варваров, падения Рима и гонений на христианство все, что осталось в Европе от него, укрылось на западной оконечности континента — в Ирландии. Те, кто противостоял дикому приливу, должны были не просто верить, но и обладать мускулами, чтобы не только молиться, но и сражаться. Единственная дверь, ведущая в монастырь, была прорезана на высоте трех метров над землей в стене, толщина которой равнялась высоте человека. Добраться до двери можно было только по лестнице, которую тут же убирали, как только монах, дежуривший на вершине сторожевой башни, замечал появление варварской флотилии, стремящейся в очередной раз отведать Ирландии, этого сочного дикого плода.

В 603 году одного из монахов посетил Господь, повторивший ему слова, сказанные Им Аврааму: «Ты должен покинуть свой край, свою родину, дом своих предков и отправиться в страну, которую я укажу тебе». Имя этого монаха на латыни было Альбан, что значит белый или чистый. Но в обыденной жизни его звали Клок Канаклок; это имя напоминает звук от соприкосновения двух бокалов и не имеет смысла. Хотя, возможно, его значение просто забыто. Во всяком случае, это не ирландское имя. По-видимому, оно сохранилось до наших дней с глубокой древности, от языка народа, населявшего Ирландию 8000 лет назад, до появления здесь ирландцев. Кроме отдельных слов с тех пор сохранился и духовный пыл. Хотя за жрецами, воздвигавшими мегалиты, последовали кельты-друиды, а за друидами — христианские монахи, все они, несмотря на разные названия, служили одному и тому же божеству с одинаковым рвением. Возможно, что имя Клок Канаклок было именем какого-то святого.

Альбан тронулся в путь на лодке, захватив с собой хлеб, яблоко и фляжку с водой. Божественный ветер, наполнявший его парус, помог ему обогнуть Ирландию с юга и пригнал к побережью Франции, к местечку Бовуар в Вандее. Сейчас эта деревня находится вдали от моря, но в те времена океан плескался вплотную к домам.

Альбан бросил лодку на песчаном пляже и пошел на восток. Он стал одним из монахов, возродивших в Европе христианство. Ему приписывают основание шести монастырей во Франции; когда же он состарился и голова его стала совсем белой, он двинулся дальше на восток, чтобы основать еще один монастырь. Оказавшись в дремучем лесу, он был взят в плен готским вождем, который отрубил ему голову и бросил ее свиньям. Но свиньи опустились на колени вокруг тела. Увидев такое чудо, вождь тоже упал на колени и поверил в христианского бога. Довольный случившимся, Альбан встал, сунул свою голову под мышку и двинулся в обратный путь. Он снова пересек Францию, нашел свою лодку на песке и вернулся на ней на остров. Достигнув знакомых мест, он пристроил голову на плечи, возблагодарил Господа и скончался. Монахи похоронили его на местном кладбище, водрузив на могилу каменный крест с вырезанным на нем рисунком. В центре креста был изображен Альбан, ставящий обеими руками голову себе на шею. Босыми ногами он попирает лебедя, длинная изящная шея которого описывает вокруг святого шесть с половиной оборотов, так как он не смог завершить создание седьмого монастыря.

Отца Альбана канонизировал папа Сизинний[1]. С тех пор остров носит название Сент-Альбан.

* * *

В возрасте двадцати одного года, когда лорд Веллингтон окончательно рассчитался с племянником, Джонатан, вернее, сэр Джонатан Грин, оказался владельцем состояния в 100 000 фунтов стерлингов и имения площадью в 9000 гектаров в графстве Донегол в Ирландии, налог с которого поступал в королевскую казну.

Он сразу же решил познакомиться со своими владениями и принялся день за днем объезжать их верхом, посещая фермы и деревни. Его поливал дождь и сушил ветер; он с удивлением знакомился с неизвестным миром, постоянно обращая к Богу в коротких молитвах свою растерянность, восхищение и гнев. Он заново открывал для себя забытую Ирландию, ее землю, пропитанную влагой, ее мохнатых ослов, пони и овец с черными головами и длинной белой шерстью, ее жителей, невероятная нищета которых переполняла его сердце удивлением и стыдом.

В то время Ирландия была густонаселенным краем. Условия жизни ирландских крестьян после завоевания страны англичанами постоянно ухудшались, пока не достигли самого низкого уровня, на котором и остановились. У арендаторов в собственности вообще ничего не было. Обрабатывая не принадлежавший им клочок земли, они отдавали весь доход своему лендлорду. Все, что они выращивали на участке, за исключением картофеля, предназначенного для их пропитания, уходило в виде арендной платы. Если они применяли какое-нибудь новшество, позволявшее увеличить доход, арендная плата тут же возрастала, так что они не видели никакой пользы от нововведений. Лендлорд имел право выгнать их с земли через

[1] Сизинний (Сисинний) — сириец, в 705 году стал 87-м папой, сменив Иоанна VII. Умер от подагры через 20 дней после рукоположения, после чего папой стал другой сириец Константин.

шесть месяцев после предупреждения. Оставшимся без денег, без жилья, без земли не оставалось ничего другого, как забраться в нору, выкопанную в торфянике, и покорно ожидать смерти. Каждый год такое случалось с очень многими. Если же фермер отказывался покинуть свое картофельное поле и свое жилье, лендлорд вызывал людей, разрушавших хижину. Это было делом несложным, поскольку стереть с лица земли убогую хибарку не представляло трудности. Хижина, обычно с одной комнатушкой без окон, в которой ютилась вся семья, сооружалась из глины и покрывалась соломой; мебели в ней не было совсем, и сидеть ее обитатели могли только на бревне или камне. В расположенном неподалеку от Гринхолла округе Тюллаобагли на девять тысяч жителей приходилось всего 10 кроватей, 93 стула и 243 табуретки. Такое обилие последних можно объяснить только тем, что они нужны для дойки коров. Обитателям хижин с глиняными стенами приходилось спать на соломе, превращенной лежавшими рядом с ними свиньями в груды навоза. К счастью, зимы в этих краях были мягкими, да и торф для отопления не стоил ничего. Поэтому местные жители не теряли хорошего настроения, лишь бы у них на столе всегда было достаточно картофеля и сыворотки, а уж если время от времени находились деньги на стаканчик виски, то жизнь вообще казалась безоблачной. Двери их хижин никогда не запирались, и любой посетитель был желанным гостем.

Фермеры или простые работники, католики, то есть коренные ирландцы, потомки гэльских племен, обитавших в этих краях с каменного века, не имели политических прав, не могли участвовать в заседаниях парламента, работать адвокатами, судьями, правительственными чиновниками. Все пути, ведущие к получению гражданских прав и к улучшению условий жизни, были для них перекрыты законами завоевателей. Так продолжалось до 1829 года, когда герцог Веллингтон, дядюшка Джонатана, находившийся тогда на посту премьер-министра Англии, добился принятия парламентом билля об эмансипации католиков, на основании которого англичане начали рассматривать ирландца как человеческое существо.

После завоевания Ирландии было множество восстаний. После подавления очередного бунта, несмотря на жестокие репрессии, вскоре вспыхивал следующий. За семь столетий рабства и нищеты гэльский народ не утратил ни радостного отношения к жизни, ни надежды.

Большинство лендлордов постоянно жили в Англии, и на посещение ирландских владений у них ежегодно уходило не более нескольких дней. А многие из них вообще никогда не бывали в Ирландии. Согласно закону, все дела за них мог вести управляющий.

Были среди лендлордов и такие, кто проникся любовью к Ирландии и считал себя ее сыном. К их числу относились и предки Джонатана. Они круглый год жили в своем имении и делали все возможное, чтобы улучшить условия существования их фермеров, но не могли нарушать требования закона. Закон запрещал любые меры, способные кардинальным образом улучшить жизнь ирландцев, которые были обречены на примитивный труд, едва обеспечивающий им голодное существование. Обычно так относятся к вьючным животным, ежедневно выполняющим тяжелую работу, за которую они получают вечером корм. Кроме того, английским гражданам, как женщинам, так и мужчинам, запрещалось заключать брак с местными обитателями, который считался столь же неестественным, как брак между людьми и животными. Наказывались по закону даже англичане, носившие прическу «по-ирландски», с волосами, закрывавшими шею и уши.

Увиденное в Ирландии потрясло Джонатана. Только в своих владениях он почувствовал облегчение, словно вернулся домой из ссылки. Жизнерадостные крестьяне встречали его дружелюбными и слегка ироничными улыбками.

Из воспоминаний детства у него сохранились картины жизни в замке, в котором он родился. Повзрослев, он неожиданно столкнулся с реалиями крестьянского мира, мира изнурительной работы и нищеты, за несколько прошедших столетий обеспечивших благосостояние не только его предков, но и английской казны.

Не осознав полностью свое решение, он сразу же начал борьбу с бедностью и несправедливостью.

Свои первые 14 лет, самых длинных лет в жизни мужчины, он провел в английской деревне, упорядоченной и похожей на аристократический салон, а поэтому был потрясен грубым и примитивным обликом ирландской деревни. Она была необычно угрюмой, как ее обитатели и даже здешние домашние животные. В сельской местности почти не было дорог. Все грузы или перевозились на лошадях и ослах, или переносились на человеческих спинах. По редким более или менее сносным дорогам передвигались грубые повозки с колесами в виде сплошных деревянных дисков. Босые крестьяне обрабатывали землю деревянными мотыгами.

Джонатан первым делом вызвал из Шотландии мастеров-тележников, чтобы научить своих крестьян делать легкие повозки на колесах со спицами. Потом настала очередь кожевников и сапожников, которые должны были научить крестьян шить кожаную обувь. Те долго подшучивали над прихотями своего лендлорда: их ноги, непривычные к кожаным башмакам, сильно страдали, а что касается повозок, то на каких дорогах их можно было использовать?

И тогда Джонатан взялся за строительство дорог.

Помимо прочих соображений, эти работы позволяли занять хорошо оплачиваемым делом обитателей его владений. В результате у местного населения появились деньги, что стимулировало торговлю и, в итоге, заметно повысило общее благосостояние.

Первая дорога пересекала все земли Гринхолла; от нее отходили ответвления к каждой деревне.

На все строительство сначала был запланирован весьма продолжительный срок; работы должны были выполняться постепенно, с использованием ежегодно получаемых доходов от налогов. Но когда Джонатан увидел, какой радостью светились глаза его работников, получивших свою первую зарплату, он решил привлечь к работам как можно больше людей, а для этого начал строить дороги сразу на всем их протяжении. Для руководства работами он пригласил из Англии двух инженеров. Таким образом, всего за три года на территории владения были построены все дороги с двумя десятками небольших мостиков и четырьмя большими мостами длиной по 10 метров.

По построенным дорогам начали передвигаться немногочисленные повозки; появились крестьяне, приходившие в церковь в кожаных башмаках, которые они сразу же снимали после окончания службы, чтобы ноги почувствовали облегчение. Джонатан теперь мог передвигаться по своим владениям не верхом, как раньше, а на кабриолете, легком, словно перышко. Встреченные им по дороге крестьяне улыбались хозяину и приветствовали его по-гэльски, то есть поднимая над головой руку с раскрытой ладонью. Джонатан отвечал им улыбкой и таким же приветственным жестом. Крестьяне сначала считали его малость свихнувшимся, но потом решили, что из него вышел бы настоящий ирландец, не будь он таким торопыгой.

Джонатан к этому времени превратился в высокого сильного мужчину, внешностью напоминавшего античного героя. Ирландия вернула ему здоровье. Его волосы с рыжеватым оттенком были уложены в романтическую прическу, оставлявшую открытым высокий благородный лоб. Взгляд зеленых глаз казался одновременно дерзким, веселым и доброжелательным,

нос был прямым и тонким, рот чувственным и своевольным. Его лицо обрамляли пышные бакенбарды, такие же рыжеватые, как и шевелюра. Он хорошо одевался, любил лошадей и все прочее, что позволяло ему и окружавшим его людям радоваться жизни. Весной 1825 года его посетил Клинтон Хайд, бывший сокурсник по Кембриджу, приехавший в Гринхолл с женой. Его сопровождала сестра Элизабет, светловолосая девушка семнадцати лет, прекрасная, словно спелый колос. Едва увидев ее, Джонатан вспыхнул всепоглощающей любовью, как вязанка еловых веток. Он знал, что расставание с возлюбленной даже на один день будет для него невыносимым. Поэтому он отправился вместе с Элизабет и ее братом в Англию, чтобы попросить ее руки у отца. После свадьбы он вернулся в Гринхолл с молодой женой. Элизабет, в свою очередь полюбившая Джонатана, была захвачена, словно вихрем, этим человеком, и первое время ей было даже немного страшно. Вскоре она тоже полюбила Ирландию и всегда сопровождала мужа в поездках по стране, несмотря на ветер, туман и дождь. Из поездок она возвращалась усталой, но счастливой. Иногда ей казалось, что она с трудом выносит жизнь с таким мужем, его любовь и эту необычную страну. А однажды вечером Джонатан услышал, что она кашляет точно так, как кашляла его мать, когда он был совсем ребенком.

* * *

Было 5 часов утра. Начинался необычно ясный день без единого облачка на небосклоне, и его сполна использовало солнце. Летом в графстве Донегол, на севере Ирландии, можно читать без лампы даже в десять часов вечера, а в два часа ночи опять светло, как днем. Джонатана разбудили любовь и беспокойство. Приподнявшись на локте, он любовался спящей Элизабет. Она свернулась клубком, словно котенок, в кровати с единорогами, тогда как Джонатан спал в соседней постели. Накануне вечером, вернувшись из Англии, он представил жену родителям, большие портреты которых висели рядом в салоне Гринхолла. Художник изобразил их молодыми, когда им было столько же лет, сколько сейчас Джонатану. Взяв жену за руку, он подошел с ней к портретам и сказал, обращаясь к ним:

— Это Элизабет, моя жена.

Элизабет вскрикнула от неожиданности, потому что эй почудилось, что лица на портретах улыбнулись. Так или иначе, но Джонатан понял, что его родители, такие красивые, такие молодые, приняли его жену и полюбили ее.

Потом он показал жене их спальню. Комнату заливал лунный свет, проникавший через два окна с раздвинутыми шторами и танцевавший на кружевах между облаками и ветром.

Возле кровати горела свеча в подсвечнике.

Молодая служанка, сопровождавшая хозяев, держа в руке светильник, освещавший им путь, поклонилась и бесшумно исчезла, оставив свечу на столике. Она выглядела взволнованной, но Джонатан и Элизабет этого не заметили. Они молча стояли посреди комнаты, держась за руки, растерянно оглядываясь и прислушиваясь непонятно к чему.

Слева через приоткрытое окно доносилось щебетание ночных пичуг. Совсем рядом с домом заливался соловей, время от времени замолкавший, чтобы прислушаться к другим соловьям, певшим немного в стороне от дома и гораздо дальше, в чаще заброшенного сада. Голоса самых далеких певцов доносились все тише и тише, и в конце концов их пение тонуло в тишине. К концерту хрустальных голосов добавлялось, не смешиваясь с ним, негромкое щебетанье каких-то других птиц, названия которых были

неизвестны Джонатану. Это были большие птицы с черной спинкой и голубой грудкой, обосновавшиеся на самых высоких деревьях, где они перекликались друг с другом, обмениваясь дневными впечатлениями.

Время от времени сонный ветер с длинным тяжелым вздохом бросал в комнату запах шафранных азалий, к которому примешивались ароматы жасмина и гвоздики. Это были влажные и теплые ароматы, одновременно нежные и сильные, к которым добавлялись запахи земли, моря, жизни.

Элизабет прошептала:

— Как это прекрасно…

И тогда Джонатан сделал то, на что не осмеливался в Англии даже в вечер их свадьбы: он принялся освобождать жену от одежды. Удивленная и взволнованная, она неподвижно стояла посреди комнаты; он же медленно перемещался вокруг нее. При этом ухитрился прищемить себе палец какой-то застежкой и запутаться в многочисленных шнурках. Элизабет засмеялась и стала помогать ему. Вскоре, когда она продолжала терять одну за другой свои многочисленные оболочки, они смеялись уже вдвоем.

Оставшись перед ним обнаженной, она замолчала. Голубой свет луны и золотистые блики свечи волнами скользили по белоснежной коже замершей на месте Элизабет, словно два сна, смешивающихся друг с другом, чтобы породить третий, удивительный сон, дитя огня и неба, терпеливо ожидавшее, когда Джонатан заключит, наконец, его в объятья.

Подняв руки, она извлекла из волос шпильки, и ее волосы рассыпались по плечам и спине. В это время Джонатан тоже раздевался, не сводя глаз с жены. У нее были круглые полные груди, стройные бедра, длинные ноги, небольшие, словно у ребенка, изящные ступни. Волосы ее волной струились по телу, голубые и золотистые лучики света отражались, множились в каждом волоске. Вставший перед ней Джонатан осторожно привлек ее к себе и нежно обнял. Она тоже обняла его, опустив при этом голову ему на грудь. Каждый из них ощущал тепло соседнего тела, и над слившимся в одно целое теплом двух тел Джонатан почувствовал прохладу волос Элизабет. Его руки скользнули по телу жены; он поднял ее и отнес к постели.

В это мгновение служанок охватило сильное беспокойство. Ведь они приготовили для юной четы голубую комнату. А в комнате с единорогом никто не застелил кровать и не зажег там свечи…

Элизабет спала, слегка повернув голову набок на голубой подушке. Ее волосы были заплетены на ночь в виде косы, извивавшейся длинной змеей на простыне. На виске едва заметно поблескивали капельки пота.

Вызванный из Донегола доктор посоветовал ей больше отдыхать и регулярно есть сырое мясо.

Она содрогнулась от отвращения, и Джонатан не стал настаивать. Он знал, основываясь на собственном опыте, что не всегда стоит следовать рекомендациям врачей. Когда он смотрел на Элизабет, казавшуюся такой миниатюрной и хрупкой в просторной постели, в большой комнате, в этом огромном холодном здании, он понял, чем больна его жена и от чего скончались его родители. Чтобы выдержать тяжесть этих стен, темноту коридоров и лестниц, гнетущий сырой воздух, поднимающийся из сводчатых подвалов и осыпавшихся подземелий, а также тень громадных деревьев, таких же древних, как и каменное строение, которое они лелеяли, словно каменное яйцо, нужно было быть созданным из камня и дерева, как этот дом, быть таким же прочным, как он, иметь такое же надежное тело, как у него.

Его родители не смогли противиться и были раздавлены. И Элизабет, несмотря на свою жизнерадостность и его любовь, оказалась не в состоянии выдержать. Ей нужно было покинуть Гринхолл. Они должны были

вместе покинуть Гринхолл. Понимание этого могло растерзать душу. Но Джонатан сразу же решил, что не может поступить иначе. Он поговорит с Элизабет, когда та проснется.

Уже несколько мгновений он слышал приближающийся стук копыт лошади, скачущей по торфяной дороге. Несмотря на то, что дорогу снова и снова, через каждые пять лет, мостили камнями, торф быстро поглощал их. Лошадь промчалась под окнами и остановилась перед главным входом. Через несколько секунд раздался грохот дверного молотка.

По дому как будто пронеслась тревожная волна. Разбуженные слуги метались по коридорам, постепенно скапливаясь возле дверей, в которые продолжал стучать неизвестный посетитель.

Джонатан первым устремился к двери, двигаясь так быстро, что полы его халата не поспевали за ним. Охваченный яростью, он был готов уничтожить того, кто посмел разбудить Элизабет.

За дверью стоял подросток с всклокоченной рыжей шевелюрой и кирпично-красной физиономией. Джонатан признал в нем сына молочника из Донегола.

Мальчик быстро заговорил, не позволив хозяину открыть рот:

— Ох, господин, я как раз хотел увидеть вас! Вы должны немедленно поехать со мной! Патрик Килиан и Дермот Мак-Крэг вот-вот поубивают друг друга! Это что-то ужасное! Едем скорее!

— Они что, подрались? Где? Почему?

— Они на острове Сент-Альбан. Мак-Крэг загнал туда своих коров во время отлива, но Патрик заявил, что пастбище на острове отдано его ферме. А Мак-Крэг сказал, что за последние двадцать лет Патрик не сводил туда ни одного теленка. Траву на острове нужно использовать, Господь не хочет, чтобы она пропадала без пользы. К тому же, Патрик католик, а Мак-Крэг — оранжист, и у каждого полно друзей! Все это кончится очень плохо… Отец сказал мне: «Только сэр Джонатан не позволит случиться страшному. Быстрее отправляйся за ним!»

— Я еду! — бросил Джонатан.

Конюх уже кинулся седлать Хилл Боя, самую быструю лошадь, великолепного белого пони из Коннерамы. Через пять минут Джонатан уже скакал к океану. Он знал обоих фермеров, они были с его земель; знал он и остров Сент-Альбан с развалинами монастыря и полуразрушенной башней. Остров входил в его владения, но он еще ни разу не посещал его, так как на нем никто не жил и там не было хозяйственных построек.

Пока Хилл Бой мчал его к берегу, он молился, чтобы Бог не дал ему опоздать. С времен завоевания Ирландии Плантагенетами ирландцы не переставали бороться за свою свободу и свои права. Владельцам поместья обычно удавалось предотвратить серьезные беспорядки на своих землях. Это было весьма сложно, поскольку Донегол, как и другие северные графства, после казней и депортаций, последовавших за восстанием О’Нейла[1], были заселены по приказу короля Якова I[2] англо-шотландскими колонистами-арендаторами протестантской конфессии. Их потомки, находившиеся на землях Джонатана, обладали правами, которых были лишены католики. Они могли богатеть и часто занимали более высокое социальное положение, что было недоступно коренным ирландцам. Их было не очень много, но достаточно, чтобы поддерживать у католиков постоянное ощущение несправедливости. Недовольство католиков проявлялось драками на база-

[1] Восстание ирландцев против английской власти в Ольстере, подавлено в 1608 году.

[2] Яков I (1566—1625) — с 1567 г. король Шотландии, а позднее также Англии и Ирландии (1603—1625).

рах или в кабаках; как правило, дальше дело не заходило, так как в пределах владений Гринов, благодаря их разумной политике, католики были несколько менее обижены, а протестанты обладали менее выраженными преимуществами, чем в других частях Ирландии.

Лендлорд Джонатан, ирландец душой, но сторонник протестантизма и законопослушный англичанин, спешил, подгоняя Хилл Боя, в надежде успеть к месту конфликта до того, как разгорится пламя насилия. На нем были белые обтягивающие брюки, такие же белые сапоги и белая шерстяная рубашка ручной выделки, тонкая, словно из индийского шелка. Весь белый на белой лошади, он промчался по зеленой долине, не выбирая дороги, преодолевая ручьи и зеленые ограды, и ему потребовалось меньше часа, чтобы доскакать до побережья. На берегу, напротив острова, собралось несколько сотен человек, включая женщин и детей. Мужчины крепко сжимали в мозолистых руках деревянные вилы, лопаты, дубины и просто палки. Толпа делилась на две части узким, в несколько шагов, промежутком, своего рода «ничейной землей», по которой белый всадник проехал до самой воды, где и остановился. Первым его приветствовал оркестр протестантов из трубача и барабанщика; ему сразу же ответили флейта и скрипка музыкантов-католиков.

— Хорошо, хорошо! — крикнул Джонатан. — Вы прекрасно играете, только держитесь подальше друг от друга. Но кто отвезет меня на Сент-Альбан?

Вода прилива стояла очень высоко. С десяток лодок перемещались по проливу, одни к острову, другие к материку. Первые были заполнены готовыми к схватке бойцами, на вторых оставался только один гребец. Когда одна из них приткнулась к берегу, Джонатан запрыгнул в нее, сопровождаемый мужчиной-католиком, хотя гребец на лодке был протестантом.

Весь в белом, Джонатан, стоявший на носу лодки, смог, наконец, взглянуть на приближавшийся остров. У него внезапно прервалось дыхание. Ему почудилось, что увиденное им было создано в этом пространстве и этом времени только сейчас и только для того, чтобы он увидел созданное, и что только ему было дозволено видеть это, хотя то же самое должны были видеть и все остальные. Остров открылся для него, представ перед ним в своей совершенной истине, и только ему повезло увидеть его и понять.

Дар красоты не мог просуществовать дольше, чем длился его взгляд. Небо над ним было безупречно синим, каким никогда не бывает в Ирландии. Застывшая поверхность моря сверкала, словно зеркало. Все вокруг замерло, застыв в неподвижности. Для взгляда человека, стоявшего на носу лодки, весь пейзаж представлял собой сочетание идеальных изогнутых линий. Если бы лодка продвинулась вперед всего на один метр, все мгновенно изменилось бы. Поняв это, Джонатан увидел все сразу: под куполом девственно чистого неба в протянутом ему кубке моря лежал изумрудный остров, изысканный, словно грудь юной девушки, и на его вершине виден был сосок, образованный руинами аббатства с их приземистой башней. У далекой линии горизонта темно-синее море соединялось с более светлым небом, и между морем и небом лежал остров.

Волшебное зрелище продолжалось одно мгновение, но Джонатан успел увидеть его. Затем поднялся ветер, по небу помчались тучи, океан заволновался, остров лишился своей идеальной формы. Лодка обогнула край острова. Со стороны океана берег плавно спускался к воде. На этом склоне, точно посередине между руинами монастыря и кромкой прибрежной пены, возвышались шесть каменных призм высотой с взрослого мужчину. Шесть камней образовали круг с промежутком на месте седьмого; находившийся на этом месте камень упал внутрь круга и походил теперь на стрелку каменных часов. За тысячи лет дыхание океана оставило на камнях

неизгладимые следы; лишайники, питающиеся веществом камней, а также светом и ветром, обволокли камни живым покрывалом. Такие же древние, как сами камни, лишайники собирались просуществовать на камнях до конца времен. На самом высоком из камней монахи обители установили когда-то железный крест, но сейчас от него сохранилось только углубление цвета ржавчины.

Когда Джонатан спрыгнул на берег с лодки, он уже почти не думал о двух фермерах, готовых к драке. Заметив его появление, они стояли, повернувшись к нему, по-прежнему готовые к схватке. Обнаженные до пояса, они опирались на лопаты, вертикально воткнув их в землю. За каждым из них плотной группой держались их сторонники. Десятки глаз неотрывно следили за подходившим Джонатаном. Джонатан остановился и посмотрел на них. Он уже знал, каким будет его решение, которое одновременно разрешит конфликт.

— У вас нет причины драться из-за острова, — сказал он. — Остров будет моим. Я собираюсь жить здесь. И я построю здесь свой дом.

* * *

Он приказал, чтобы принесли веревку, и сразу же, не сходя с места, обозначил с помощью какого-то мальчишки контуры здания. Он уже видел его внутренним взором, он *помнил* его, как будто увидел с лодки в тот миг, когда остановились время и пространство. Строение возвышалось на гребне возвышенности, там, где сохранились руины монастыря, здание, сверкавшее белизной между зеленым и синим.

Первой проблемой оказалось отсутствие поблизости карьера с белым камнем. Но он видел свой дом белым, поэтому ему требовался только белый камень.

И камня ему нужно было много, потому что план он набросал грандиозный, не обращая внимания на крестьян, уже забывших о конфликте и с улыбкой следивших за своим лендлордом, охваченным типично ирландским безумием.

Дом должен стоять вплотную к сохранившимся развалинам монастыря, фасадом к материку. Таким образом, развалины будут защищать его от океанских ветров.

Разумеется, Джонатан хотел увидеть дом, как и дорогу, как можно быстрее. И он нашел, где взять камень. Его подвозили небольшими партиями на повозках или на вьючных лошадях по построенной им дороге, которую протянули до берега. По распространившимся слухам, его добывали на другом краю Ирландии. Некоторые говорили, что сэр Джонатан был способен привозить его даже из Америки. Когда любопытные пытались уточнить происхождение камня у сопровождавших груз людей, то те отвечали, что получили его от предыдущих поставщиков, которые, в свою очередь, получили его еще у кого-то. Таким образом, никто не мог выяснить, где начиналась эта цепочка.

Камень выглядел великолепно, прочный и в то же время достаточно мягкий, чтобы приехавшие из Франции каменотесы могли обрабатывать его пилой. Такого в Ирландии еще не видели.

Вторая проблема была связана с морем. Во время прилива можно было добираться до острова только на лодках, тогда как во время отлива на остров можно было проехать верхом или на повозках, так как оставшаяся вода была не глубже, чем по колено человеку. Тем не менее, северный ветер часто создавал между материком и островом сильное течение, делавшее путь через пролив опасным мероприятием. Поэтому Джонатан решил

построить через пролив дамбу, чтобы дорога подходила с суши прямо к дому. Он начал строительство дамбы одновременно с двух концов, с острова и суши. Однако соединить два отрезка дамбы никак не удавалось, так как каждый раз прилив создавал в проливе бурный поток, разрушавший недостроенное сооружение.

Строительство дома шло более успешно. Белоснежный фасад с полутора десятками окон освещал своим сиянием темно-зеленую лужайку. Остатки монастырской башни оказались встроенными в северо-западный угол дома. Для равновесия Джонатан построил еще одну башню на юго-западном углу; здесь здание продолжалось на уровне первого этажа библиотекой, над которой помещалась спальня Элизабет. Изогнутые контуры в плане здания явно преобладали над прямолинейными, так что широкие окна спальни выходили на восток, на юг и на запад. Джонатан пояснил Элизабет, что, таким образом, в ее комнате солнце будет с утренней зари до вечерних сумерек.

С задней стороны дома остатки монастырских стен сровняли с землей и на этом фундаменте возвели строение для прислуги.

Элизабет часто появлялась на острове. Она с восхищением и улыбкой наблюдала за хлопотами мужа. Она все еще кашляла, хотя и немного. Но быстро уставала. В начале 1829 года она сообщила Джонатану, что тот скоро станет отцом.

Именно в это время строительство дома столкнулось с третьей проблемой. И виновником оказался Клок Канаклок.

* * *

От монастырской башни сохранились только две круглые комнаты на первом и втором этажах. Джонатан восстановил их и привел в жилой вид. Войти в них можно было только сверху, через дверь, расположенную на уровне второго этажа нового здания. Комнату на первом этаже башни, темную и прохладную, Джонатан решил использовать как кладовую. Таким образом, получалось, что когда кухарке требовался горшок муки или мешочек соли, она была вынуждена подняться из кухни на второй этаж, войти в башню, спуститься на первый этаж в кладовую, снова подняться на второй этаж и, наконец, спуститься к себе на кухню. Большинство хозяев в этом случае вряд ли стали проявлять заботу о кухарке, однако Джонатан не только обладал способностью ставить себя на место другого человека, но и предвидел ожидающие его трудности. Он представил, как этот путь то и дело придется проделывать старой Кайтилин, кухарке Гринхолла, задыхающейся, с больными ногами, и решил пробить в стене башни вход в кладовку на уровне земли, прямо из находившейся рядом кухни.

Работа оказалась нелегкой. На третий день мастер, каменщик-протестант Джошуа Крамби из Тиллибрука, наткнулся в толще стены на узкую вертикальную полость, в которой стоял скелет с длинными волосами, спадавшими ниже пояса. На руках скелет держал, прижимая к груди, то, что оставалось от скелетика ребенка. Об этом все смогли узнать только из рассказа Джошуа Крамби, потому что он, выйдя из ступора, заорал на всю округу; оба скелета, большой и маленький, рассыпались от крика, и прибежавшие свидетели увидели лишь кучу пыли с обломками костей и груду спутанных волос.

Протестанты торжествовали. Какие свиньи эти католические монахи! Все, что о них рассказывают, — правда, и далеко не вся правда! Католики отвечали: все, что можно было увидеть, — это косточки для отбивных котлет, судя по всему, из баранины. Все прочее — это выдумки, связанные

с вечной недоброжелательностью протестантов. А то, что у овцы была черная шерсть, объясняется просто: это была овца английской породы. Правда, не очень понятно, что она делала в ирландском монастыре.

Драка, предотвращенная Джонатаном на пастбище, разразилась на стройке. Чтобы разогнать дерущихся, ему пришлось воспользоваться обрезком доски. Потом он бережно собрал с помощью лопаты кости и волосы да сложил все в мешок. Выкопав могилу на заброшенном кладбище в нескольких шагах от развалин аббатства, он послал кюре в Тиллибрук записку с просьбой приехать на остров и совершить обряд над останками, прежде чем их похоронят. Кюре ответил, что он не собирается молиться над останками овцы. Тогда Джонатан пригласил пастора, но католики-каменщики не позволили ему приблизиться к могиле, заявив, что овца, даже черной английской породы, несомненно была католичкой, поскольку ее нашли в монастыре. После непродолжительной вспышки гнева Джонатан сам произнес короткую молитву над могилой, опустил в нее мешок с останками и засыпал мягкой ирландской землей. За похоронами молча наблюдала толпа строителей.

Когда он бросил на могилу последнюю лопату, Джошуа Крамби охватили страшные судороги, так что его друзья были вынуждены лечить беднягу множеством стаканчиков виски. Поздно вечером больной, вынужденный выйти на улицу для удовлетворения естественной потребности, с дикими воплями ворвался в барак, где ночевали строители. Его зубы стучали так сильно, что объяснения никто не мог понять. Только после очередного стаканчика виски он смог членораздельно рассказать, что увидел, как с кладбища вышла процессия монахов, и тот, который шел первым, держал под мышкой свою голову.

— Святой Канаклок! — дружно воскликнули католики.

Самый старый из строителей, Киллин Лафферти из Бейликавани, имевший всего два зуба, но отличавшийся большой мудростью, осмелился выглянуть наружу. Но ничего не увидел.

На следующий день Джонатан попытался успокоить взбудораженные умы католиков, сильно перепуганных, но сохранивших любознательность. Однако строительный пыл заметно ослабел.

Киллин Лафферти из Бейликавани сказал ему:

— Клок Канаклок недоволен… Можете спросить у Джошуа Крамби. Он хорошо разглядел, что монах держал свою голову под левой рукой. А это значит, что он был недоволен. Если все в порядке, то он носит голову под правой рукой… Его не устраивает, что эту овцу с ее невинным ягненком, если, конечно, это была овца, зарыли в землю, словно мешок с гнилым картофелем, проводив всего лишь простым крестным знамением. Да, Клок Канаклок недоволен, и он еще покажет нам свое недовольство.

Наступившие затем дни были заполнены происшествиями на стройке. Сначала обрушились леса. Потом каменщик расколол блок, который обтесывал. Наконец, и это было наиболее характерным, приготовленный цемент перестал схватывать.

Строительство перестало продвигаться. Джонатан рвал и метал. Он хотел, чтобы дом был готов к тому моменту, когда его сын появится на свет. Он поехал к кюре в Тиллибрук и убедил того, что кости, похороненные им, не принадлежали овце. Он сам держал в руках череп взрослого человека и часть черепа ребенка. Если они были католиками, то не могли покоиться в мире после единственной молитвы, которую он, протестант, прочитал над их могилой.

Кюре внимательно посмотрел на Джонатана и понял, что тот был искренен. Он положил на стол трубку и поехал с Джонатаном.

После того как преклонил колени у камня святого Альбана, он прочитал перед собравшимися рабочими молитву поминовения над свежей могилой, в которой лежали древние кости. Потом он окрестил ребенка, дав ему имя Патрик.

Когда кюре закончил, Джошуа Крамби пал перед ним на колени и попросил крестить его по правилам католической религии. После того, что он увидел ночью, он перестал сомневаться, какая вера является истинной.

Католики графства Донегол потом говорили, что это и было самым великим чудом святого Канаклока.

* * *

На этом неприятные происшествия закончились, и в конце лета 1829 года забрезжил день, когда строители должны были закончить работы и дом будет готов принять Элизабет. Дорога к этому времени подошла к дамбе, но она все еще оставалась незавершенной, и приливные волны с рычанием прорывались между двумя ее обрывками.

13 сентября Киллин Лафферти, забравшись на крышу, воткнул в самую высокую трубу букет из папоротника и подбросил в воздух свой колпак, испустив на гэльском вопль, очень похожий на крик петуха, наглотавшегося толченого стекла.

Джонатан рассчитался со всеми строителями дома и открыл ящики, уже несколько дней лежавшие на берегу. В них находилось невероятное количество виски и пива. На лодке с материка доставили овсяные лепешки, холодную отварную баранину, жесткую, как подошва, и огромный котел сваренной в мундире картошки, способной не только подкрепить пьющих, но и усилить у них жажду. В результате к вечеру большинство мужчин лежали плашмя. Немногие, сохранившие вертикальное положение, мокли под дождем с блаженными физиономиями. Джошуа Крамби пришел в себя только в воскресенье, как раз к началу мессы.

В Гринхолле все давно было готово к переезду. Утром 23-го тяжело нагруженный караван тронулся в путь. Во главе двигался кабриолет, которым управлял Джонатан; рядом сидела Элизабет. За ними тянулась дюжина повозок с самым необходимым, чтобы прожить первое время — с мебелью, коврами, заполненными съестным ящиками и сундуками с посудой, бельем да разной мелочью. В конце каравана двигались слуги; на верховых лошадях ехали конюшенные.

Две кровати с единорогами водрузили на самую большую повозку. На втиснутом между кроватями кресле устроилась повивальная бабка из ближайшей деревни. Джонатан потребовал, чтобы она участвовала в переселении и не отходила от Элизабет ни на шаг, несмотря на то, что роды ожидались только через две недели. Из-за дождя кровати, кресло и сидевшая в нем бабка были накрыты брезентом.

Ветер забрасывал под козырек кабриолета брызги дождя, смешанного с туманом, заставляя блестеть розовые щеки Элизабет. Она выглядела счастливой. Ее беременность с первых же дней сопровождалась хорошим настроением и прекрасным аппетитом, так что она заметно пополнела со всех сторон. На середине дороги к острову у нее начались схватки. Джонатан остановил караван и приказал извлечь из-под брезента повивальную бабку. Спрыгнув с повозки, она подбежала под дождем к кабриолету. Пощупав живот Элизабет и забравшись ей под юбку, она потребовала немедленно вернуться в Гринхолл. Джонатан, стоявший под струями дождя, держал лошадь в поводу. Он вскочил в кабриолет и погнал лошадь к морю. К острову… Его сын должен был родиться на острове. Если бы он даже поторопился выбраться на свет, все равно возвращаться назад было невоз-

можно. Стоя на кабриолете, держа в одной руке вожжи, а в другой хлыст, Джонатан подгонял лошадь одновременно ласковыми словами и яростными криками, ободрял ее пощелкиванием языка и иногда хлестал по мокрым бокам, с которых стекала дождевая влага. Воодушевленная его стараниями лошадь мчалась по новой дороге, хватая воздух и дождь своими желтыми зубами. Под пологом кабриолета трясущаяся от испуга повивальная бабка пыталась без особой необходимости успокоить Элизабет.

За ними в беспорядке устремился весь караван, растянувшийся почти на километр. Сразу за кабриолетом во главе процессии ехал слуга на Хилл Бое. Остановившись на берегу, Джонатан увидел, что море отступило и лодки оказались на мели метрах в двадцати от воды. В проране плотины крутились опасные водовороты, иногда смыкавшиеся с чмоканьем, похожим на громкий звук поцелуя. Джонатан вскочил на Хилл Боя, поднял к себе Элизабет и коленями послал коня в воду. Налетавшие с моря порывы сентябрьского ветра подхватывали водяную пыль и струи дождя и несли их почти горизонтально, швыряя всаднику и его ноше в лицо и грудь. Казалось, что дождь старается смыть с них малейшие следы не только пыли материка, но и континентального воздуха. И ветер, и дождь в течение долгих дней и ночей согревались на спине Гольфстрима, великого морского дракона, устремившегося, разинув пасть, на Ирландию, словно в попытке проглотить ее. Туманное дыхание дракона, насыщенное морской солью и ароматом водорослей, дымилось на лошадином крупе и на теле всадника. Элизабет, прижавшаяся к мужу, обхватившая его обеими руками и вдыхавшая мужской и конский запах, промокла до нитки. Подвергаясь безумной тряске, разрываемая болью, тем не менее, она была счастлива и чувствовала себя в безопасности. Ей казалось, что она сама рождается в эти мгновения. Хилл Бой уверенно продвигался вперед, преодолевая свирепые порывы ветра и моментами глубоко погружаясь в воду. С противоположной стороны острова доносился яростный рев бури, вынужденной отступать вместе с отливом. Наконец копыта лошади застучали по камням на берегу острова. Элизабет закричала. Джонатан опустил жену на землю, соскочил с коня, снова подхватил ее на руки, ворвался в дом, с грохотом взлетел по лестнице и, вбежав в комнату, опустил жену на белоснежный ковер, пока еще единственный здесь предмет обстановки. Встав перед ней на колени, он принял ребенка и громко провозгласил его имя и титул: сэр Джон Грин. Потом он поздравил сына с приходом в мир и осторожно пошлепал его, чтобы тот заплакал.

В камине уже три дня лежали дрова. Внезапно по ним пробежали язычки огня, и дрова ярко вспыхнули. Так случилось, что сам собой загоревшийся огонь возвестил появление сэра Джона Грина в своих владениях.

* * *

По очертаниям остров походил на выступающее из воды бедро женщины, лежащей в ванне. Обращенный к материку берег, поднимавшийся мягкой округлостью, напоминал колено, тогда как противоположный берег спускался к океану длинным плавным склоном.

Западный ветер, дувший шесть дней из десяти, использовал остров как своего рода трамплин, служивший ему забавой. Разогнавшись на океанском просторе, он устремлялся между двумя небольшими островками и тут же налетал на Сент-Альбан; пронесшись по поднимавшемуся склону, он взмывал к зениту. Под его постоянным давлением не могла выжить никакая растительность высотой больше нескольких сантиметров. Травинки оказывались ощипанными, а маргариткам приходилось расти горизонтально.

Простак-садовник Гринхолла, переселившийся на остров, удивился, когда его лук улетел куда-то; попытавшись спасти капусту, привязывая ее к воткнутым в землю палочкам, он тоже потерпел неудачу. Он печально пожаловался хозяину на хулиганские выходки ветра. Сэр Джонатан поднялся на площадку на вершине восстановленной башни и, подобно своему дядюшке герцогу Веллингтону, осмотрел поле, на котором должна была развернуться битва.

В тот день ветра почти не было. Длинные полосы легкого тумана медленно извивались над сушей и над водой. Земная твердь и поверхность моря сливались в единое пространство и дымились, словно в первый день творения. Водяные щупальца океана проникали в континентальный массив, расчленяя его на островки, сразу же отправлявшиеся в неподвижное плавание. Сэр Джонатан почувствовал, что остров под его ногами плывет и в этом плавании, продолжающемся с начала времен, его сопровождает все творение. Остров посреди мира, дом на его вершине, он сам на макушке башни. И ничто из этого не было случайным. Он пришел на остров и построил здесь дом, потому что должен был сделать именно это, так как у него имелось задание, которое требовалось выполнить здесь. Какое именно задание — он не знал, может быть, только потому что жил именно в этом месте.

Туман принес с собой тепло Гольфстрима, влажное дыхание огромного дракона, прикованного к Америке вблизи от экватора и безуспешно тянущегося к северу через половину мира в надежде вцепиться зубами в девственные полярные льды, постепенно таявшие по мере его приближения.

С приливом туман должен был исчезнуть. После этого и земля, и вода обязаны были вернуть себе реальность. Запах выброшенных на берег водорослей смешался для сэра Джонатана с почудившимся ему запахом тропического гумуса. Он услышал крики пестрых попугаев, увидел цветы величиной с тарелку. Он понял, в чем заключалась его обязанность перед нагим островом: он должен был одеть его. Он должен был вырастить здесь все деревья мира. Но ведь ветер не позволял расти здесь даже маргариткам… Что ж, он будет сражаться с ветром.

Весь в белом, на макушке белой башни, четко выделяясь на фоне серых мятущихся туч, сэр Джонатан, словно капитан на мостике судна, протянул руку и, указав нужные направления, отдал приказания своему воображаемому экипажу. Ветер набросился на него, обвился удавкой вокруг шеи, втиснулся ему в рот и попытался вырваться изнутри наружу через уши. Сэр Джонатан рассмеялся и вдохнул ветер до самого основания легких.

На северо-западной оконечности острова находился небольшой скалистый массив, возвышавшийся на несколько метров над землей и морем. Терзаемый бурями, испещренный нишами и причудливыми полостями, он, подобно органу, исполнял мелодии, различавшиеся в зависимости от направления ветра. Рыбаки северной части залива дали этому массиву название Голова, тогда как рыбаки с юга называли его Пальцем. На эти скалы и опирался владелец острова при создании линии обороны.

Вскоре вереницы тяжело груженных телег снова потянулись к острову. На этот раз происхождение камня было известно. Сэр Джонатан приказал заложить карьер в нескольких километрах от берега, и там стали добывать местный серый камень. Из этого камня он приказал построить стену, опирающуюся на прибрежные скалы и такую же прочную, как они. Стена окружила остров, прерываясь только в одном месте, чтобы оставить проход для построенной сэром Джонатаном дороги, пока еще разорванной оставшимся в плотине прораном. Сент-Альбан превратился в укрепленный остров. Это был первый случай в истории, когда крепость воздвигли для защиты от ветра.

Затем сэр Джонатан начал посадки. Он сам наметил план аллей, обсаженных разными породами деревьев, растущих на севере Европы, на востоке, в Средиземноморье и даже в Гималаях, расположив их с учетом цвета их листвы и формы кроны, но не обращая внимания на родной им климат. В своего рода теплой и влажной оранжерее, возникшей под защитой стены, буйно разрослись самые разные деревья как с севера, так и с юга. Преобладали среди них рододендроны разного цвета; они образовали группы в местах изгиба аллей и широкой полосой повторяли контуры защитной стены вокруг острова. Сэр Джонатан расчистил заброшенное монастырское кладбище и устроил на его месте газон, над которым возвышались только камень святого Альбана и несколько других надгробий, столь же истерзанных временем.

На стороне острова, обращенной к материку, стоял дом, на фасаде которого находилась двойная входная дверь, к которой дугой поднимались ступеньки. От основания лестницы отходила аллея, спускавшаяся в виде буквы S по крутому склону к началу плотины. Джонатан обсадил аллею каменными дубами с вечнозеленой листвой, потому что ему не хотелось видеть скелеты деревьев всю зиму. Это было рискованной затеей, потому что эти деревья нуждаются в тепле и сухой почве. Даже если бы они и прижились, им потребовалась бы добрая сотня лет, чтобы вырасти. Однако они прижились и пошли в рост с такой же скоростью, как спаржа. По сторонам аллеи склон представлял собой газон, на котором свободно резвились несколько пони, один ослик и дюжина барашков ангорской породы с весьма независимым характером; сэр Джонатан называл эту породу мускатными баранами.

Однажды после обеда он шел по поперечной аллее с обратной стороны здания между кольцом дольменов и скалистым мысом, ласково поглаживая верхушки саженцев. Неожиданно он остановился и подозвал садовых рабочих. Он приказал им выкопать на аллее во всю ее ширину глубокую траншею протяженностью более двадцати метров. Затем за работу взялась бригада каменщиков, и через несколько недель на этом месте появился туннель, в который уходила аллея, чтобы вскоре снова выйти на поверхность. Никто не понимал, с какой целью был построен этот туннель.

* * *

Когда у Гризельды приближался пятнадцатый день рождения, у нее неожиданно возник вопрос: для чего был построен туннель? Подходил к концу май, месяц удивительно красивой весны, с просторного синего неба солнце обволакивало остров покровами света, в котором сверкали примулы. Весна переполняла также тело и разум Гризельды, заставляя расцветать и то, и другое. Гризельда смотрела на себя и на мир и удивлялась изменениям мира и возникшему ощущению, что она тоже изменилась. Ей нравились эти изменения. Она думала, что такой и должна быть жизнь: непрерывная череда дней, каждый из которых приносит нечто новое. Она промчалась вприпрыжку по туннелю. С этим сооружением она была знакома с того момента, когда впервые начала знакомиться с окружающим миром, и она никогда не думала о нем. Он существовал потому, что существовал, вот и все. И вдруг она сообразила, что обычно туннель предназначается для чего-то, а этот ни для чего не годился. Она еще несколько раз пробежала по туннелю в ту и в другую сторону. Прошла над ним по дорожке, остановилась, огляделась и все равно ничего не поняла. Она помчалась к дому, взлетела по лестнице на второй этаж и вихрем ворвалась в библиотеку. Задыхающаяся, сгорающая от любопытства, она крикнула:

— Отец, зачем нужен туннель?

Потом, отдышавшись и догадавшись, что ее внезапное появление требует объяснения, смущенно добавила:

— Прошу извинить меня…

И сделала церемонный реверанс.

Сэр Джон Грин сидел за письменным столом, заваленным открытыми книгами, папками и рукописями, находившимися в таком же беспорядке, как взлетающая с пляжа стая чаек.

Он поднял голову, снял очки и бросил на девушку взгляд, полный нежности.

— Я рад, что ты задала себе этот вопрос, — сказал он. — Ни одна из твоих старших сестер не задумалась об этом… Я тоже давно размышлял над вопросом: почему твой дед приказал вырыть этот туннель посреди парка? И вот однажды…

— Вы поняли, для чего он нужен? Он предназначен для чего-то?

— Не знаю, — задумчиво промолвил сэр Джон. — Я только понял, что если у меня возникает необходимость задавать вопросы, то я должен догадаться, что не всегда можно получить ответы…

Он встал, подошел к окну, посмотрел на деревья, на небо, погладил бороду и обернулся к Гризельде.

— Возможно, что туннель ни для чего не нужен… Мне же он понадобился для того, чтобы понять, что я не всегда могу узнать то, что хочу…

Вздохнув, он вернулся к письменному столу, уселся в кресло и принялся за прерванную работу. Во время исследования у него возникали бесчисленные вопросы. Что бы он ни говорил, он никогда не соглашался с тем, что не получал ответа. Он заменял неразрешимые проблемы другими вопросами. Для удовлетворения его стремления к знанию требовалось бесконечное терпение. И это было очень нелегко. Но такое поведение вполне соответствовало его темпераменту. Он понимал, что продвижение к цели с неопределенным результатом могло занять всю его жизнь.

Гризельда попятилась. Только оказавшись возле двери, она заметила, что в кабинете находилась Элен, сидевшая спиной к окну за невысоким столиком над большим словарем. Разумеется, она не понимала, почему Гризельда так интересуется туннелем. Конечно, в том случае, если она услышала сестру. Ей скоро должно было исполниться шестнадцать. Она родилась вместе с Гризельдой на острове Сент-Альбан, как и их младшая сестра Джейн. Старшие сестры, Элис и Китти, родились в Англии.

Через несколько дней, когда Гризельда уже забыла о разговоре с отцом, она неожиданно получила ответ на свой вопрос — по крайней мере, ответ, показавшийся ей удовлетворительным.

Уже три дня подряд стояла солнечная погода; на четвертый день утром прошел дождь, но скоро снова засияло солнце. Гризельда вошла в туннель сразу после полудня. В нем было темно и сыро; по мере того, как она углублялась в туннель, охвативший ее холод становился сильнее. Когда через несколько шагов она вынырнула на поверхность, ей показалось, что она охвачена пламенем.

Сэр Джонатан обсадил аллею на выходе из туннеля кустами дрока из графства Анжу. За половину века, благодаря благоприятному климату острова, они превратились почти в деревья, разросшиеся так буйно, что аллея оказалась зажатой между двумя сплошными золотыми стенами цветущего дрока. Над дальним концом золотой аллеи на синем небе, усеянном белыми облаками, пылало солнце. Эти краски и аромат цветов дрока, пропитанных солнечными лучами, подействовали на Гризельду как бесшумный взрыв, такой сильный, что ее тело заполнилось светом и запахом. Задержав дыхание, она инстинктивно вскинула вверх руки, чтобы полнее

принять этот дар. Потом выдохнула и сразу же быстро задышала, будучи не в состоянии насытиться.

Прислонившись к стенке туннеля, она почувствовала, что покрывавший ее мох тоже был нагрет солнцем. Лучи солнца выплескивали на нее пламя цветов дрока. И она поняла, для чего предназначался туннель. Когда ты выходишь из него, ты внезапно выходишь из ночи и оказываешься в сердце солнечного огня. Сэр Джонатан приказал выкопать туннель только для одного момента, момента выхода из него. По крайней мере, так решила Гризельда. Возможно, она была права. Главной чертой личности ее деда было стремление создавать радость. В том числе и ее радость, она была уверена в этом. Она закрыла глаза и снова открыла их, чтобы еще раз пережить шок от лавины золотистого света. Потом она медленно подняла взгляд к небу. Небо было синим с белыми облаками, нежным и добрым. В глазах Гризельды цвета моря, обрамленных длинными черными ресницами, цветы дрока отражались, словно золотые точки. Одетая в тонкую льняную рубашку и панталоны с вышивкой под платьем из шотландки, с длинными каштановыми волосами, спускавшимися по спине до пояса, она была счастлива, находясь в этом месте в это время, и понимала это. И она знала, что когда-нибудь ее волосы будут собраны в высокую прическу и только ее муж будет вправе видеть их распущенными. Конечно, он будет принцем. Он приедет с Востока на золотом слоне и увезет ее с собой на край света.

* * *

В том месте, где стена подходила к прибрежным скалам, сэр Джонатан построил башню и дамбу. Узкая восьмигранная башенка поддерживала винтовую лестницу, спускавшуюся к началу короткой невысокой дамбы, к которой во время прилива могли причалить лодки. Сэр Джонатан назвал это сооружение «американским портом», потому что достаточно было сесть в лодку и грести, никуда не сворачивая, чтобы приплыть в Америку…

Наверное, он мечтал о далеких берегах, но так никогда и не покидал страну, в которой его держали любовь и обязанности. После рождения сына Элизабет подарила ему трех дочерей, Арабеллу, Августу и Анну. Именно Элизабет дала им имена, начинавшиеся на А, но так и не смогла объяснить мужу, почему так сделала. Она была счастлива и хорошо чувствовала себя. Пропитанный йодом морских водорослей воздух и солнце острова излечили ее легкие. Она давно перестала походить на юную девушку, на которой женился сэр Джонатан. Она так и не похудела после первой беременности, а последующие только добавили округлости ее фигуре. Но она по-прежнему оставалась красивой и, в особенности, всегда веселой, и муж постоянно подпитывался не только воздухом и красками Ирландии, но и ее жизнерадостностью.

В восемь лет Джон был отправлен в пансионат в лондонскую начальную школу, которую закончил в двенадцать лет, чтобы поступить в Итонский колледж. Он еще не закончил учебу, когда на Ирландию обрушилась самая страшная за все столетие смута.

Сэр Джонатан почти ежедневно посещал земли Гринхолла, чтобы общаться с фермерами. 11 сентября 1845 года один мелкий арендатор, обрабатывавший участок площадью в двенадцать с половиной гектаров, с огорчением показал ему собранный картофель, половина которого начала подгнивать, а вторая половина уже сгнила. Сэр Джонатан слышал о болезни картофеля, начавшейся в Соединенных Штатах и уже свирепствовавшей в Бельгии, Франции и Англии. Ущерб от нее был весьма большим. Но

достигнув Ирландии, болезнь превратилась в настоящую катастрофу. За несколько недель бóльшая часть урожая превратилась в черную вонючую кашу, от которой отказывались даже свиньи.

Ирландские крестьяне, для которых картофель был единственной пищей, начали голодать. Если у кого-то находилось немного денег, они пытались купить что-нибудь съедобное, но скоро продажа еды прекратилась. Обычно все зерно вывозилось в Англию. Фермеры, не выполнившие поставки ржи, овса или пшеницы, не могли выплатить арендную плату и были согнаны с земли, потеряв возможность выращивать картофель для своих семей. Крестьяне могли только провожать взглядами повозки с зерном, доставляемые в порты под охраной солдат. У них, собравших этот урожай, не оставалось ничего, чтобы прокормить себя и свои семьи.

Когда сэр Джонатан осознал масштабы катастрофы, он сразу же отменил арендную плату для своих фермеров, что позволило им использовать собранное с полей для пропитания и даже получить кое-какие деньги за счет продажи излишков. Таким образом, они смогли продержаться до следующего урожая. Но в 1846 году надежды голодающих ирландцев сменились отчаянием, потому что новый урожай картофеля снова погиб, как и в предыдущем году. В 1847 году болезнь картофеля несколько утихла, но урожай оказался небольшим, так как сажать уже было нечего. Уцелевшие фермеры, сумевшие любой ценой сохранить семенной картофель, постарались посадить как можно больше, и урожай 1848 года казался прекрасным. Однако стоило начать собирать картофель, как выяснилось, что болезнь вернулась. Как и в 1846 году, все превратилось в гниль.

Свирепая болезнь привела ирландцев в полное отчаяние. Четыре следовавших один за другим голодных года превратили Ирландию в кладбище. В сельской местности тела одетых в отрепья умирающих валялись повсюду. В городах владельцы лавок перестали открывать свои заведения, так как улицы были завалены телами. Умиравших от голода добивали такие болезни, как тиф и холера. Спасения можно было ожидать только извне. Но Англия, к которой Ирландия обратилась за помощью, вместо продовольствия посылала войска. Организация «Молодая Ирландия» пыталась поднять народ. Группы голодных, похожих на скелеты людей, вооруженных камнями и палками, пытались нападать на военные гарнизоны, но падали от истощения, даже не добравшись до обороняющихся. Лендлорды выгоняли с земли фермеров, неспособных платить, и разрушали их дома. Оставшиеся без дома, голодные целыми семьями умирали в канавах или на торфяниках. Ирландцы, бесконечно любящие свою землю, с ужасом воспринимали жизнь в стране и стремились покинуть ее. Владельцы торговых судов, соблазнявшие их американским раем, набивали трюмы беглецами, словно скотом. Перегруженные корабли иногда тонули, едва успев выйти в море. На продолжавших плавание судах эмигранты, находившиеся в ужасных условиях, умирали сотнями, и их тела выбрасывались в море. Когда наступал штиль, путешествие становилось бесконечным, и в Канаду или Соединенные Штаты приходили совершенно пустые суда, напоминавшие выеденные червями орехи.

К 1850 году, когда тиски голода и эпидемий несколько ослабели, Ирландия не досчиталась трети своего населения.

На протяжении пяти страшных лет сэр Джонатан яростно сражался за спасение своих арендаторов от голодной смерти. Он освободил их от арендной платы и начал новые стройки, чтобы дать им возможность заработать денег. Кроме того, он отправил в Америку несколько кораблей за мукой и зерном. Так как в Ирландии имелись только допотопные мельницы, которые не могли перемалывать кукурузное зерно, он закупил в Соединенных Штатах оборудование и построил на берегу, напротив острова

Сент-Альбан, мельницу, работавшую за счет воды приливов. Он сам разработал этот проект всего за одну ночь. На стройке работало две или три сотни ирландцев, пришедших со всех концов его земель. Мельница начала работать через несколько месяцев.

В результате его деятельности за пять лет страшного голода на землях Гринхолла умер только один человек.

Но его имение перестало существовать.

Сэр Джонатан израсходовал все свое богатство до последнего гроша. Он начал с дорог, продолжил строительством дома на острове и закончил спасением крестьян во время голода. На протяжении пяти лет он кормил не только пять тысяч ирландцев, живших на его земле; все несчастные, пришедшие сюда, чтобы умереть, смогли вернуться к жизни.

Казначейство потребовало у него положенные налоги. Сэр Джонатан сообщил, что несколько голодных лет он не получал арендную плату; кроме того, он вложил большие деньги в общественные работы. Известно, что во всех странах налоговая система является бесчувственным механизмом, предназначенным для выкачивания крови нации и направления ее властным органам, распределяющим затем полученное на различные нужды общества. В случае Ирландии этот порядок отличался некоторым своеобразием. Ирландские деньги, поступившие в Англию, возвращались в виде солдат. И так продолжалось много веков. Казначейство не приняло во внимание доводы сэра Джонатана и потребовало выплатить налоги. Поэтому он был вынужден продать Гринхолл. Так как новый закон позволял фермерам приобретать земельные участки, крестьяне скупили земли Гринхолла небольшими частями за деньги, которые заработали благодаря сэру Джонатану. Таким образом он, не зная этого, оказался зачинщиком земельной реформы, которую Ирландия ждала целых семьсот лет.

* * *

В октябре 1850 года сэр Джонатан вызвал своего сына Джона на остров. Все пять страшных лет юноша провел в Лондоне.

Сойдя с корабля в Дублине, Джон пересек по диагонали всю Ирландию, чтобы добраться до родного графства. Он с удивлением увидел следы катастрофы. Ему пришлось проезжать через заброшенные угодья, обезлюдевшие деревни с развалинами жалких хижин и неухоженными кладбищами. Ему казалось, что все население страны оказалось под покровом могильной земли, найдя, таким образом, покой после длившихся многие столетия невзгод. Небольшие стайки полуголой детворы провожали проезжавшую мимо коляску Джона безразличными взглядами, говорившими о крайней степени истощения. У них появилась еда, но они еще не привыкли к этому. Их тела потеряли способность набирать вес. За эти годы они разучились смеяться.

Джон не мог переносить взгляды детей и отодвигался от окна, стараясь думать об острове, который ему так давно не приходилось навещать. Это был волнующий рай его детства, живописное место постоянных изменений. Он видел, как его отец, находившийся в постоянном движении, то занимался строительством стены, то руководил посадкой деревьев. Ежегодно приезжая во время каникул на остров, он видел, как они становились все выше. Теперь они наверняка уже стали взрослыми, как он.

Ожидавших его обитателей острова обуревали разные чувства. Отец был озабочен, леди Элизабет волновалась. Взбудораженные его приездом сестры ожидали появления Джона с нетерпением и любопытством. Они не видели его целых пять лет и думали, что он сильно изменился. Он возвра-

щался домой из Лондона, завораживавшей и немного пугавшей их столицы, которую они никогда не видели.

Августа мало времени проводила на острове. Она обычно с утра до вечера объезжала Гринхолл, иногда вместе с отцом, иногда одна. Она была обручена еще зимой, но известия о финансовом положении сэра Джонатана заметно замедлили подготовку к свадьбе.

Арабелла впервые должна была сделать высокую прическу в честь приезда брата. Эта прическа сильно мешала ей, и она все время боялась пошевелить головой. Кроме того, у нее мерзла шея.

Анна, самая юная из сестер, уже несколько недель не вставала с постели. Она непрерывно кашляла и сильно похудела. Ей было всего пятнадцать лет.

Стояла тихая теплая погода. В каминах еще не горело осеннее пламя. Когда Полли, горничная леди Элизабет, узнала, что господин Джон возвращается, она положила в камин, находившийся в круглой комнате, несколько сухих веток. Все слуги в течение дня под тем или иным предлогом то и дело поднимались на второй этаж, чтобы заглянуть в камин.

В четверг, сразу после обеда, Полли поспешно сбежала вниз по лестнице с криком: «Господин Джон едет! Господин Джон едет!» Только что на ее глазах ветки в камине охватило пламя. По крайней мере, так она говорила, но ее слова не могли быть правдой: когда случаются явления такого порядка, никто не может увидеть, как они начинаются, потому что у них нет начала.

Карета Джона остановилась у подножья большой круглой лестницы.

Сэр Джонатан смотрел из окна второго этажа, как его сын поднимается по каменным ступеням. Без головного убора, в плаще табачного цвета, жемчужно-серых панталонах и белых перчатках, в правой руке он держал тонкую трость с круглым набалдашником из слоновой кости, а в левой цилиндр, который снял через несколько шагов, войдя в прихожую.

Он постарался соблюсти последний крик лондонской моды чтобы показать уважение к родителям.

Сэра Джонатана поразило большое сходство Джона с матерью в дни перед свадьбой. Тонкий, гибкий, изящный, как она… Такое же открытое интеллигентное лицо. От юной Элизабет к этому времени остались лишь воспоминания, которым трудно было поверить, так сильно она потолстела. Она с трудом передвигалась на опухших и сильно болевших ногах.

Сидя в малом салоне, она прислушивалась к приближающимся быстрым шагам сына и улыбалась от счастья. Но в этот момент раздался громкий голос сэра Джонатана, окликнувшего сына с площадки верхнего этажа. Джон остановился, потом обернулся и стал быстро подниматься наверх. Сэр Джонатан ожидал, стоя над лестницей. Джон поднимался к отцу, не сводя с него взгляда. Он остановился, когда между ними оставалось несколько ступенек.

— Джон, — сказал сэр Джонатан, — я позвал вас, чтобы сообщить о случившемся. Гринхолл распродается, у меня нет денег, и вы ничего не унаследуете. Вам нужно подумать, как вы будете зарабатывать себе на жизнь.

— Хорошо, отец, — ответил Джон.

Зиму он провел на острове со своей семьей и вернулся в Англию только в марте. Отцу удалось сохранить особняк в Лондоне, в его владении остался также остров Сент-Альбан. Через неделю после отъезда Джона умерла его сестра Анна.

Эти два события оставили глубокий след в душе Элизабет. Она часто заходила в круглую комнату, где Джон появился на свет и где пустовали две большие кровати; сэр Джонатан и она теперь занимали две небольших

отдельных комнаты. Она садилась в кресло, скрипевшее под ее весом, и оставалась здесь до вечера, наблюдая, как переплетение потерявших листву ветвей тянет все выше и выше к небу свои еще не распустившиеся почки, и только надвигающаяся ночь медленно заволакивает темнотой их неподвижный жест.

Время от времени она негромко стонала, полностью отдаваясь своему горю, повторяя: «Боже мой! Боже мой!» Такое она позволяла себе только оставаясь в одиночестве.

Джон начал работать в банке, имевшем обязательства перед семьей лорда Веллингтона. Очень быстро выяснилось его полное невежество в финансовых делах. Тем не менее, хотя его и не уволили, ему самому быстро наскучила возня с деньгами. Он уволился и занялся преподаванием греческого языка в школе для европейской молодежи, приехавшей в Лондон, чтобы научиться говорить, одеваться и вести себя по-английски. Платили ему немного, но и забот у него было мало.

У директора колледжа был брат, о котором преподаватели знали только то, что он копался в песках где-то в Малой Азии. Джон познакомился с ним, когда тот вернулся из Месопотамии, высушенный солнцем, словно мумия. Археолог привез с собой несколько ящиков, заполненных глиняными табличками с загадочными значками. Он свалил их на чердаке заведения, и Джон помог ему разобрать таблички и разложить их по полкам. Фантастическая письменность, казалось, состоявшая исключительно из надстрочных значков и запятых, заставила Джона задуматься о том, что кроме Англии с Ирландией и его времени существуют другие страны, иные времена и многое другое. В один миг его скудный внутренний мир лопнул, словно воздушный шарик. Когда он держал в руках табличку, значки на которой выглядели удивительно свежими, ему казалось невозможным, что человек, выдавивший эти значки на сырой глине, умер шесть тысяч лет назад. А когда он смотрел на полки, заваленные сотнями табличек, ему казалось, что он слышит гомон восточной толпы, но не понимает ни единого слова, кроме своего имени. И ему очень хотелось пообщаться с называвшими его по имени людьми.

Расшифровать надписи на табличках никому не удалось. Раздобывшему их брату директора надоело копаться в песке, и он, решив сменить профессию, отправился в Гималаи, задавшись целью залезть на самую высокую вершину. Перед отъездом он подарил свои глиняные сокровища Британскому музею.

Джон не смог расстаться с загадочными табличками и вместе с ними перебрался в музей. Днями напролет он занимался их систематическим описанием. На столе у него скопились горы бумажных страниц с тщательно скопированными надписями с табличек, каждая из которых получила свой номер. Он сравнивал их друг с другом, а также с текстами на персидском, арабском, греческом и древнееврейском языках. Ему пришлось выучить древнееврейский и арабский языки и значительно усовершенствоваться в греческом и латинском. В тридцать лет он наполовину облысел и обзавелся небольшой рыжеватой бородкой. Он влачил мрачное существование в своем лондонском доме, большинство комнат которого никогда не открывалось. Отец обеспечивал его деньгами на двух слуг, но питался он хуже, чем они.

В мыслях он иногда возвращался на остров, постепенно ставший для него таким же далеким, как и Месопотамия: легендарным, волшебным, затерянным. Он побывал на острове после смерти матери и преклонил колени перед ее могилой, находившейся на зеленом газоне рядом с могилами Анны и святого Альбана. Потом он поднялся на башню и долго смотрел с ее вершины на остров. Посаженные отцом деревья выросли и

почти везде скрывали стену. Ему показалось, что остров увеличился, как бывает с давно не стрижеными овцами. Джон знал, что он смотрит на него в последний раз. Отец сообщил ему, что вынужден продать остров. Нотариусу удалось только добиться, чтобы ему позволили оставаться на острове, пока он жив.

Арабелла и Августа вышли замуж. Джону даже не довелось повидать их. Он нашел, что отец выглядит хорошо. Сэра Джонатана не обескуражили прошлые несчастья. Он всегда любил деньги, но только за то, что можно было сделать с их помощью. И он относился к ним по-прежнему, хотя у него их и не было. Ему было наплевать на их отсутствие. Он продолжал объезжать земли Гринхолла и ухитрился сохранить прежние штаты слуг, садовников и даже конюшню с лошадьми. Смерть жены оставила на его сердце болезненную рану, которую он постарался скрыть от детей. Оставшийся в одиночестве в большом доме, забросивший десятки проектов, он стал тратить время на размышления. У него отросла пышная борода. Сидя в кресле перед камином или в седле на ветру, он думал о жизни, о счастье, о страдании и находил глубокий смысл во всем этом. Решив так, он искренне благодарил Бога за все.

У Джона сохранились дружеские отношения с молодыми людьми, с которыми он познакомился во время учебы в университете. Время от времени они общались с ним, несмотря на невысокое общественное положение, поскольку ценили оригинальность его увлечения древней Месопотамией. На одном из приемов он познакомился с девушкой скромной и спокойной красоты, которая не смогла своевременно выскочить замуж. Она принадлежала к обедневшей ветви известного рода Спенсеров. У нее были большие светлые глаза, не совсем голубые, но и не серые, благодаря которым она походила на удивленного ребенка. Когда Джон пригласил ее на танец, она подошла к нему с видом ягненка, которого ведут на заклание, и у него возникло непреодолимое желание защитить ее. В то же время он чувствовал, что она создает вокруг себя обстановку покоя и уюта. Это было самым важным в его решении отказаться в тридцать лет от холостяцкой жизни. Они сыграли свадьбу в Лондоне, и Гарриэтте удалось уговорить Джона отменить свадебное путешествие в Ирландию. Для нее это была далекая дикая страна, и так как у него не было там владений, то что могло привлечь их туда?

* * *

Деревянный ставень наружной чердачной двери открылся внутрь, и все увидели сэра Джонатана. Он протянул к толпе руку ладонями вперед, словно призывая к тишине, но собравшиеся возле мельницы мужчины и женщины закричали, называя его по имени с радостью, с любовью, со смехом, на английском и на гэльском языках. В суматохе кто-то наступил на хвост собаке, и та заверещала, словно поросенок, что заставило расхохотаться всех присутствующих.

Сэр Джонатан поднял руку и закричал:

— Замолчите!

По толпе прокатилась волна тишины с отдельными всплесками смеха и неожиданно громко прозвучавших фраз.

— Замолчите! Я не люблю вас!

Теперь наступила полная тишина, в которой чувствовалась растерянность. Тысячи лиц с тревогой уставились на сэра Джонатана. В это воскресенье стояла хорошая погода. На стене между двумя скатами мельничной крыши темным прямоугольником выделялась дверь, через которую

в страшные голодные времена на чердак поднимались с помощью блока мешки с кукурузным зерном. К счастью, потребность в кукурузе исчезла, и мельница уже давненько простаивала. Фигура одетого во все черное сэра Джонатана заполняла дверной проем. Он как будто оказался в рамке. Седая борода прикрывала верхнюю часть груди; светлые волосы обрамляли его лицо. Встающее солнце, светившее ему в глаза, придавало этой белизне золотистый и слегка розоватый оттенок.

Три года назад в воскресное утро, примерно в этот же час, Джонатан осматривал заброшенную мельницу. Когда он открыл чердачную дверь, чтобы бросить взгляд на поля и на небо, до него долетели слова приветствия. Две семьи фермеров, направлявшиеся пешком на воскресную мессу, остановились возле мельницы. Джонатан ответил им и поинтересовался их делами. Между фермерами, расположившимися на траве возле мельницы, и Джонатаном, сидевшим на чердаке, свесив ноги, завязалась беседа. Джонатан говорил о радостях жизни, даже если она сурова, о доброте Бога, даже когда он кажется безразличным, о великом и загадочном равновесии сил, заставляющем меняться небо, землю, времена года. Фермеры задавали вопросы, и он отвечал им, когда мог, а когда у него не было ответа, он говорил, что не знает, что сказать. Беседа между Джонатаном, сидевшим наверху, и крестьянами, сидевшими внизу, продолжалась больше часа. В итоге они опоздали на восьмичасовую мессу и должны были поспешить, чтобы успеть на следующую. Уходя, они спросили, не может ли Джонатан еще раз поговорить с ними «обо всем этом» в следующее воскресенье, и он согласился.

Через неделю крестьяне пришли к мельнице с соседями. А еще через месяц возле мельницы каждое воскресенье собирались сотни слушателей, и их количество постоянно росло. Приходили даже фермеры из соседних графств. Чтобы успеть к беседе, они пускались в путь ночью, захватив с собой немного дров или торфа, чтобы согреть чай или сварить картошку.

— Я не люблю вас! — закричал сэр Джонатан. — Вас не любит сам Господь!.. Дикари!.. Вы опять дрались!.. Во вторник в Дункинелли! В четверг в Каррикнаорне! При этом Пир О’Калкалон потерял глаз и половину зубов! А кюре, чтобы уцелеть, пришлось провести ночь в лисьей норе!

Из толпы послышались смешки и недовольное ворчание.

— Замолчите! Вы просто животные! Вы хуже своих ослов! Вы думаете, что Бог не видит вас? Или вы считаете, что Он вами доволен? В ваших дубовых головах хоть иногда появляются мысли о Боге? Вы знаете, что такое Бог?

Он помолчал, дав им время на размышление.

— Если вы это знаете, вам крупно повезло! Потому что этого никто не знает! Никто не видел Его после того, как Он умер на кресте две тысячи лет назад. Но вы можете быть уверены в одном: Бог не является оранжистом!

Половина толпы застонала, тогда как другая радостно завопила и принялась хлопать в ладоши.

— Но Бог не является и папистом!

Только что стонавшая половина толпы радостно закричала, тогда как вторая подавленно замолчала.

— Я даже осмелюсь утверждать, что Бог не ирландец!

На этот раз отовсюду посыпались возмущенные возгласы:

— Так кто же он на самом деле?

— Вы что, хотите сказать, что он англичанин?

— Он не англичанин, не ирландец, не негр! Он Бог всех людей, всех наций, всех живых существ от блохи до слона, всех листьев на деревьях,

всех трав на земле и всех звезд на небе!.. И если вы деретесь друг с другом во имя Господа, вы выступаете против него! И когда вы выбиваете глаз Пиру О'Калкалону, вы выбиваете глаз вашему Богу! Вы довольны этим?

Толпа застонала и затрепетала от боли и стыда.

— Но не стоит думать, что Он стал хуже видеть вас потому, что вы выбили Ему глаз! Вы можете выбивать Ему глаз сто, тысячу, десять тысяч раз в день, Он все равно будет смотреть на вас! Он видит вас всегда!

Послышались беспорядочные выкрики, стенания и плач. Одна женщина упала на колени и закричала:

— Господи, сжалься над моим мужем, который совершил этот проступок! Он совсем не злой, просто у него слишком твердые кулаки! Не сомневайся в этом, Господи, ведь если ты видишь все, то ты можешь видеть и синяки на моем теле!

Собака, которой в толпе опять отдавили хвост, завизжала, но сразу же резко замолчала.

Джонатан продолжал серьезно, менее строгим и более дружелюбным тоном:

— Он не смотрит на вас с гневом! Он смотрит на вас с жалостью и любовью! Он хочет, чтобы вы стали умнее! И Он уже сделал для вас все, что мог сделать: он пошел ради вас на смерть! Чего вы еще хотите от него? А ты, Патрик Лафферти, оставь в покое бедного пса, позволь ему сказать все, что он хочет! Он явно знает больше тебя и меня о любви! Разве вам встречались псы-католики и псы-протестанты? О, если бы мы могли любить друг друга так, как собаки любят своих хозяев! Ведь они наверняка были в Иерусалиме, где Иисус сказал: «…нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам»[1].

На солнце набежала небольшая туча, и некоторое время шел дождь, но никто не обратил на него внимания. Сэр Джонатан продолжал говорить, толпа продолжала слушать, а пес время от времени лаял. Чей-то осел испустил жуткий вопль, которым всего лишь хотел показать, что он доволен жизнью. Разыгравшиеся дети носились среди взрослых. Со стороны к толпе приблизилась белая лошадь с жеребенком, чтобы разобраться в происходящем. Над костром, залитым дождем, поднимался столб дыма. Выглянуло солнце. Сэр Джонатан достал из своего черного редингота платок, вытер лицо и продолжил:

— Никогда не забывайте, что вы созданы по образу и подобию божию, и Он присутствует в каждом из вас. Поэтому старайтесь не ставить Его в трудное положение… Каждый из вас, и не только вы, но и ваши соседи!.. И даже ваши жены, хоть они и женщины… Подумайте до следующего воскресенья о том, что я вам сказал!

Он отодвинулся от проема и захлопнул чердачную дверь. Спустившись вниз в мельничный дворик, подошел к белой кобыле, щипавшей скудную травку, пробивавшуюся между камнями. Эта лошадь, потомок Хилл Боя, была молодой и игривой. Сэр Джонатан до сих пор не смог подобрать ей подходящее имя, хотя и перебрал множество вариантов. Но лошадь каждый раз отказывалась от имени, отрицательно помахивая головой. Он ласково заговорил с лошадкой, потом вскочил в седло и выехал со двора. Толпившиеся снаружи крестьяне расступились, чтобы пропустить их. Черный всадник на белой лошади медленно проехал между серыми силуэтами мужчин и женщин, останавливаясь, если кто-нибудь из них спрашивал его о чем-нибудь. Потом он продолжал движение, направляясь к участку неба, по которому солнце медленно катилось от одного облака к другому.

[1] Евангелие от Матфея, 15:26.

Внезапно перед лошадью появилась светловолосая девочка, протянувшая сэру Джонатану букет желтых цветов. Испугавшаяся лошадь заржала и встала на дыбы. Сэру Джонатану показалось, что он оказался перенесенным в такую же ситуацию времен своей юности. Затылок вздыбившейся лошади оказался прямо перед его глазами, но между ее ушами он увидел не черную бездну, не пустоту, как тогда, а вздымавшуюся кверху тонкую витую светящуюся колонну, упиравшуюся своим утончавшимся концом в солнечный диск.

Свет заполнил его голову и взорвался внутри него. Он вылетел из седла. Лошадь взбесилась, словно тигр, которого пытаются удержать за шиворот. Зубами и копытами она проложила себе дорогу через перепуганную толпу и умчалась галопом за холмы Баллинтра.

Громко стонущие женщины, опустившиеся на колени перед телом сэра Джонатана, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами, не решались прикоснуться к нему. Наконец одна из них провела по его лицу уголком своего платка, который обмакнула в кружку с чаем. Сэр Джонатан открыл глаза, улыбнулся и попытался встать, но не смог пошевелиться. Сначала он удивился, но быстро понял, в чем дело.

— Похоже, я сломал себе позвоночник, — прошептал он.

Боли он не испытывал. Он подсказал, как его следует поднять. Мужчины с тысячей предосторожностей перенесли его на мельницу и уложили на старых, проеденных мышами мешках. Один из фермеров помчался верхом в Донегол за доктором. Окружившая мельницу толпа не рассеялась, а, наоборот, стала увеличиваться. Известие о несчастном случае мгновенно распространилось по окрестностям, и все, кто услышал о случившемся, тут же устремлялись к месту трагедии. Начались поиски девочки, послужившей пусковым механизмом несчастья, но найти ее не удалось. Оказалось, что ее никто не знает.

Поднявшийся ветер, сопровождаемый дождем, пытался сорвать черепицу с кровли мельницы.

Когда приехавший доктор подтвердил диагноз сэра Джонатана, тот сказал:

— Я хочу умереть у себя дома. Прикажите отнести меня на остров.

Доктор отказался, покачав головой. На Сент-Альбан можно было попасть или на лошади во время отлива, или на лодке в высокую воду. Оба способа могли закончиться не чем иным, как только смертью пострадавшего. Самым разумным было бы доставить на мельницу кровать и что-нибудь из мебели, чтобы ухаживать здесь за сэром Джонатаном до тех пор, пока состояние не позволит перевезти его на остров.

— Вы же знаете, что этого не будет никогда, — сказал сэр Джонатан. — Но я хочу умереть дома.

— Вы не сможете попасть туда живым, даже во время отлива. Послушайте…

К этому времени ветер превратился в бурю. Сэр Джонатан знал, что доктор был прав, потому что как раз начался отлив, когда течение в проливе усиливается. Он закрыл глаза и повторил:

— Я хочу умереть дома.

Появились слуги с острова, вымокшие под дождем и перепуганные; они принесли одеяла, постельное белье, посуду и множество бесполезных снадобий, начиная с мази от ревматических болей до портвейна для усиления аппетита. Они суетились в помещении мельницы, словно синие мухи на оконном стекле. Несколько крестьян молча жались к стенкам и смотрели на сэра Джонатана, лежавшего с закрытыми глазами на старых мешках. Когда доктор вышел, все кинулись к нему с вопросами. Доктор рассказал

им печальную правду: сэр Джонатан скоро умрет. Может быть, через пять минут. Может быть, через пять часов или пять дней.

— Тогда, — спросил один из фермеров по имени Фалоон, — почему вы не хотите, чтобы его отнесли домой? Ведь он хочет умереть там.

— Первый же толчок повредит ему спинной мозг. Он сразу же умрет, — ответил доктор.

Забравшись в свой экипаж, он добавил:

— Я вернусь сегодня вечером, чтобы осмотреть его. Но ни я, ни другой доктор не в состоянии ему помочь.

В рыжих головах фермеров продолжали прокручиваться последние слова сэра Джонатана: «Я хочу умереть дома». Подойдя к берегу, они увидели начало устремлявшейся к острову дамбы. Через несколько десятков метров она обрывалась, чтобы дать отступавшей во время отлива воде проход, заваленный множеством выглянувших из воды валунов и грудами водорослей. Продолжавшийся за разрывом отрезок дамбы заканчивался у берега острова, откуда к дому шла широкая аллея.

Фалоон вскинул к небу кулаки, почти такие же большие, как его голова, и прокричал слова, вероятно, когда-то родившиеся в глубинах прошлого Ирландии; это была или мольба, или проклятие, или же и то и другое сразу. Потом он обернулся к окружавшим его фермерам и сказал, что им нужно сделать. И все как один поддержали его. За несколько минут тысячи крестьян, собравшихся возле мельницы, и те, кто продолжал подходить, пришли к единственно возможному решению: нужно закончить дамбу, чтобы доставить сэра Джонатана на остров, где он сможет умереть спокойно.

Крестьяне, жившие поблизости, кинулись к себе за лопатами, ломами, кирками и веревками; оставшиеся немедленно принялись возводить дамбу голыми руками.

До сих пор дамбу не удавалось закончить, потому что течение размывало ее медленно наращиваемые концы раньше, чем их удавалось соединить. Сейчас приближалось время самой низкой воды. Нужно было закончить строительство до того, как вода снова начнет подниматься. Для этого требовалось работать, обгоняя надвигающийся прилив. И это было возможно, потому что до сих пор ни на одной стройке в Ирландии не имелось столько рабочих рук, сколько здесь.

Строительного материала хватало: камни, снесенные водой с концов дамбы, валялись поблизости, да и на берегу их хватало, как возле мельницы, так и на острове. Среди них преобладали валуны, но были и обтесанные блоки. В помещении мельницы нашлось несколько мешков с вполне пригодным цементом; так как цемента требовалось много, за ним в Донегол и Баллинтру сразу же направились гонцы. Не прошло и часа, как отростки дамбы можно было сравнить с парой костей, облепленных муравьями.

Протестанты и католики разделились на две группы: первые собрались на отрезке дамбы, примыкавшем к острову, тогда как вторые трудились на ее противоположном конце. Между ними началось соревнование в борьбе с приливом, с временем и со смертью. Работавшие с двух сторон прорана осыпали друг друга ругательствами, стремясь достичь первыми середины пролива. Женщины осыпали своих мужчин упреками, кричали, что они ни на что не пригодны, что у них вместо мускулов тряпки, и призывали их доказать противоположное. Небольшие группы у подножья мельницы распевали псалмы на латинском и английском языках, стараясь отвлечь внимание Господа от происходящего и не дать ему забрать душу сэра Джонатана раньше времени.

Когда находившиеся поблизости камни были использованы, строители взялись за мельницу. Они разобрали часть стены, постаравшись не трево-

жить при этом умирающего; два огромных куска стены были брошены в воду.

Поднимавшаяся вода сначала наткнулась на защитную стенку из двойного ряда решеток, использовавшихся как ограда курятников, промежуток между которыми был заполнен галькой; потом замедленный защитной стенкой поток разбился о завершенную дамбу. Покрутившись возле стены и поняв, что преодолеть ее не удастся, вода отхлынула в море и двинулась обычным путем вдоль противоположного берега острова.

Могучие руки, только что ворочавшие огромные камни, осторожно ухватились за покрывало, на котором лежал сэр Джонатан, и бережно подняли его. Его несли двенадцать человек, по шесть с каждой стороны. Это действительно были самые сильные мужчины из собравшихся — ведь только сильный может стать нежным при необходимости. Сэру Джонатану казалось, что его несло облако. Когда его вынесли с мельницы, он открыл глаза и увидел синее небо с белыми облаками и склоненные над ним лица людей. Когда кортеж достиг середины дамбы, Фалоон пробормотал:

— Вот видите, господин, мы закончили дамбу, так что вы сможете умереть у себя дома.

Сэр Джонатан улыбнулся и сказал:

— Спасибо.

Очутившись на острове, он увидел то, что не мог увидеть никто другой.

Он увидел свою белую кобылу, вышедшую ему навстречу. И он узнал, как ее зовут, и понял, почему не мог узнать этого раньше. И это понимание было доступно только ему. На лужайке перед домом он увидел большую гнедую лошадь и шевелившего ушами мохнатого ослика, цветом напоминавшего осенние листья, а также корову, лежавшую на траве и спокойно жевавшую жвачку; она походила на старую источенную временем каменную глыбу. На нижних ступенях лестницы сидела совершенно нагая молодая женщина с пышными каштановыми волосами, кормившая грудью младенца. Выше, перед дверью, стояла ожидавшая его Элизабет. Ей было семнадцать лет. Из большого окна второго этажа выглядывали, улыбаясь, его отец и мать, и они тоже были семнадцатилетними. На трубе сидел святой Канаклок, повернувший в его сторону свою ласково улыбающуюся голову.

В тот момент, когда двенадцать носильщиков вошли в белый дом на острове Сент-Альбан, сэр Джонатан Грин умер со счастливой улыбкой на лице.

Сэр Джонатан Грин скончался 20 июля 1860 года, не дожив одиннадцати дней до своего шестидесятилетия. Он оставил после себя троих детей. Сына назвали Джоном согласно семейной традиции Гринов: старшего сына Джонатана всегда называли Джоном, а старшего сына Джона — Джонатаном. Что касается дочерей, то они, выходя замуж, теряли фамилию Грин, а поэтому не имело значения, как они называли своих сыновей.

К моменту смерти отца Джон уже был знаком с Гарриэттой и собирался сделать ей предложение. Они поженились в 1861 году и обосновались в лондонском доме, значительная часть которого оставалась свободной. Леди Гарриэтта оказалась искусной хозяйкой, ухитрившейся, несмотря на весьма скромный бюджет, сохранить кухарку, метрдотеля и горничную, без помощи которой светская дама не могла бы ни одеться, ни раздеться.

Первый ребенок родился у них в 1864 году. Эту девочку назвали Элис. Джон — теперь уже сэр Джон — надеялся, что следующий ребенок будет мальчиком. Однако вторым ребенком опять оказалась девочка, Китти.

Две сестры Джона вышли замуж. Августе удалось женить на себе сэра Лайонеля Ферре, лендлорда. В 1863 году у них родился сын Генри. Мужем Арабеллы стал юрист Джеймс Хант. Опытный адвокат, он хорошо зарабатывал. Их семейство обосновалось в Дублине. Арабелла умерла бездетной в 1865 году.

После смерти сэра Джонатана пришлось распродать не только семейные драгоценности, но и мебель, чтобы окончательно разделаться с долгами, и имение на острове Сент-Альбан окончательно перешло к новому владельцу. Сэр Джон и его сестры с удивлением узнали, что человеком, разрешившим их отцу прожить последние годы в уже не принадлежавшем ему доме, оказался его нотариус.

Продажа семейных драгоценностей позволила выплатить сумму залога за лондонский особняк, но к июлю 1860 года семье Гринов не принадлежало ни одного квадратного метра земли в Ирландии.

В 1864 году полковник Харпер, который приобрел замок Гринхолл, решил продать его вместе с пятью десятками гектаров земли.

Августа, всегда мечтавшая вернуть имение родителей, убедила мужа купить Гринхолл. В ноябре 1864 года Гринхолл перешел к новому хозяину, Лайонелю Ферре. В первый день нового 1865 года в оставшемся почти без мебели замке леди Августа устроила прием для родителей, друзей и знакомых. Торжество сопровождалось музыкой скрипичного оркестра из Дублина и волынок из Белфаста. В оконных проемах горели факелы, освещавшие подъезд замка для множества прибывающих со всех сторон экипажей. Августа ликовала. Арабелла и ее муж отсутствовали; Арабелла была тяжело больна и скончалась через полгода; Джон и Гарриэтта тоже не смогли приехать — для них было слишком далеко и слишком дорого.

Августа предложила мужу окончательно переселиться в Гринхолл, и тот согласился. Он увидел в этом варианте тайное преимущество: частые поездки в основное имение позволяли ему больше времени находиться вне досягаемости супруги со слишком властным характером.

Нотариус предложил Августе приобрести и Сент-Альбан, но та отказалась. Она не хотела даже слышать об острове, из-за которого ее отец лишился владения предков и потерял все состояние.

* * *

Оставшийся в одиночестве остров ждал.

После смерти сэра Джонатана белый особняк опустел. Два раза в году слуги нотариуса приезжали на остров, чтобы убрать здание, проверить крышу, залатать укусы ветра и моря, смазать замки и петли. Потом они закрывали ставни, и все уезжали, оставив молчаливый дом.

От прежней обстановки сохранился только портрет сэра Джонатана, который — вероятно, из уважения — никто не купил при распродаже мебели. Висевший на стене большого салона портрет юного сэра Джонатана, сидевшего в красном камзоле на белой лошади, замер в ожидании.

Посаженные деревья оказались на свободе; тем не менее загадочная дисциплина не позволяла им беспорядочно разрастаться. Ни один из видов не пытался заглушить соседей, ни одна из аллей не была захвачена растительностью. Рододендроны дали многочисленную поросль, занявшую все свободное пространство. Они сплошной стеной разрослись вплотную к стене, образовав завесу. В июне их усеивали цветы всех оттенков красного. Зрители, способные полюбоваться этим замечательным зрелищем, отсутствовали.

За пятнадцать лет до своей гибели сэр Джонатан решил засадить

«Всемирная литература» в «Немане»

деревьями и другую сторону острова, обращенную к материку. Здесь, на просторной лужайке, он разместил несколько групп деревьев. С тех пор посадки разрослись, зеленые массивы, словно раздуваемые неисчерпаемым древесным соком, увеличились, но остались небольшими изолированными островками.

С каждым годом все более зеленый, более пышный и цветущий остров, запертый в окружающих его стенах, словно царевна в башне замка, терпеливо ждал. Его умывали бури, теплые дожди обеспечивали рост деревьев; ветер с океана проносился над ним и уносил далеко на материк запахи соленой воды и цветущих растений. Каждая весна расцвечивала его сумасшедшими красками, заставляя морских птиц менять привычные маршруты. Полы большого белого дома потрескивали, пустые комнаты шептались за ставнями. Сэр Джонатан тяжело вздыхал на своем портрете, скрипело седло на белой лошади. Иногда эхо приглушенного стона доносилось из дыры, пробитой в стене старой башни, но услышать его было некому. Камин в круглой комнате, заполненный дровами, замер в ожидании огня. Поленья, с каждым годом становившиеся все более сухими, тоже ждали.

В августе 1867 года налетевшая с сердца Атлантики буря тяжело навалилась на остров и подняла с него тучу листьев и прочего мусора. Эта туча пронеслась над Ирландией и Англией и упокоилась под Гамбургом, безжалостно потопив перед этим в Северном море несколько рыбацких лодок и одну парусную яхту. Яхта принадлежала лорду Арчибальду Барту, путешествовавшему с двумя сыновьями. Все трое погибли. Когда волны выбросили их тела на немецкое побережье, в правом ухе младшего сына Шарля, некрасивого светловолосого юноши девятнадцати лет, нашли небольшой листок каменного дуба.

Лорд Арчибальд Барт был дядей Гарриэтты, жены сэра Джона. Поскольку его прямые наследники погибли вместе с ним, значительная часть его состояния перешла к леди Гарриэтте, назначившей мужа управляющим этим имуществом.

Когда деньги лорда Барта оказались в руках сэра Джона, он почувствовал, как в его душе открылось нечто похожее на ночной цветок, внезапно распускающийся после захода солнца. Это было воспоминание об острове.

Он сразу же понял, что всегда старался глушить в себе малейшую память об острове, так как не хотел надеяться на невозможное. Но теперь невозможное стало возможным.

С каждым днем образ зеленого острова становился все более отчетливым. Этот образ заполнял пространство вокруг сэра Джона, и он осязал тугой западный ветер, несущий пропахший солью туман. Он видел, как розовеют белые стены в лучах встающего солнца, видел себя, окруженного книгами в круглом кабинете, где будет находиться его библиотека. Он поставит письменный стол между двумя окнами, и ему достаточно будет поднять голову, чтобы увидеть деревья и море. Нужно будет снести несколько перегородок, чтобы хватило места для книг и бумаг. Он сможет заниматься научными исследованиями вдали от шума, вдали от мира, и никто никогда не помешает ему работать. Он, наконец, сможет полностью посвятить себя науке.

Однажды вечером он сообщил жене, что самым выгодным помещением капитала будет приобретение острова, чтобы обосноваться на нем. А дом в Лондоне можно продать, опять же, весьма выгодно. На следующее утро он уехал в Ирландию, не подозревая, какой эффект произвело его решение на леди Гарриэтту. Бедная женщина была потрясена и испытывала отчаяние.

Пока муж вел переговоры с нотариусом, занимался проектами перестройки помещений, приобретал обстановку и нанимал слуг, у нее было время убедить себя в его правоте. Конечно, слуги в Ирландии обойдутся дешевле… На острове очень здоровый климат… Девочкам будет так полезно дышать морским воздухом… Но Боже! Ведь это на краю света!.. Она изнемогала, теряла остатки мужества… Дикая страна!.. Но Джон выглядел таким счастливым… Она давно не видела, чтобы его лицо так лучилось радостью… Как будто он превратился в ребенка…

Леди Гарриэтте в голову не пришло противиться решению мужа. Она любила и уважала его. За все время замужества он ни разу не обидел ее. Возможно, не было у нее и особых радостей, но она даже не представляла, что такое бывает. Она вела себя с мужем так, как должна вести любая жена, и не испытывала при этом ничего неприятного. Она родила мужу детей, вела домашнее хозяйство и старалась, насколько это было в ее силах, облегчить ему жизнь. При этом она все делала с удовольствием. Только вот Ирландия… О Боже!.. И она принялась составлять список всего самого необходимого, что должна была взять с собой. На ее больших светлых глазах то и дело появлялись слезы; создавалось впечатление, что на нее внезапно обрушились все беды мира. Но она тут же одергивала себя. Ей не следовало ожидать ничего плохого. Вообще, есть же люди, которые проводят всю жизнь в Ирландии…

Вернувшийся сэр Джон сообщил, что все в порядке. Он нанял секретаря, чтобы привести в порядок и упаковать книги и рукописи. На эту работу ушло несколько месяцев. И хотя все остальное возлагалось на леди Гарриэтту, она закончила приготовления к переезду раньше мужа. В декабре 1870 года она сообщила мужу о своей очередной беременности. Он был рад, решив, что теперь у него будет мальчик. Ребенок родится на острове, как его отец, и он назовет его Джонатаном, как деда. Климат на острове будет для него самым подходящим.

К маю 1871 года работа с книгами и бумагами была еще не закончена. У леди Гарриэтты заканчивался восьмой месяц беременности. Сэр Джон перепугался. Все, что не было разобрано, в беспорядке распихали по ящикам. Всего таких ящиков оказалось сто пятьдесят два, из них двадцать три ненумерованных и без описей. 10 июня они выехали из Лондона дублинским поездом.

* * *

Черная рука с растопыренными пальцами вынырнула из завихрений пара и прилипла к стеклу. Элис дико завопила и прижалась к гувернантке. Наверное, это глаз дьявола, пытавшегося разглядеть, что они делали в купе. Конечно, он походил на руку, но вполне может быть, что у глаза дьявола вместо ресниц пальцы. Может быть, он проголодался, поэтому из его пасти валил пар, словно из кипящего чайника…

Поезд мчался со скоростью не менее тридцати километров в час. Дверь распахнулась, и в купе вошел дьявол, окутанный дымом, пахнущий углем и пыхтящий, словно дракон, тащивший поезд по рельсам. Элис и Китти попытались слиться со своей гувернанткой.

Дьявол закрыл за собой дверь. На нем была черная каскетка, его лицо и руки тоже были черными. Он говорил по-английски. Поклонившись леди Гарриэтте, он протянул руку сэру Джону, вложившему в эту руку билеты.

— Какие вы глупышки! — сказала гувернантка. — Разве вы не видите, что это контролер?

Дьявол улыбнулся девочкам, вернул билеты, поблагодарил и вышел из купе в новом облаке дыма. Леди Гарриэтта принялась кашлять в кружевной платок, прижав его к лицу. Сердца девочек перестали прыгать в груди, словно сумасшедшие белки.

— Кто такой контролер? — спросила Элис.

— Не будьте такими глупенькими. Разумеется, это человек, который контролирует.

— Что значит «контролирует»? — спросила Китти. Ей было всего пять лет.

В беседу вступил сэр Джон.

— Контролер, — сказал он, — это человек, которому поручено проверять, имеют ли пассажиры документ на право проезда и соответствует ли этот документ классу купе, в котором они находятся.

Довольный исчерпывающим объяснением, он огладил бороду обеими руками. С возрастом она потемнела и сейчас цветом напоминала сигару, как и его шевелюра. Волосы на его голове отступили, обнажив половину черепа. Когда сэр Джон говорил, на этом гладком куполе над его лицом, имевшим прямоугольную форму из-за бороды, играли блики, соответствовавшие тональности его слов.

— Вы должны понимать, — сказал он, — что у контролера очень опасная профессия. Он перебирается из одного купе в другое по подножкам, в то время как поезд несется на всех парах. Чтобы зарабатывать на жизнь, он ежедневно рискует своей жизнью[1].

— Это отважный человек, — сказала француженка Эрнестина, горничная леди Гарриэтты.

Леди Гарриэтта протерла виски платком, смоченным настойкой лаванды, и тревожно вздохнула. Она была на восьмом месяце, и корсет очень болезненно стискивал ее тело. Запах угля вызывал у нее тошноту. Путешествие никак не кончалось, и она боялась, что усталость не позволит ей сохранять достоинство. Из Лондона в Дублин они переехали пароходом, затем пересели на поезд до Миллингара, где ей повезло отдохнуть три дня у кузена. Затем снова поезд, причинявшей массу неудобств женщине в ее положении. А теперь, как сказал сэр Джон, им предстояло провести несколько часов в коляске. Она была готова многим пожертвовать, окажись она уже на месте.

— А почему он не контролирует, когда поезд останавливается? — спросила Элис.

Вопрос озадачил сэра Джона. Он нахмурился, не сдержав удивления.

— Перестаньте задавать глупые вопросы, — шепнула гувернантка девочке.

— Ничего, ничего, — улыбнулся сэр Джон. Он нашел ответ.

— Потому что пассажиры без билета, если такие есть в поезде, могут выйти из вагона и таким образом избежать проверки.

Китти ничего не поняла. Она уже открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, но гувернантка быстро закрыла его влажной губкой, извлеченной из непромокаемого мешочка. Она быстро обтерла девочкам лица, чтобы удалить следы угольной пыли, потом отряхнула им платья и поправила шляпки, фиолетовую и коричневую.

Девочки были вынуждены замолчать и теперь чинно сидели, положив руки на колени. Воспитанные дети не должны проявлять назойливость. Им нельзя вести себя так, чтобы взрослые замечали их присутствие.

---

[11] В железнодорожных вагонах XIX века каждое купе занимало всю ширину вагона и имело свою дверь, выходящую наружу. Поэтому контролеры, которым нужно было перемещаться вдоль поезда, были вынуждены пользоваться не внутренним коридором, как сейчас, а расположенными снаружи вагона подножками.

Каждый год детства длится бесконечно и по насыщенности событиями может сравниться с целой жизнью. Элис было семь лет, Китти — на два года меньше. На протяжении истекших столетий они никогда не находились так долго рядом с родителями, в такой интимной близости. До этого фантастического путешествия их вселенная была представлена исключительно помещениями для игр, комнатами для занятий, столовыми и туалетными комнатами на третьем этаже дома в Лондоне. Они играли, учились и спали под постоянным наблюдением гувернантки. На улицу они выходили только для непродолжительных прогулок. Они видели свою мать только вечером на протяжении нескольких минут. Она ласково улыбалась им и говорила какие-то нежные слова. Отца они видели по воскресеньям во время общей молитвы. Их воспитывали для предстоящего замужества, и они должны были стать совершенством. Когда им исполнится восемнадцать, им сделают высокую прическу, оденут в белое платье и отведут на первый бал… Сэр Джон и леди Гарриэтта были прекрасными родителями и любили своих детей.

Гувернантка, мисс Блюберри, ненавидела их, хотя и не знала этого. Она скрупулезно выполняла свою роль, не позволяя вырваться на поверхность глубинным чувствам. Дай им волю, и она тут же схватила бы кухонный нож и принялась с дикими воплями полосовать физиономии всем окружающим. Тощая, тридцати пяти лет, цветом лица напоминавшая вареную репу, она уже лет двадцать назад утратила облик подростка с нежным розовым личиком. Она знала, что никогда не выйдет замуж. Она была слишком образованной, чтобы выйти замуж за простого мужчину, и даже в расцвете юности не имела никаких шансов быть замеченной мужчиной из высшего общества. Она не чувствовала себя уютно ни в компании служанок, презиравших ее, ни в обществе господ, ее не замечавших. Ссылка в Ирландию лишала ее единственного, чем она могла гордиться, — чувствовать себя англичанкой. Она ненавидела этот дурацкий поезд, злилась на прошлое и будущее, на жизнь и на весь мир. Она достаточно крепко верила в Бога, чтобы ненавидеть и его, убеждая себя при этом в любви к нему.

Поезд остановился у небольшого деревенского вокзала. Смеркалось. Какой-то мужчина размахивал в сумерках фонарем, выкрикивая непонятные слова с диким акцентом. Леди Гарриэтта спустилась на перрон в сопровождении горничной для поисков гипотетических удобств. В купе сразу стало тихо и темно. Откуда-то доносилось меланхоличное мычание коровы, вдалеке лаяли две собаки, почуявшие появление незнакомого существа, бродяги или лисы. Прижавшиеся к гувернантке девочки таращили глаза в темноте, ощущая, как их охватывает восхитительный ужас. Их поезд застыл в неизвестном мрачном мире, постепенно проникавшем в купе сквозь темные окна. Правда, с ними находился их отец. В его присутствии им ничто не могло навредить. Поэтому они наслаждались испытываемым ужасом, точно зная, что в действительности им ничто не грозит.

Внезапно на крыше над их головами раздался грохот тяжелых шагов. Все дружно посмотрели на потолок. Китти негромко пискнула, словно птичка, над гнездом которой кружит ястреб. В потолке открылось круглое отверстие, через него в купе спустилась масляная лампа. Чья-то рука зажгла фитиль, и отверстие закрылось. Купе залил мягкий золотистый свет безопасности. Время дьявольских штучек закончилось.

Вдали раздавалось все более и более редкое неубедительное тявканье одной собаки; вторая, очевидно, уже заснула. Корова тоже помалкивала. Даже вокзальные шумы звучали в ночи приглушенно. Вернулась леди Гарриэтта с незабываемым, навсегда запечатлевшимся в ее мозгу воспоминанием о пережитом в пристройке к зданию вокзала. Горничная отправилась в очередную экспедицию с гувернанткой и девочками. Усатый кондуктор

принес грелки. Леди Гарриэтта поставила на одну из них свои миниатюрные ступни и постепенно восстановила полный достоинства вид, начиная с небольшой шляпки, сидевшей, словно бабочка, на ее голове, и заканчивая высокими ботинками из кожи цвета опавшей листвы. Она была тщательно упакована в длинное платье с двумя рядами пуговиц от плеч до подола, символ ее общественного положения и ее рабства, так как без помощи горничной она была способна самостоятельно раздеться не больше, чем одетый в жилетку кролик.

Сэр Джон, в свою очередь, тоже спустился в ночь, чтобы, как он пояснил, выкурить сигару.

* * *

Незадолго до полночи поезд остановился с тяжелым вздохом, уткнувшись в висевший на дереве фонарь. Здесь, у выступавших из земли корней, заканчивалась железная дорога; дальше рельсы не продолжались. Поезд двинулся задним ходом, с грохотом и толчками проскочил стрелку, выйдя на параллельный путь. Отсюда он, попятившись, подошел к последнему вокзалу, готовый назавтра или через день двинуться в обратный путь.

Девочки спали, сбившись в тесный комок. Их разбудили, понесли, и они оказались в карете, катившейся сквозь густую темноту. Резко пахло лошадиным потом. Они опять заснули и тут же очнулись за большим столом в большой темной комнате перед полными тарелками. Они заснули, не успев проглотить первую ложку. Леди Гарриэтта нервно вздрагивала.

Они находились в замке, принадлежавшем мужу Августы. Это он послал на вокзал верхового слугу и карету с кучером. Когда они появились в замке, Лайонель Ферре спал, Августа отсутствовала, ужин остыл. Их ждали ледяные постели.

На следующее утро леди Гарриэтта была разбужена ветром Донегола, швырнувшего ей в лицо пригоршню дождя. Эрнестина, принесшая чай госпоже, неосторожно оставила открытым окно. На протяжении четырех дней они питались лососем, которого Лайонель лично вылавливал из принадлежавшего ему озера. Три раза он оказывался за столом во время обеда, высокий сухощавый мужчина с длинным носом и кирпично-красной физиономией. У него были такие маленькие глазки, что их цвет определить было невозможно. Его коротко подстриженная шевелюра и отвислые усы отсвечивали желтым. Он мало говорил, изрекая расплывчатые пессимистические комментарии о политическом положении в Ирландии, часто упоминал никому не известные имена, внезапно замолкал, не закончив фразу, и то и дело издавал хриплый смешок, повторяя: «Конечно, конечно, я понимаю…» Его супруга так и не появилась.

Когда со станции доставили багаж, а из Сент-Альбана за ними приехала карета, они, наконец, смогли расстаться с гостеприимным хозяином. За последним этапом их бесконечного путешествия наблюдало яркое солнце, то и дело прятавшееся в очередном облаке. Перспектива вскоре оказаться в своих владениях, пусть даже на краю света, и теплая солнечная погода вселили немного оптимизма в сердце леди Гарриэтты. Она смотрела на проплывающую мимо сельскую местность, удивляясь отсутствию деревень. Встречались только одиночные бедные хижины, разделявшиеся большими пустыми пространствами. Им почти не попадались живые существа, как люди, так и животные. Однажды их заставила остановиться группа солдат в английских мундирах. Закрепив веревку на ветвях дерева, они под командой унтер-офицера занимались тем, что пытались сорвать крышу со стоявшей под деревом хижины. Вокруг них с громкими криками носились

встревоженные птицы. На происходящее смотрела, вытирая слезы, худая молодая женщина, босая, в грязно-сером платье, прижимавшая к себе двух малышей. Рядом с ней в тачку были свалены несколько деревянных мисок с ложками, черные от сажи сковородка и крюк, чтобы подвешивать котелок над огнем. Немного в стороне стоял разъяренный мужчина, вцепившийся в рукоятку воткнутой перед ним в землю лопаты и с трудом сдерживавший бессильный гнев. С него не сводил глаз солдат с ружьем.

— Но… Что здесь происходит? — растерянно спросила леди Гарриэтта. — Джон, в чем дело?

Послышался треск, и крыша хижины рухнула на землю. Тощий поросенок с визгом выскочил из облака пыли и скрылся в кустах. Солдаты принялись разрушать кирками стены хижины.

— Но этого не может быть!.. Джон!.. Я не понимаю…

Унтер-офицер махнул кучеру, чтобы тот трогался. Карета проехала мимо рыдавшей женщины, мимо разрушенной хижины и стиснувшего зубы мужчины.

— Джон, объясните же мне, что происходит? Почему нужно было разрушать жилье этих несчастных?

— Думаю, Джеймс, как местный человек, сможет объяснить нам это, — ответил сэр Джон. Сохраняя полное спокойствие, он высунулся из окна кареты. — Джеймс, вы знаете, за что так наказали этих людей?

Кучер, крепкий мужчина с седой шевелюрой, пожал плечами и проворчал:

— Они ирландцы, и этого вполне достаточно, чтобы оставить их без жилья…

Убедившись, что они отъехали достаточно далеко и солдаты не услышат его, он добавил:

— Наверное, они укрывали мятежника.

Леди Гарриэтта вскрикнула:

— Господи!.. Мятежника!..

Джеймс тоже закричал:

— Здесь достаточно быть ирландцем, чтобы считаться мятежником!

Большие глаза леди Гарриэтты стали огромными. Она перестала понимать хоть что-нибудь. Значит, ирландцы не были счастливы от того, что были частью Великобритании и находились под защитой армии Ее Высочества? Она хорошо помнила солдат, разрушавших стены хижины… Тяжело вздохнув, она покачала головой и подумала: «Эта бедная женщина больше походила на жертву, чем на преступницу… Но, может быть, ее муж?..»

Сэр Джон легонько похлопал ее по колену.

— Дорогая, — сказал он, — это все здешняя политика. Будет лучше, если вы не будете участвовать в этом, даже в мыслях… И старайтесь ничего не принимать близко к сердцу, потому что мы все равно не в силах изменить хоть что-нибудь…

Леди Гарриэтта с благодарностью взглянула на мужа. Девочки со страстным вниманием следили за разыгравшейся перед ними сценой. Это был очередной эпизод удивительных приключений, начавшихся с момента, когда они покинули свои лондонские апартаменты. И они предчувствовали, что это еще не конец…

Уже на протяжении получаса справа от дороги издалека доносился лай преследовавшей кого-то своры. Неожиданно шум погони раздался совсем рядом с каретой. Девочки прильнули к окну. Они увидели, как длинное лисье тело одним прыжком перелетело через дорогу; в сотне метров за ней с диким лаем вихрем неслась стая собак самых разных пород. Мчавшая-

ся за собаками огромная гнедая лошадь, под копытами которой дрожала земля, одним прыжком перелетела через придорожные кусты, а заодно и через дорогу. В седле сидела амазонка в красном костюме. Лиса, собаки и всадница вереницей пронеслись мимо, скатились по пологому склону к ручью, в облаке брызг и пены преодолели его и скрылись за группой деревьев.

Вскоре карету охватил поднимавшийся с моря туман. Когда они подъехали к берегу, окрестности уже утонули в легкой светящейся, словно подсвеченной изнутри, дымке.

Сэр Джон приказал кучеру остановиться и пригласил все семейство сойти на землю. Надев цилиндр мышиного цвета и вооружившись тростью из черного дерева, он медленно подошел к воде, остановился и, недолго помолчав, вытянул перед собой руку с тростью.

— Вот и остров, — сообщил он.

Леди Гарриэтта, девочки, гувернантка и даже сидевшая рядом с кучером Эрнестина дружно уставились в сторону, куда указывала трость.

Они увидели светло-серую, почти белую прозрачную массу, не принадлежавшую ни к морю, ни к небу, в которой не улавливались какие-либо четкие горизонтальные, вертикальные и любые другие направления. Она походила на картину, перед которой натянули гладкое полотнище почти прозрачной марли. На этой поверхности, на которой почти ничего не было видно, угадывались контуры острова; казалось, что они были нанесены тонкими, почти незаметными линиями, внутри которых вот-вот должны были проявиться существовавшие до этого формы и размеры.

Элис едва слышно прошептала:

— Это остров-призрак!

Китти изо всех сил вцепилась в ее руку.

Можно было услышать, как у полоски пляжа вздыхает море. Снова послышался лай своры, приближавшийся к берегу; собаки продолжали преследовать лису.

— Полагаю, — сказал сэр Джон, — нам стоит закончить наше путешествие пешком.

Подавая пример, он ступил на уходящую в светлый туман дамбу. За ним двинулось сначала семейство, а затем и пустая карета.

Настоящий торнадо скатился по склону холма и обрушился на них. Лиса, вместо которой удалось разглядеть только расплывчатое бурое пятно, проскользнула между колесами кареты, обогнала людей, влетела на дамбу и пропала в тумане. Вплотную за ней неслась свора.

Сэр Джон отреагировал на происходящее с энергией и решительностью, которых от него никто из членов семейства не ожидал. Загородив узкий проход на дамбу, подобно Наполеону на Аркольском мосту[1], он встретил собак ударами трости, пинал их ногами и осыпал такими решительными командами, что собаки, завизжав, остановились, ожидая приказов подъехавшей охотницы.

— Это МОЯ лиса! — яростно крикнула она сэру Джону. — Я гоняюсь за ней целых три часа!

— Это МОЙ остров! — сурово возразил ей сэр Джон. — И я никому не разрешаю охотиться на нем, неважно на кого!

— Да она же сожрет всех ваших кур!

— Это касается только кур и лисы… Кстати, мне кажется, что вы не

[1] Во время битвы при Арколе с австрийской армией (Италия, 15—17 ноября 1796 года) генерал Наполеон Бонапарт проявил личный героизм, возглавив атаку на Аркольский мост со знаменем в руках. Битва закончилась разгромом австрийской армии.

знакомы с моей супругой… Это Гарриэтта… Гарриэтта, это моя сестра Августа…

Гарриэтта с ужасом смотрела на свою странную родственницу, возвышавшуюся над ней на огромной покрытой пеной лошади. Ее шляпа из красного фетра легко могла вместить шестифунтовую буханку хлеба. Вокруг длинного лица с лошадиными зубами веером разлетались пряди темных волос. Августа с любопытством посмотрела сверху на Гарриэтту, улыбнулась, показав десны, столь же длинные, как и зубы. Гарриэтта уже не понимала, где кончается лошадь и начинается Августа.

— Рада увидеть вас, Гарриэтта, — сказала Августа. — Надеюсь, что вы заглянете в воскресенье в Гринхолл на чашку чая…

Повернув лошадь, она крикнула собакам:

— Вы свиньи, а не собаки! Вы должны были схватить ее далеко отсюда! Вечером вы получите картошку вместо мяса!

Прищелкнув языком, она пустила лошадь в галоп. При этом возникло ощущение землетрясения. Собаки потрусили за ней с высунутыми языками, впереди те, что покрупнее, в хвосте своры — самые маленькие на коротких лапках.

Посмотрев вслед сестре, сэр Джон повернулся к острову и поднял трость, чтобы заново наметить цель путешествия. Потом он двинулся вперед. Начинался отлив, море отступало. Легкий ветерок подхватил туман и унес его, словно вуаль новобрачной. Из тумана возник остров, чистый и свежий. На зеленом склоне между синим небом и синим морем цветущие рододендроны выглядели одним огромным цветком. В конце изгибающейся в виде буквы S аллеи путников ожидал белый дом. В камине в круглой библиотеке второго этажа вспыхнул огонь.

Спасшаяся от собак лиса была обычной лисой.

* * *

Во время предыдущего посещения острова сэр Джон нанял на место старшей горничной и одновременно поварихи крепкую местную женщину лет сорока по имени Эми. Ее фамилия оказалась настолько труднопроизносимой, что сэр Джон решил забыть ее. У нее был опыт подобной работы, и она хорошо разбиралась в явных и тайных сторонах жизни в Ирландии.

Она ожидала хозяев у основания лестницы. Слева от нее стояли два садовника, а справа выстроились в ряд шесть деревенских девушек, превратившихся в горничных с помощью белых передников и накрахмаленных чепчиков.

Шесть сгоравших от любопытства девушек, стоявших или потупив взгляд, или подняв голову, в зависимости от их характера, смотрели, как к ним приближается сэр Джон Грин, новый хозяин острова. Он держал под руку леди Гарриэтту, а следом за ним шествовали все остальные члены семейства. В хвосте процессии медленно катилась карета, и под ее колесами негромко поскрипывал гравий, покрывавший ровным слоем дорожку. Сэр Джон что-то объяснял супруге, помахивая тростью. Овца-меринос с двумя черноногими ягнятами рысцой пересекли лужайку и застыли на месте, уставившись на кортеж. Девочки с восторженными криками устремились было к животным, но короткая сухая фраза гувернантки заставила их вернуться в строй. Овца ошеломленно покосилась на них, помотала головой, повернулась и поскакала к группе усеянных розовыми цветами рододендронов. Там она остановилась и принялась щипать траву, всем своим видом показывая незаинтересованность в происходящем. Ягнята присоединились к матери и принялись сосать ее. Туман неторопливо

отступал в море светящимися светлыми фестонами. Казалось, что остров погрузился в сон.

Служанки увидели перед собой леди Гарриэтту с тяжелой вычурной прической, в одежде с множеством пуговиц, в небольшой шляпке со свисавшим на плечо шарфиком; они увидели также сэра Джона во фраке и цилиндре мышиного цвета и в зеленом вышитом золотом жилете; они увидели девочек в бархате сливового цвета и в больших шляпках, похожих на небольшие копны сена; увидели они и гувернантку, тощую и прямую, как наряженная в черный сатин жердь. И тогда они испытали одновременно шок и восхищение. Чтобы не расхохотаться, им пришлось дружно прикусить языки. В то же время, они догадались по качеству нарядов, пусть даже показавшихся им смешными, что к ним явились господа, принадлежащие к высшему обществу. Спокойный взгляд сэра Джона и ласковый взгляд больших глаз леди Гарриэтты позволили им почувствовать, что этим хозяевам они будут служить с радостью.

После того, как Эми назвала господам служанок и садовников по именам, они кинулись к карете, быстро извлекли из нее багаж и потащили ящики, коробки и пакеты в разные стороны, производя при этом страшный грохот, так как Эми обула их в вечные сапоги из грубой кожи, еще и с подковками.

Чтобы приехавшие сразу увидели весь дом, она широко распахнула двери всех комнат. Льющийся через окна со всех сторон неба и моря голубой свет заставлял светиться помещения изнутри, ослепляя леди Гарриэтту. Сэр Джон начал объяснять ей расположение комнат на первом этаже, но она, улыбнувшись, остановила его. Ей прежде всего нужно было побывать в своей комнате.

Она взяла за руку сэра Джона, и они вместе направились к широкой лестнице, ведущей на второй этаж. Поднимаясь по ступенькам, она еще отчетливей почувствовала залитую светом пустоту первого этажа с беспорядочно расставленной вдоль свежеокрашенных стен мебелью, голым полом без ковров и окнами без штор; она слышала восторженные крики девочек, сбежавших от мисс Блюберри и наугад устремившихся в неведомые недра дома. Слышны были и гулко звучавшие шаги прислуги на первом и втором этажах. Она подумала, что вряд ли удастся в ближайшем будущем заказать из Лондона фетровые тапочки. Подумала она и о своих обоях, коврах, безделушках, пианино, фисгармонии, подушечках, столиках, креслах, грелках для ног, пуфиках, всех прочих сокровищах драгоценного английского комфорта, сейчас путешествовавших в трюмах корабля где-то между Англией и Ирландией. Когда они прибудут? И в каком состоянии?

Она вздрогнула. Эми крикнула ей снизу голосом, скорее подходившим для лесоруба:

— Есть горячая вода для ванны и для чая, мадам! Только прикажите…

Леди Гарриэтта вздохнула:

— Хорошо, Эми…

Она подумала, что это сияние, эту льющуюся через окна энергию солнца следует как-то приглушать... Неожиданно она почувствовала, как у нее в ушах появились нематериальные ватные пробки. Мир звуков пошатнулся и исчез. Шаги служанок отдалились и затихли. Ветер снаружи замер. Свет стал не голубым, а зеленым, как будто вместо облаков в небе появились морские волны. Леди Гарриэтта остановилась. В кристаллизовавшемся безмолвии к ней откуда-то снизу долетело рыдание, такое слабое, что его, казалось, невозможно было услышать, но такое жалобное, что его должен был услышать даже камень.

— О, Джон! Господи! Здесь кто-то плачет!.. — воскликнула она, схватившись за сердце.

— Что вы, дорогая! Это всего лишь ветер.

Но ветра не было. И рыдание повторилось. Рыдание тишины и невыносимой боли.

— Ах, Джон! Боже мой! Кто-то плачет под лестницей!..

— Послушайте, дорогая, этого не может быть!

Сэр Джон поспешно спустился вниз и рывком распахнул дверцу в каморку под лестницей. Его взору открылось довольно темное помещение без какой-либо таинственности. В нем находились три веника из дрока, медный таз и большая тряпка, повешенная для просушки на гвоздик.

— Это всего лишь чулан для всякого хлама! И для веников!

Впрочем, он не был уверен, что не слышал что-то вроде…

— Это ветер! — решительно объявил он.

— Нет, господин, — промолвила Эми, застывшая на месте. — Это несчастная дама… Та, что нашли в стене… Сэр Джонатан приказал похоронить ее в святой земле, но бедняжка все еще страдает… Ей пришлось так долго стоять в тесной нише… Да поможет ей Господь! Когда здесь появляется новый человек, она должна обратиться к нему, потому что ей нужен…

Сэр Джон поднялся еще на две ступеньки, остановился и, повернувшись к Эми, воздел кверху трость, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе:

— Я больше не хочу слышать эти глупости! Это был ветер!

— Да, господин! — Эми склонилась в поклоне, выпрямилась и заторопилась на кухню.

Леди Гарриэтта снова услышала топот служанок, увидела голубой свет и опустила руку на локоть мужа, оказавшегося рядом. Девочки продолжали носиться на первом этаже, а за окнами ветер шевелил ветки деревьев.

Она мгновенно поняла: если на острове и существуют необъяснимые силы и явления, она ни в коем случае не должна позволять им проникать через границы ее семейной жизни. От этого зависело счастье ее семьи. И решение было простым: достаточно не замечать их. Она была англичанкой, то есть принадлежала к расе, которая отрицала саму мысль о том, что существует то, что она не хочет воспринимать.

Поднявшись еще на одну ступеньку, леди Гарриэтта приняла решение: она не слышала ничего странного, ничего сверхъестественного не произошло и не может произойти, потому что она целиком и полностью отрицает его существование.

Они поднялись на площадку второго этажа. Из большого окна открывался вид на западный берег острова. Над крышами служебных пристроек клубилась зеленая масса деревьев, посаженных сэром Джонатаном. Это был расцвет разных растительных видов, от направленных в небо стрел хвойных до округлых волн лиственных, со всеми нюансами зеленого, с пятнами оранжевых и темно-красных цветов, усыпавших рододендроны до самой вершины. Над растительным морем, которое заставляли бурлить порывы ветра, застыла в неподвижности поверхность настоящего моря бледно-голубого цвета, слегка затушеванная клочьями тумана.

Сколько букетов можно сделать из всего этого, чтобы украсить комнаты, подумала леди Гарриэтта. Повернувшись к мужу, она улыбнулась.

— Мы будем счастливы здесь, друг мой.

* * *

Наступившей ночью лиса вернулась к своему лису. Они уютно устроились в норе под корнями тиса. На ужин у них были две курочки. Джеймс, отвечавший за курятник, обнаружил на следующее утро перья и кровь жертв. Испуская чудовищные ругательства, он поклялся, что убийца сегодня же лишится своей шкуры. Повесив на плечо ружье и свистнув собаку, он отправился в карательную экспедицию. Повизгивающий от нетерпения пес, нелепая помесь терьера и колли, потянул Джеймса за собой в лес. Но едва они оказались в тени деревьев, как наткнулись на Эми, стоявшую, скрестив руки на груди, посреди дорожки.

— Джеймс Мак Кул Кушин, — сказала она, — если вы убьете это животное, то вы не сможете спокойно спать до конца своих дней. Стоит вам закрыть глаза, как появится убитая вами лиса и будет сопеть вам в ухо. И если вы не проснетесь, она примется грызть пальцы у вас на ногах!

Джеймс хорошо знал, что Эми никогда ничего не говорит зря. Местное население с опаской относилось к ее знаниям и всегда обращалось к ней в сложных ситуациях.

Тем не менее, она была всего лишь женщиной…

— Эта дрянь сожрала моих кур! Я должен наградить ее зарядом дроби! А если она будет тревожить мой сон, то получит поленом по хребту!

— Не волнуйтесь, она больше не станет таскать у вас кур, — сказала Эми.

Джеймс недоверчиво посмотрел на нее. Дрожащий и съежившийся на земле пес тоже посмотрел на Эми.

— Можно подумать, что вы знаете это! — бросил Джеймс.

— Да, знаю, — ответствовала Эми.

— Будет вам…

Он не видел выхода из этой ситуации. Ему очень не хотелось продолжать охоту, но уступить женщине…

— И как вы сможете помешать лисам? — спросил он. — Может быть, заставите их питаться травой?

— Может быть…

— Хотел бы я увидеть, как это у вас получится! Так что позовите меня, когда приготовите салат для лисицы. Ладно, я дам ей еще один шанс… На этот раз оставлю ее в покое… Но если все повторится… Я пристрелю ее!

— Хорошо, — пожала плечами Эми. — Если снова пропадет курица, можете пристрелить лису. А пока вам стоит вспомнить про своих лошадей!

Куры больше не пропадали. Каждую ночь лисы уходили охотиться на материке, скрываясь затем от преследователей на острове в лесу сэра Джонатана. Джеймс и другие слуги решили, что лисы заключили договор с Эми. Девочки не однажды видели, как лисы играют под деревьями в траве, освещенной солнцем.

Через месяц у леди Гарриэтты начались первые схватки. Все радостно приготовились к появлению мальчика. Но родилась девочка.

У нее на голове серебрился светлый пушок; за длинными ресницами и опущенными веками дремали глаза.

Когда Эми впервые увидела девочку, ее охватило странное волнение, которое она постаралась скрыть. Никому не говоря об этом, она дала девочке гэльское имя; она давно ожидала встретить ребенка, достойного этого имени. Отец назвал ее Гризельдой.

Через несколько недель волосы девочки поменяли серебряный оттенок на золотистый, сначала светлый, но потом становившийся все более и более темным.

Сэр Джон, сначала огорчившийся, что опять родилась девочка, быстро утешился, решив, что в следующий раз обязательно будет мальчик.

Через неделю после рождения Гризельды у лисы появилось три лисенка, и у одного из них был белый хвост.

Мисс Блюберри уехала, не дождавшись конца года. Она не смогла выносить хихиканье ирландских служанок, грубый язык которых с трудом понимала. Ей постоянно казалось, что они издеваются над ней. Посоветовавшись с женой, сэр Джон решил обойтись без гувернантки. Он сам будет заниматься учебой девочек, а леди Гарриэтта возьмет на себя их воспитание.

В следующий раз у леди Гарриэтты снова родилась девочка. Ее назвали Элен. И пятым ребенком тоже была девочка. Джейн оказалась последним ребенком.

Леди Гарриэтта обустроила свои комнаты, заполнив тревожную пустоту тысячами любимых безделушек. Она воздвигла против неизвестного барьер из штор с бахромой и кистями, зонтиков из сатина с вышивкой, кресел, цветных ковриков, канделябров с хрустальными подвесками и рояля. Из недосягаемого для всего иррационального убежища она спокойно обеспечивала уютную жизнь для членов семьи, гарантируя безупречную работу прислуги.

Семейство лис покинуло остров. В норе под тисом остался только лисенок с белым хвостом.

Сэр Джон, работавший в открытой четырем ветрам библиотеке, окруженный книгами и рукописями, полностью изолированный от внешнего мира, находился ближе к Древнему Вавилону, чем к Ирландии. Ему никак не удавалось расшифровать шумерскую письменность, но он упорно продолжал изучать ее, классифицировать, сравнивать, придумывать новые гипотезы, которыми обменивался с рассеянными по всему свету такими же фанатиками. Он был счастлив. Годы проносились над ним, ничуть не изменяя его облик. Ведь он, обосновавшись на острове, оказался неподвластен событиям, подгоняющим поток времени. Смена времен года осталась для него только для того, чтобы снова и снова возвращать весну.

Но деревья продолжали расти, а девочки становились девушками. И на материке, на другом конце дамбы, росло стремление Ирландии вернуть себе независимость.

* * *

Джонатан, восседавший в красном мундире на лошади, внимательно смотрел сверху на Гризельду, а Гризельда, тоненькая и прямая, стоявшая под портретом с поднятой головой, смотрела снизу на Джонатана. За ней на коленях ползала ее горничная Молли с полным ртом булавок, пытаясь привести в порядок складки платья цвета полыни. Они сами сшили это платье, используя картинки из модного парижского «Журнала для дам и барышень». Гризельда вдохновенно добавила к журнальному образцу шнурки, петлички и черные пуговицы, что позволило создать шедевр эпохи барокко, не имевший никакого смысла в жизни на острове Сент-Альбан.

Но Гризельда не жила на острове, она всего лишь временно существовала на нем. Она ожидала, когда начнется ее настоящая жизнь, которая, как она была уверена, рано или поздно найдет ее. Возможно, в один из ближайших дней. В любом случае, это произойдет очень скоро. Через две недели Гризельде исполнялось восемнадцать лет. После этого она начнет стареть.

В комнату вихрем ворвалась Китти в платье из коричневой шерсти, какие обычно носили служанки. Прижимая к груди корзинку, сплетенную из ивовых прутьев, она крикнула Гризельде:

— Держи! Это для тебя!.. Послушай, ты так похожа на деда! Я никогда раньше не замечала этого!..

Она замерла на несколько секунд, чтобы несколько раз перевести взгляд с сестры на портрет, потом закружилась вокруг нее, рассеивая по комнате запахи земли, моря и своего большого серого пони.

Китти поставила корзинку возле Гризельды, рядом с Молли, ползавшей на коленях вокруг платья. Затем она приподняла крышку корзинки, извлекла из нее небольшой меховой комок в белых и рыжих пятнах и сунула его Гризельде.

— Это щенок от колли Эмера Мак Рота. Чистокровный колли!

Щенок, потрясенный переменой обстановки и вниманием людей, пустил струйку прямо на руки Гризельды. Девушка вскрикнула и выронила его. Молли поймала беднягу на лету; Гризельда снова взяла его, опустила на пол и принялась трепать щенка, ласково ругая его. Щенок повизгивал, падал на спину, болтал в воздухе лапами, вскакивал, спотыкался и снова падал.

Наконец, Гризельда подобрала щенка и направилась к двери, держа его на вытянутых руках, чтобы уберечь платье от возможных неприятностей.

— Ты куда? — поинтересовалась Китти.

— Я хочу показать его Уагу, они должны познакомиться.

— Ты сошла с ума! Он же слопает бедняжку!

— Я не позволю.

И она выбежала, преследуемая Молли, державшей в руке конец шнурка, который она не успела прикрепить к нужному месту, и Китти, размахивавшей пустой корзинкой.

Когда девушки выбежали из комнаты, леди Гарриэтта, сидевшая возле камина, вздохнула. Перед ней была натянута вышивка, изображавшая викторианский букет, окруженный гирляндами. Ей требовалось еще много лет, чтобы закончить работу.

* * *

В зарослях цветущего дрока над самой землей мелькало что-то белое, то появляясь в просветах листвы, то исчезая, то снова возникая и стрелой перемещаясь от одного куста к другому. Это был лисий хвост.

Небольшое рыжее животное с белым хвостом прожило гораздо дольше, чем другие представители этого вида. Можно подумать, что время, пытавшееся догнать его, постоянно отставало. Тем, кто иногда замечал его среди зелени, казалось, что с каждой встречей он выглядел все более и более изящным. Если бы кто-то взял его на руки, то наверняка подумал бы, что держит в руках ветер. Обитатели Сент-Альбана, исходя из двуцветной шкурки, прозвали лиса Белым Рыжиком; это имя, произнесенное по-гэльски, превратилось в устах девочек в Уагу. Вот уже несколько лет лис не уходил с острова, питаясь мышами, улитками, кузнечиками и прочей лесной мелюзгой. Чувствуя себя в безопасности, он все же никогда не приближался к людям и позволял увидеть себя только тем, кому доверял.

Иногда Эми, волосы которой стали такими же белыми, как хвост лиса, приходила ночью к его норе, усаживалась на пенек и долго разговаривала с ним. В тишине, наступавшей в промежутках между ее фразами, можно было услышать только сонное щебетанье проснувшихся птиц и негромкий рокот волн. С подробностями, не предназначавшимися для чужих ушей,

она рассказывала лису о хлопотах по дому, о жизни терзаемой завоевателями Ирландии. Она говорила, что озабочена судьбой пяти девушек, и нередко просила у Уагу совета.

Лис, внимательно выслушивавший гостью, никогда не показывался из норы. Возможно, он понимал, что она говорила. Иногда, во время визита Эми, он находился далеко от норы, на другом конце острова, где охотился за каким-нибудь кузнечиком, принесенным ветром из Америки. Тем не менее, Эми, закончив свой монолог, всегда уходила умиротворенная, нашедшая в бесконечном ночном покое ответы на свои вопросы.

Щенок, оказавшийся возле норы под корнями тиса, крутился, падал, спотыкаясь, поднимался, обнюхивал землю, приседал от страха, тявкал, вилял хвостом и пытался найти кого-то или что-то, возможно, весь мир.

Лис кружил вокруг него, не показываясь из зарослей дрока, азалий и вереска. Он очень быстро передвигался в давно проделанных им зеленых коридорах, не теряя щенка из виду. Странное существо, такой необычной окраски… Что за зверь? Он давно попытался бы познакомиться с ним поближе, но тот был не один…

С поворота аллеи за щенком следили три девушки. Молли заканчивала пришивать тесьму, то и дело поглядывая на тис. Китти, судорожно сжимавшая ручки корзинки, пригрозила:

— Если он сделает щенку больно, я убью тебя!

— Уходите отсюда, — крикнула Гризельда, топнув ногой. — Пока вы здесь, он не выйдет из кустов!

— Но... — пробормотала Китти.

— Уходите!

Молли поспешно закончила шить и завязала узелок на нитке. Гризельда сердито вытолкала ее и сестру за поворот аллеи.

— Уходите! Возвращайтесь домой!

— Если только он… — снова начала Китти.

— Замолчи!

Когда их шаги затихли в отдалении, Гризельда вернулась к повороту аллеи и замерла в ожидании. Прошло несколько минут, и узкая рыжая мордочка появилась из травы между двумя цветками вьюнка. Потом она увидела сначала два раскосых глаза, потом два прижатых уха, тут же выпрямившихся.

— Ну, здравствуй, — сказала Гризельда.

Уагу появился полностью и мигом оказался возле щенка. Он уткнулся в него носом, и шерсть на загривке у лиса встала дыбом. Щенок упал на спину и подставил лису живот. Лис отступил и уселся, продолжая принюхиваться к щенку и вытянув свой великолепный хвост. Он негромко сказал:

— У-у-у…

Щенок в ответ заверещал тонким голоском.

Лис прыгнул вперед и принялся танцевать вокруг щенка. Он подпрыгивал, приземляясь на все четыре лапы и задрав при этом хвост, как это делают кошки. Потом остановился и осторожно стиснул щенка зубами.

— Уагу! — громко окликнула его Гризельда.

Лис выпустил щенка и оглянулся на девушку. Он словно хотел сказать: «Я не собираюсь убивать его… Я просто хочу отнести его в нору…»

— Но он не принадлежит тебе! — возмутилась Гризельда.

— Ладно, ладно! — весело тявкнул лис в ответ.

Ткнув носом девушку, он сбил ее с ног, заставив кувыркнуться несколько раз, перепрыгнул через нее и исчез в зарослях дрока.

Гризельда подобрала щенка и прижала его к груди, больше не заботясь о своем платье. Она пробежала через лес только ей известной тропинкой

и поднялась на башню у причала. Как всегда, с моря дул ветер. Придерживая щенка левой рукой, она вытащила из волос шпильки и отбросила их. Потом, опустив щенка на землю, распустила с помощью ветра волосы. Ветер тут же подхватил их, и они затрепетали, словно разорванные паруса горящего судна. Закрыв глаза, Гризельда потянулась навстречу ласкавшему ее лицо ветру. Однажды с той стороны, откуда дует ветер, придет то, чего она ждет, не представляя, будет ли это кораблем, человеком, жизнью…

Щенок, свернувшийся у ее ног, давно уснул.

* * *

Смешной щенок превратился в великолепного пса. К двум годам его белый пластрон, щитом закрывавший грудь, опустился ниже живота. Узкая морда, почти такая же, как у Уагу, тоже была белой, и по огненно-рыжей голове проходила белая полоска. Такая же рыжая шерсть окружала его уши. Огненно-рыжая спина заканчивалась хвостом, белым снизу и рыжим сверху. Остальная часть тела была покрыта пятнами двух цветов. По телосложению он напоминал борзую, но был гораздо массивнее.

Лежа на полу комнаты с опущенной между вытянутыми вперед лапами мордой, Ардан наблюдал за Гризельдой, задремавшей на кровати с единорогами. Она поменялась кроватью с матерью, которой не нравились лошади с длинным рогом. Конечно, она ни с кем не делилась предположением, что их вредное влияние было истинной причиной недомогания девушки. Да, Гризельда была больна…

Она подолгу гуляла в одиночестве по острову, не обращая внимания на погоду. Пес всегда сопровождал ее. Летом, в солнечные дни, она сидела на мысу, на вершине скалы, получившей название Пальца, в небольшой нише, проделанной ветром и водой. Рыбаки называли ее Морским Троном. На этом троне Гризельда сидела спиной к острову, и перед ней не было ничего, кроме уходящего за горизонт моря. Она представляла, что находится на носу корабля, и нужно всего лишь поднять якорь, чтобы устремиться в неведомые края. Ветер свистел в трещинах скалы, волны рычали, словно органные трубы, врываясь в подводные пещеры, убежище огромных рыбин. Над головой с жалобными воплями то и дело проносились морские птицы. Вскоре Гризельде начинало казаться, что скала качается под ней, словно корабельная палуба, а горизонт начинает приближаться. Она закрывала глаза, и корабль уносил ее все дальше и дальше…

Потом она стала приходить сюда с книгой из библиотеки отца. В своем уютном убежище она могла часами читать о жизни знатных красавиц, недосягаемых для закона, попирающих ногами околдованных ими мужчин и способных менять ход истории. Несмотря на то, что большинство из них плохо закончило, Гризельда не думала о финале. Нетерпеливо ожидая начала, она мечтала, как судьба увлечет ее к такому же ослепительному будущему, если не к чему-то еще более величественному. Она была уверена, что всегда будет свободной, полной хозяйкой своей судьбы.

Но проходили годы, и в ее власти оставался только ее верный Ардан.

Он не мог карабкаться вместе с хозяйкой до Трона и оставался лежать у подножья скалы, на которую девушка взбиралась, словно горная козочка, нередко даже сбросив сапожки.

В конце января случилось необычно солнечное утро. Можно было подумать, что за одну ночь природа перешагнула из конца зимы прямо в расцвет весны. В такие дни всегда можно ждать чего-то необычного, например, неожиданного появления загадочных путешественников.

Гризельда быстро расправилась с утренним чаем, нетерпеливо поторопила возившуюся с ее прической Молли, выбрала лиловое платье и зеленое

пальто из муаровой ткани. На тяжелую массу рыжих волос она набросила кружевное облако, такое же светлое, как и сапожки. Она выбежала из дома через садовую калитку и устремилась через лес, сопровождаемая своим псом, танцующим вокруг нее подобно языку пламени.

В тот момент, когда Гризельда вскарабкалась на скалу, на горизонте появилось темное пятнышко, направлявшееся в пролив между островами Церковный и Соленый. Как только девушка уселась на обычном месте, на Сент-Альбан налетел шквал с дождем, струи которого неслись почти горизонтально. В одно мгновение ниша, где находилась Гризельда, заполнилась водой. Насквозь промокшая Гризельда, с которой стекала дождевая вода, спустилась со скалы и попыталась укрыться под деревьями. Но с их вершин тоже каскадами струилась вода, срывавшая с ветвей листву и птичьи гнезда.

Встревоженная леди Гарриэтта принялась пересчитывать дочерей. Боже, и куда только они пропали в такую страшную непогодь? Самая младшая, Джейн, оказалась рядом с матерью. Умница, она никогда не огорчала мать. Старшая, Элис, самая красивая, отправилась в Донегол с теткой Августой, приславшей за девочкой карету. Элен сидела над книгой в библиотеке вместе с отцом. Китти с утра посвятила свое свободное время посещению живших поблизости бедных семей, которым щедро дарила съестное и свою заботу. Разумеется, она могла без труда найти укрытие. К тому же, дождь на материке мог быть гораздо слабее.

А вот Гризельда… Ах, эта Гризельда, непредсказуемая девчонка! Она опять носится — да еще и босиком! — где-то по острову… Когда на нас обрушился настоящий потоп!

Леди Гарриэтта хотела позвать горничную, чтобы та отнесла девочке плащ, но оказалось, что Эми уже отправилась на поиски с двумя служанками.

Сотрясаемая нервной дрожью, леди Гарриэтта смотрела из окна своей комнаты на лес, взъерошенный порывами ветра. Она плохо представляла территорию между домом и океаном. Предпочитала противоположный край острова с аккуратно подстриженными лужайками и гармонично оформленной аллеей, спускавшейся к дамбе. Этот вид благотворно действовал на ее глаза и ее душу. Впрочем, она почти не покидала дом, единственный смысл ее существования, ее убежище, ее раковина, изолированный островок покоя посреди острова. Что касается Сент-Альбана, то в короткие тревожные моменты остров казался ей не менее таинственным и опасным, чем Африка.

Библиотека представляла собой третий, самый маленький островок, находившийся внутри и под защитой второго и первого островов, то есть дома и Сент-Альбана. Здесь сэр Джон, укрывшийся от действительности, спокойно занимался своими изысканиями. На его глазах выросли дочери, но это не побудило его к размышлениям. Его четвертая дочь, Элен, завороженная загадками шумерских табличек, уже много лет участвовала в отцовских исследованиях. Он не видел ничего необычного в том, что девятнадцатилетняя девушка увлеченно копалась в пыли прошлого. Наверное, он даже не заметил, что за окном бушует непогода.

Ветер и дождь усилились. Огромный вихрь, словно гигантский мускул, обвился вокруг дуба и согнул ветвь толщиной в человека. Она затрещала, оторвалась и рухнула на аллею вместе со сломанными мелкими ветками и охапками листвы. За секунды до ее падения под дубом проехала карета. Как лошади, так и кучер с пассажиром, ослепленные и оглушенные бурей, даже не заметили чудом миновавшую их опасность.

Эми со служанками вернулись под крышу, так и не найдя Гризельду. Только Молли продолжала искать ее. Иногда, сквозь шум дождя и ветра

можно было услышать, как она зовет то Гризельду, то собаку. Девушка слышала, что ее зовут, но не хотела отвечать. Укрывшаяся от бури в туннеле, Гризельда сидела на столбике, обозначавшем его середину. Прижав к груди мокрого пса и не позволяя ему откликнуться на зов, она чувствовала согревающее ее звериное тепло. Наконец Молли перестала кричать, и теперь они слышали только рев окружавшей их бури. Гризельда ощущала то тепло, то холод, она боялась и в то же время радовалась.

Карета остановилась перед ступеньками. Кучер в длинном пальто, по которому струилась вода, сошел на землю и распахнул дверцу. Леди Гарриэтта разглядела через завесу дождя силуэт мужчины, не решавшегося выйти под дождь. Она тут же послала ему на выручку Бригитту, маленькую служанку, державшую большой зонтик. Ветер коварно приподнял ее юбку, и она едва не выпустила зонтик, стараясь сохранить благопристойный вид. Мужчина выбрался из кареты, быстро поднялся по ступенькам, обеими руками придерживая черный цилиндр, и совершенно промокший, наткнулся на леди Гарриэтту. Заметив ее перед собой, он с извинениями поклонился. Это был Амбруаз Онжье, лондонский коллега сэра Джона, с которым тот поддерживал постоянную переписку. Сейчас он приехал на Сент-Альбан, чтобы помочь сэру Джону своими советами. На его лице выделялись усы, все еще темные, и небольшая поседевшая бородка. Ему исполнилось сорок два года. Когда он выпрямился после того, как поклонился леди Гарриэтте, на его бородке и усах засверкали капельки дождя.

В Донеголе дождя не было. Вернее, из принесенных ветром туч время от времени сыпался мелкий дождик, на который в Ирландии никто не обращает внимания. Элис побродила по узенькой улочке, где находилась лавка торговца пряностями, купила в ней немецкий одеколон для леди Гарриэтты и немного пряностей для Эми. До этого она уже нашла синие шелковые нитки для Гризельды и гусиные перья для отца. Ей приходилось каждый месяц выполнять поручения всех членов семьи, и ее при этом обычно сопровождала тетка Августа. Пока Элис заполняла сумку разными мелочами, Августа занималась более серьезными покупками. Закончив дела, они должны были встретиться на рыночной площади.

Внезапно Элис остановилась. Из широко распахнувшихся дверей на улицу выплеснулись ликующие звуки органа. Сразу же двери снова закрылись за вошедшим. Поколебавшись некоторое время перед пустой серой стеной, в которую была врезана деревянная дверь с крестом святого Патрика[1], Элис тоже осторожно вошла с бьющимся сердцем. Она знала, что оказалась в часовне сестер милосердия[2], хотя в возрасте 27 лет никогда не переступала порог католического заведения. Сэр Джон по традиции считал себя протестантом, но никогда не проявлял пылкой религиозности. Ежемесячно, каждое третье воскресенье, он приглашал на остров пастора, но во время службы обычно не переставал размышлять о тайнах истории Вавилона. Вера леди Гарриэтты была таким же результатом условий ее воспитания, как скромность и умение играть на фортепьяно. Для Элис Бог был проблемой, призывом и одновременно источником страхов. Она нуждалась в Боге, но не могла найти его. Бог родителей казался ей карика-

[1] Крест святого Патрика — косой красный крест в виде буквы X на белом фоне. Считается символом покровителя Ирландии, святого Патрика, и одним из символов Ирландии.

[2] Монашеская конгрегация «Сестры Милосердия» была основана в 1831 году в Дублине католической монашенкой Кэтрин Элизабет Макколи для помощи бедным девушкам, матерям-одиночкам и брошенным на произвол судьбы пожилым людям.

турой, и пастор, несмотря на всю его убежденность, не мог открыть перед ней ничего, кроме пустоты.

Испуганная, потрясенная, ощущающая себя виноватой, не представляющая, что ей делать, Элис прошла за вошедшей перед ней женщиной в черном. В глубине нефа, за невысокой решеткой, она увидела три ряда коленопреклоненных монашенок. Между ними и алтарем монашенка во всем белом лежала на полу лицом вниз, раскинув руки таким образом, что широкие рукава ее одеяния образовали вместе с телом правильный крест. Священник в расшитой золотом одежде, стоявший среди золотых предметов и золотого света свечей спиной к молящимся, совершал загадочные движения руками. Еще два священника в белом, похожие на ангелов, стояли рядом с ним справа и слева. Звучало странное песнопение на латыни, и орган то и дело вторил ему звуками радости и славы. Огоньки свечей казались осколками солнца.

Элис, подобно шедшей впереди женщине, опустила кончики пальцев в каменную чашу кропильницы, почувствовав при этом одновременно лед и огонь и испытав потрясший ее шок. В шаге от нее женщина в черном осеняла себя крестным знамением, не обращая внимания на окружающих. С невероятным усилием, чувствуя, что ее руку свела судорога, сопротивляясь, выработанным за четверть века рефлексам, она впервые обозначила крест на своем теле: лоб, грудь, одно плечо, второе плечо.

Когда прекратился ливень, Гризельда и Ардан вернулись домой. Чтобы не встречаться с матерью, они проскользнули через кухню. Заметившая их Эми, сердито передвигавшая на плите кипящие кастрюли, обругала на гэльском. Ардан ответил ей в том же духе, показав при этом зубы, и отряхнулся, обдав Эми брызгами. Гризельда бросилась в свою комнату, куда за ней сразу же последовала Молли, которая энергично растерла девушку и заставила ее переодеться. Сэр Джон и леди Гарриэтта в это время беседовали в салоне с успевшим просохнуть гостем.

Элис встретилась с теткой, ожидавшей ее в коляске на рыночной площади. Рядом с кучером на облучке сидел какой-то юноша. Тетка взволнованно объяснила ей, что это шофер. Элис знала, что так называют людей, умеющих управлять автомобилем. Леди Августа надеялась, что теперь сможет воспользоваться автомобилем, купленным для нее мужем на Парижской выставке. Еще осенью автомобиль был доставлен покупателю — его привезли на повозке, запряженной лошадьми. Однако, так как сам сэр Лайонель не умел водить автомобиль, тот до сих пор стоял в сарае. Юноша, по имени Шаун Арран, оказавшийся приемным сыном одного из местных рыбаков, недавно вернулся из Германии, где работал в мастерских фирмы Бенц. Он разбирался в двигателях и умел водить машину. Леди Августа любила лошадей, но ей порядком надоел довольно медленный способ передвижения верхом. Она давно мечтала о бешеной скачке на железном коне. Может быть, думала она, на этой машине ей даже удастся погоняться за лисой.

Продолжение следует.

Перевод с французского Игоря НАЙДЕНКОВА.

Писатель и человек

Из переписки Ивана Шамякина

Журнал «Нёман» уже неоднократно публиковал переписку Ивана Шамякина с коллегами-писателями, редакторами, переводчиками, государственными и общественными деятелями. Предлагаем еще одну подборку писем как самого Ивана Петровича, так и к нему. Думается, что данная подборка писем дополнит представление читателей о жизни и творчестве И. Шамякина, о периоде, в котором жил и работал народный писатель Беларуси. Несмотря на то, что переписка несет в себе определенную долю субъективизма, письма, поздравительные открытки, телеграммы позволяют лучше понять И. Шамякина как писателя, человека, общественного деятеля. Надеемся, что предлагаемый материал не разочарует читателей журнала.

Н. С. Ярцев — И. Шамякину
20 марта 1958 года

Здравствуйте, дорогой Иван Петрович!

Я решил обратиться к Вам с этим письмом по следующему поводу.

Я, по профессии журналист, работаю на этом поприще уже более 20 лет. Я воспитанник литературного института им. Горького в Москве, так что моей «второй профессией», если так можно выразиться, является драматургия, потому что после института и во время учебы я написал несколько пьес. То ли по своей скромности, мне все казалось, что пьесы мои еще слабы, я их не давал в театр, и они лежат у меня пока «мертвым капиталом». В прошлом году я провел все лето в одном из колхозов Тульской области, неподалеку от толстовских мест. Там я обстоятельно познакомился с жизнью колхозников, и особенно местной интеллигенции. В моем блокноте накопилось очень много интересных тем и сцен. Я уже собирался сесть писать пьесу, как вдруг мне попался под руку Ваш роман «Криницы». Я его прочел быстро, запоем, настолько он был интересен и так совпадал с тем, что я видел в деревне. Мне казалось, что будто и Вы побывали в этом колхозе «Путь к коммунизму». Иван Петрович, я решил обратиться к Вам с просьбой и предложением. Я хочу инсценировать Ваш роман с тем, чтобы потом предложить пьесу одному из московских театров и Всесоюзному радио. У меня уже появились наметки такой инсценировки. Я, конечно, очень бережно отношусь к Вашему замыслу, все герои, вся ситуация остается без изменения. А мне кажется, что такие изумительные образы, как Лемяшевич и Наташа, на сцене будут очень хороши, в них заложена та «сценическая динамика», которая так необходима театру.

Иван Петрович, я жду Вашего решения. Если только будет Ваше благосклонное согласие, то, может быть, нам надо будет со временем повстречаться.

Мой адрес: Москва Б-140, Леснорядская ул. дом 16, кв. 1. Ярцев Николай Семенович.

С приветом Н. С. Ярцев

Письмо написано журналистом Николаем Семеновичем Ярцевым.

Инсценировка романа «Криницы» была сделана Н. С. Ярцевым. Но инсценирован он был только в 1961 году. Авторами инсценировки стали И. Шамякин и Ю. Щербаков.

...от толстовских мест. — Имеется в виду Ясная Поляна — усадьба в Щекинском районе Тульской области (Россия), основанная в XVII веке и принадлежавшая сначала роду Карцевых, затем роду Волконских и Толстых. В ней 28 августа (9 сентября) 1828 года родился Л. Н. Толстой, здесь он жил и творил. Здесь же находится и его могила.

Лемяшевич и Наташа — герои романа И. Шамякина «Криницы» (1953—1955).

Н. Ярцев — И. Шамякину
12 октября 1958 года

Здравствуйте, Иван Петрович!

Я решил Вам написать, потому что ровно месяц назад послал к Вам экземпляр пьесы — инсценировки Вашего романа «Криницы». Получили ли Вы его? Я жду Вашего решения. Со своей стороны я так неофициально показывал кое-кому из театров эту пьесу. Все считают, что она получилась и, может быть, с небольшими поправками может быть отдана в любой столичный театр.

Так что, дорогой Иван Петрович, я хочу Вас поторопить, дайте мне Ваш ответ. Я его с нетерпением жду.

С приветом Н. С. Ярцев.

P. S. Сегодня в газете «Литература и жизнь» от 12 октября я прочел в числе авторов, которые написали новые пьесы, и Вашу фамилию.

Если это не тайна, то скажите, что это за пьеса?

Кроме того хочу напомнить Вам, дорогой Иван Петрович, что у нас в Москве вовсю рекламируется пьеса-инсценировка вашего земляка Петруся Бровки.

Итак, жду от Вас весточки.

Мой адрес: Б-140

Леснорядская ул., дом 16, кв. 1

Ярцев Николай Семенович

На листе рукой И. Шамякина написано: «Адказаў».

Письмо написано Н. С. Ярцевым. См. предыдущее письмо. Текст письма И. Шамякина в ответ на это письмо Н. Ярцева на сегодняшний день не выявлен.

«Литература и жизнь» — газета, орган Союза писателей РСФСР, выходила с 6 апреля 1958 года до 1962 года.

...в числе авторов, которые написали новые пьесы, значится и Ваша фамилия. — В 1958 году И. Шамякиным была написана пьеса «Не верьте тишине».

...вовсю рекламируется пьеса-инсценировка Вашего земляка Петруся Бровки. — Вероятно, инсценировка романа «Когда сливаются реки» (1957).

Н. Ярцев — И. Шамякину
29 октября 1958 года

Многоуважаемый Иван Петрович!

Я прошу меня извинить, что отвлекаю Вас от творческой работы и многих других обязанностей. Но я все же очень хочу знать Ваше мнение о моей инсценировке Вашего романа «Криницы». Напишите. Я жду.

С приветом Н. С. Ярцев.

Мой адрес:
Москва Б-140
Леснорядская ул., дом 16, кв. 1
Ярцеву Николаю Семеновичу

На письме рукой И. Шамякина написано: «Адказаў». Текст письма И. Шамякина в ответ на это письмо Н. Ярцева на сегодняшний день не выявлен.

См. коммент. к предыдущим письмам (№ 1, 2).

А. Чеснокова — И. Шамякину
23 марта 1962 года

Добрый день, Иван Петрович!

Вчера Вам выслали сверку Вашей книги. Очень прошу Вас — внимательно посмотрите роман «В добрый час». Эта книга выходила в свет давно, в нее мы внесли ряд поправок — вычеркнули упоминание травопосевной системы, некоторые имена и т. д. Может быть, мы что-нибудь и пропустили, поэтому Ваш глаз в этом случае очень важен. В «Криницах» как будто все в порядке. Я параллельно с Вами читаю сверку, а когда получу Ваш экземпляр — перенесу правку в рабочий. По возможности не задерживайте сверку.

С уважением и приветом
А. Чеснокова

Письмо написано редактором издательства «Молодая гвардия» Александрой Ивановной Чесноковой (1908—?). Затем она работала старшим редактором издательства «Советский писатель».

...сверку Вашей книги. — Корректуру книги И. Шамякина (М., 1962), в которую вошли романы «В добрый час» (1952) и «Криницы» (1955).

В. Косолапов — И. Шамякину
12 января 1962 года

Дорогой Иван Петрович!

Наша газета выступлениями Г. Радова и С. Ляндреса (см. «Литературную газету» от 21.XII-61 г.) начала широкую кампанию по книгоиздательскому и книготорговому делу. Быть может, опыт Ваших личных отношений с издательствами подсказывает Вам какие-либо общие выводы. Просим Вас, хотя бы вкратце, высказать свое отношение к этим проблемам. Хотелось бы узнать Ваше мнение о тиражной политике наших издательств, о культуре издания книги, о формах учета читательского спроса на литературу и о любых вопросах этого плана, представляющихся Вам существенными.

С уважением
Главный редактор «Литературной газеты» (В. Косолапов)

Письмо написано известным деятелем культуры, писателем, 26-м главным редактором (1960—1962) «Литературной газеты» Валерием Алексеевичем Косолаповым (1910—1982). Впоследствии глава издательства «Художественная литература», главный редактор журнала «Новый мир» (1970—1974).

Радов Георгий Георгиевич (1915—1975) — русский прозаик, публицист.

Ляндрес Семен Александрович (1907—1968) — советский государственный деятель, организатор издательского дела, редактор, литературовед. Отец писателя Юлиана Семенова.

В. Ильинков — И. Шамякину
26 апреля 1962 года

Дорогой Иван Петрович!

Нам порекомендовали напечатать в «Роман-газете» повесть Василя Быкова «Третья ракета». При этом была ссылка на положительную рецензию Г. Бакланова.

Поскольку белорусская литература за длительный период времени никак не была представлена в «Роман-газете» и мы в большом долгу перед белорусскими писателями, мне хотелось бы знать Ваше мнение, <u>личное, неофициальное,</u> о повести и ее авторе.

Та ли эта повесть, которую необходимо публиковать в «Роман-газете»? Отражает ли она то лучшее, что есть в современной белорусской литературе? Тот ли это автор, которого необходимо в первую очередь представить по белорусской литературе в «Роман-газете».

Не откажите в любезности, черкните несколько слов.

С дружеским приветом (В. Ильинков)

Письмо написано главным редактором журнала «Роман-газета» В. Ильинковым.

На сегодняшний день текст ответного письма И. Шамякина не выявлен. Но в устных разговорах писатель высоко отзывался о творчестве Василя Быкова.

Бакланов Григорий Яковлевич (1923—2009) — русский советский писатель, один из представителей «лейтенантской прозы». Лауреат Государственной премии СССР (1982).

Та ли это повесть, которую необходимо публиковать в «Роман-газете»? — Повесть «Третья ракета» в переводе на русский язык (перевод М. В. Горбачева) вышла в 1962 году в «Роман-газете».

А. Доценко — И. Шамякину
3 апреля 1963 года, Москва

Уважаемый Иван Петрович!

Я узнал, что у Вас вышел хороший роман об интеллигенции города на белорусском языке.

Не отдали бы Вы свою рукопись для перевода на русский язык мне? Я работаю в Воениздате.

Если будет Ваше согласие, прошу сообщить по адресу.

Москва, Ж-4, Б. Фа<нрзб> переулок, дом 2/22, кв. 21

Алексею Ивановичу Доценко

С искренним к Вам уважением

Полковник А. Доценко.

P. S. Белорусский язык я знаю.

А. Доценко

Письмо написано полковником, сотрудником Воениздата Алексеем Ивановичем Доценко.

...хороший роман об интеллигенции города... — Роман «Сердце на ладони» (1963).

...рукопись для перевода на русский язык мне. — Роман «Сердце на ладони» на русский язык был переведен А. Г. Островским. О переводе романа на русский язык А. Доценко на сегодняшний день сведений не выявлено.

И. Шамякин — И. Пташникову
12 августа 1977 года

Уважаемый Иван Николаевич!

В 1979 году белорусское издательство «Мастацкая літаратура» планирует выпустить книгу воспоминаний о народном писателе Белоруссии, лауреате Ленинской премии Иване Павловиче Мележе. Очень желательно было бы, чтобы и Вы, близко знавший Ивана Павловича, написали о нем свои воспоминания. Может быть, у Вас сохранились его письма, фотографии, которые, на Ваш взгляд, можно было бы использовать при подготовке книги.

Убедительно просим Вас отозваться на нашу просьбу. Материалы для сборника воспоминаний о И. П. Мележе просим присылать по адресу: 220030, г. Минск, ул. Я. Купалы, 7, кв. 52. Мележ-Петровой Лидии Яковлевне.

Материалы желательно получить до 1 января 1978 года.

Первый секретарь Правления СП БССР (И. Шамякин)

Книга воспоминаний про И. Мележа под названием «Успаміны пра Івана Мележа» вышла в 1982 году в издательстве «Мастацкая літаратура». В книге воспоминаний И. Пташникова нет.

Мележ-Петрова Лидия Яковлевна (1923—2004) — жена И. П. Мележа.

И. Шамякин — Н. Лесючевскому
12 января 1965 года

Николай Васильевич,

еще раз сердечно приветствую Вас в новом году и в Вашем лице весь коллектив нашего писательского издательства. Пусть новый год для всех нас будет во всем счастливым и плодотворным.

Однако торжества и празднества минули и начались будничные дела, общественные и личные. Таков закон жизни каждого из нас.

Еще в старом году я послал на Ваше имя наши рекомендации для плана выпуска и плана редподготовки. В новом году я вынужден сделать поправку, очень существенную для одного хорошего писателя. Мы у себя в Союзе писателей несколько не сориентировались и занесли А. Кулаковского в раздел редподготовки. Сейчас я узнал, что очень интересная и оригинальная, на современную тему, книга А. Кулаковского «Я здесь живу», состоящая из четырех повестей, связанных общими героями, находится давно в редакции, имеет положительные рецензии, и конечно, нет смысла оттягивать ее издание на 1967 год. Прошу внести ее в план выпуска 1966 года.

Второе. В письме, подписанном мной, рекомендована и моя книга. Прошу понять это как мою заявку, которую я объясню в данном письме. Да, я прошу включить в план книгу «Тревожное счастье». Видимо, это пойдет по разделу «Переиздания». Но это не совсем переиздание. Пять лет живет моя книга,

состоящая из четырех повестей, имеющих самостоятельные сюжеты, но объединенная рассказом о судьбах двух главных героев — Петра и Саши. Книга обрывалась событиями 1942 года, войной. Сейчас я написал, сдал в журнал пятую повесть, в которой вновь в центре все те же Петро и Саша, их нелегкая, но интересная жизнь, работа в первый послевоенный год в разоренном войной белорусском селе.

Вы знаете: я не люблю бахвалиться. Но если критики и читатели считают меня одним из наиболее читабельных писателей, то я лично считаю, что самая читабельная моя книга — это «Тревожное счастье», книга о молодости моего поколения. Объем ранее изданной книги 23 авт. листа, новая повесть — 9 листов, всего — 32 листа. Как видите, на одну треть книга новая.

Все вместе взятое дает мне основание надеяться на поддержку Вашу, редакции, редсовета.

С уважением Иван Шамякин

Письмо написано И. Шамякиным директору издательства «Советский писатель» (г. Москва) Н. В. Лесючевскому.

...книга А. Кулаковского «Я здесь живу»... — Книга А. Кулаковского «Здесь я живу» не была перенесена на 1966 год. Вышла в 1967 году.

...в план книгу «Тревожное счастье». — Пенталогия «Тревожное счастье» вышла в 1966 году.

...книга, состоящая из четырех повестей... — До 1965 года «Тревожное счастье» выходило как тетралогия, в которую входили повести «Неповторная весна» (1956), «Ночные зарницы» (1958), «Огонь и снег» (1959), «Поиски встречи (1959).

...Петра и Саши. — Главные герои пенталогии «Тревожное счастье».

...я написал, сдал в журнал пятую повесть... — Повесть «Мост». Опубликована в журнале «Полымя», 1965, № 6, 7.

И. Шамякин — А. Романову
Октябрь 1964, Минск

Товарищ Романов!

Аркадий Кулешов сказал мне, что Вы в беседе с ним отрицательно отозвались о кинофильме «Криницы», что Вам очень не нравится в нем образ Артема Бородки.

И только после этого мне стало понятно, почему фильм, положительно оцененный в республике партийными работниками, писателями, журналистами, получил столь низкую оценку при определении категории.

Я уважаю мнение каждого человека. Как коммунист, писатель я всегда отстаивал и буду отстаивать принципы партийного руководства литературой и искусством. Но мне кажется, что процессы в нашем искусстве проходили бы более нормально и менее болезненно, если бы окончательно отказались от практики, когда судьбу художественного произведения решает мнение или даже настроение одного человека.

С уважением Иван Шамякин

Письмо написано И. Шамякиным председателю Госкино СССР А. Романову насчет определения категории фильма «Криницы» по одноименному роману И. Шамякина. Письмо написано примерно в октябре 1964 года. Фильм был снят в 1964 году.

Артем Бородка — главный герой романа И. Шамякина «Криницы» (1955).

И. Шамякин — А. Романову
13 ноября 1964 года

Письмо Ваше меня опечалило так, что вы имеете такое нелестное мнение о нашем брате, авторе. Но я не обижаюсь. Однако, если можете, прошу поверить, что мое первое письмо продиктовано вовсе не тем, «что фильм «Криницы» отнесен к третьей категории по оплате». Решение это состоялось в августе, и я, Вам может подтвердить Дорский, встретил его настолько спокойно, что режиссер мой Шульман был в отчаянии не столько от самого решения, сколько от того, что я столь безразличен к этой «трагедии группы», как сказал один товарищ. Между прочим, я и до сих пор не имею представления, как это скажется на оплате моего труда. Я больше ни на что не претендую. Но мне очень хочется, чтобы Вы, мой старший товарищ и руководитель серьезного дела, поверили, что я пошел в кино не для высокого гонорара. Если уж говорить об гонораре за этот фильм, то дело было обставлено так, что я заработал «як Фама на воўне» (есть у белорусов такая поговорка).

Мое желание попробовать свои силы в кино было вызвано более сложными мотивами и, не боюсь этого сказать, более благородными и принципиальными.

Но и вновь-таки, если можете, поверьте: работа над одним фильмом стоила мне нервов в пять раз больше, чем мои пять романов. А они ведь не железные у нас, нервы.

Во всем остальном я с Вами согласен. Да, видимо, мой опыт в кино не удался. Моя в этом вина или не моя — дело другое. Обещаю Вам: впредь буду только активным кинозрителем. Даже критиком не буду.

Искренне, от всего сердца желаю Вам больших успехов в Вашей очень и очень нелегкой работе.

С глубочайшим уважением Иван Шамякин

Письмо написано И. Шамякиным А. Романову. См. текст предыдущего письма и комментарий к нему.

Дорский Иосиф Львович (1911—1964) — белорусский писатель. Заслуженный деятель искусств БССР (1961). В 1961—1964 гг. — директор киностудии «Беларусьфільм».

Шульман Иосиф Абрамович (1912—1990) — белорусский кинорежиссер. Заслуженный деятель искусств БССР (1964). В 1964 году снял фильм «Криницы» по одноименному роману И. Шамякина.

С. Олейник — И. Шамякину
15 апреля 1958 года

Дорогой Иван Петрович!

Сердечно Вас приветствую и от души благодарю за Ваше поздравление, за добрые мне пожелания. В такой день особенно приятно чувствовать, что тебя не забывают друзья-товарищи, хорошие люди.

Вечер мой прошел очень тепло, хорошо. Это было 5 апреля в субботу. А на второй день «отмечали» это грустное «событие» в ресторане. Получил свыше 500 телеграмм, все республиканские газеты поместили статьи, была специальная передача по телевизору, кроме того по радио и т. д. Сейчас идут письма: от шахтеров, колхозников, учителей, участников художественной самодеятельности… Извините, что рассказываю об этом (просто делюсь с Вами по-дружески).

Вчера вечером у нас было коллективное чтение. Читали белорусский сборник (по-белорусски), в том числе и переводы моих нескольких стихотворений. Хорошо, мило переведено! И я подумал, что у меня уже есть свыше 40 переводов на белорусский язык (в журналах, газетах, сборниках).

Даже появилось было желание предложить Вашему издательству книжку. А потом решил, что это, наверное, неудобно. Как Вы скажете?

Дорогой Иван Петрович! Еще раз благодарю и передаю от себя и всего моего семейства горячий привет Вам и Вашей семье. Желаю наилучшего!

Ваш Ст. Олейник

Письмо написано украинским советским поэтом, лауреатом Сталинской премии (1950) Степаном Ивановичем Олейником (1908—1982).

...за Ваше поздравление, за добрые мне пожелания. — В связи с 50-летием со дня рождения.

...Читали белорусский сборник (по-белорусски), в том числе и переводы моих нескольких стихотворений. — Сборник украинской поэзии на белорусском языке.

Даже появилось желание предложить Вашему издательству книжку. — На белорусском языке выходили книги С. Олейника «Гумар і сатыра» (1959) и «Цуд у чаравіку» (1970).

М. Горбачев — И. Шамякину
22 мая 1956 года

Уважаемый Иван Петрович!

Горячо поздравляю Вас с новой творческой победой. С большим интересом я прочел первую часть романа «Крыніцы» и радуюсь тому, что Вы оправдали мои, как и всех остальных своих читателей и поклонников, ожидания. Очень уж правдиво и мастерски раскрыты в романе важнейшие проблемы современной деревни: взаимоотношения сил, заключенных в треугольнике — райком — колхоз — школа (сельская интеллигенция).

Оговариваюсь, я не читал продолжения, о второй части сужу по оценке В. Бурносова, с которым разговаривал на днях по телефону, но и начало романа заставляет высоко оценить это произведение.

Я договорился, Иван Петрович, перевести 4—5 передач для Всесоюзного радио (дать в форме чтения с продолжением). Очень прошу Вас помочь мне быстрее получить пятый номер «Полымя». Если выход его задерживается, может быть Вам удастся получить раньше авторский экземпляр или лишний сигнальный для меня. Буду очень признателен, если Вы пришлете мне его без задержки. Мой адрес:

Москва, Центр

Главрадио Горбачеву Мих. Вас.

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями

Горбачев

Письмо написано Михаилом Васильевичем Горбачевым (1921—1981), русским советским переводчиком, заслуженным деятелем культуры БССР (1971).

Бурносов Василий Емельянович (1914—1984) — белорусский литературный критик, литературовед.

...пятый номер «Полымя». — Пятый номер журнала за 1956 год, в котором печаталось продолжение романа «Крыніцы».

М. Горбачев — И. Шамякину
9 июля 1963 года

Добрый день, Иван Петрович.

Письмо твое я получил, большое спасибо. Ты особо не беспокойся, все идет по графику. Мне все ясно и никаких обид (избавь боже!) у меня нет и быть не может. Так что об этом не будем и говорить.

Теперь о делах. Волей-неволей я стал переводчиком твоей главы из нового романа, которую ты прислал в «Дружбу народов». Салахян попросил меня перевести ее, и я сделал срочно. Они развернули бурную деятельность по подписке, и такие главы будут рекомендовать республиканским и областным газетам. Кроме того, в связи с Днями белорусской литературы в РСФСР я предложил эту главу «Литературной России» — они сделают это со ссылкой на журнал («полностью роман будет печататься в «Дружбе народов»…). Сказал я редакторам «Л. Р.» следующее: берите, если не понравится, свяжемся с Островским и подберем что-нибудь другое. Отдал читать, дня через два-три обещают дать ответ.

В редакции «Лит. России» мы утвердили план показа бел. литературы для трех номеров: 2, 9, 16 августа. Предусмотрены интервью участников дней, снимки, главы из романов и повестей, очерки, рецензии, фото и т. д. Тебе досталась тема: «Белорусская литература сегодня» — на 4—5 страницах рассказать о том, чем живут сегодня писатели республики, что пишут, что думают… Тебе по этому поводу позвонит Никонова Тамара Дмитриевна, зав. отделом литератур народов СССР. Сегодня свяжусь с другими товарищами и передам им задания — делать все это надо без промедления.

В конце месяца предполагается пленум Правления «С. П.». Тебе надо обязательно приехать. По Белоруссии утвердили пока все книги, но в эти дни Татьяны Яковлевны не будет в Москве (на днях она уезжает в Коктебель), так что нужна поддержка белоруса.

Вот, кажется, и все, приезжай, звони, встретимся, — есть о чем поговорить.

С искренним приветом и самыми добрыми пожеланиями
Мих. Горбачев

Письмо написано М. В. Горбачевым. См. предыдущее письмо и комментарий к нему.

...я стал переводчиком твоей главы из нового романа, которую ты прислал в «Дружбу народов». — Роман «Сердце на ладони» был опубликован в журнале «Дружба народов», 1964, № 1—3 в переводе на русский язык А. и З. Островских. Публикацию главы из романа, перевод которой был сделан М. В. Горбачевым, на сегодняшний день выявить не удалось.

Салахян Акоп Ншанович (1922—1969) — армянский советский литературовед, литературный критик. Парторг журнала «Дружба народов».

...в связи с Днями белорусской литературы в РСФСР... — Дни белорусской литературы в РСФСР прошли 4—25 июля 1964 года.

«ЛР» — «Литературная Россия».

Островский Арсений Георгиевич (1897—1989) — русский переводчик, литературовед. Заслуженный работник культуры БССР (1973).

Никонова Тамара Дмитриевна. — На сегодняшний день дополнительных сведений, кроме тех, что есть в письме, не выявлено.

«С. П.» — «Советский писатель» — советское и российское издательство, основанное в 1934 году в Москве. С 1938 года — издательство Союза советских писателей. С 1992 года работало на коммерческой основе. С 2009 года практически книг не издает.

...Татьяны Яковлевны... — Горбачева Татьяна Яковлевна — русский переводчик, жена М. В. Горбачева.

М. Горбачев — И. Шамякину

Дорогой Иван Петрович!

Кончается мой отпуск. 19-го выхожу на работу и сразу же хочу приехать в Минск. Накопилось много дел: надо хорошо подготовить и провести в Москве юбилейный вечер Купалы и Коласа (видимо, в Концертном зале им. Чайковского),

глубже окунуться в работу с молодыми, заняться «Звяздой» и т. д. Все это будем решать на месте, посоветуемся с Киселевым, Шауро, Вами и договоримся о дате, о концерте и т. д.

Есть и еще одна серьезная причина для приезда в Минск! Вчера А. Карпюк сообщил мне неприятную новость: редсовет Госиздата БССР по настоянию Ерохина и Михайловой забраковал мой перевод «Дануты», и они передают повесть другому переводчику. Это безобразие. Перевод «Дануты» в основном хороший, кое-что я и сам поправил бы сегодня, но со мной даже никто не посоветовался, ничего не сказали мне, зато публично выразили недоверие. К этому делу, очевидно, приложил руку и Мележ (Михайлова — редактор его романа), он долго митинговал в издательстве, что я разочаровал его. Дело, однако, не в этом. Его роман будет не хуже в русском переводе, а кое-где даже лучше. Да и нечего ссылаться на то, что еще не вышло, тем более ты в курсе дел наших отношений с ним. Мною переведено немало с белорусского и украинского за последние годы, и почему-то читающая Москва их ценит, а Михайловой и Ерохину, видите ли, не нравится мой перевод. Мне тоже многое не нравится в деятельности Ерохина, но нельзя же допускать такого положения, чтобы одно лицо навязывало волю коллективу (редсовету), а из редсовета никто не читал перевода.

В Госиздате БССР еще ни разу не напечатали моей даже одной переводной строки, зато 50—100-тысячными тиражами печатают слабые переводы Ерохина и других. Разве это справедливо, Иван Петрович? Тут не просто недоверие, а нечто большее. Кроме того, «Данута» неплохо отредактирована Александрой Ивановной Чесноковой, повесть в верстке читал Соловьев, и они другого мнения о переводе. Несмотря на то, что Карпюк, Быков и Татур два дня отстаивали мой перевод, ему сказали «тогда ищите для ее издания новую редакцию». Что это за диктаторство, что за нравы господствуют там? И Карпюк вынужден был сдаться, ему даже не сказали, кто же будет переводчик. Это показательно для стиля Белгосиздата.

Я послал вчера Казеке письмо, просил повременить с заказом перевода до моего приезда в Минск, прочесть повесть. Я очень рассчитываю на поддержку СП БССР. Попрошу тебя, Иван Петрович, уладить этот вопрос с Казекой и Матузовым, иначе я буду вынужден рассказать и Киселеву, и Шауре о таком безобразии, написать вместе с Карпюком жалобу и таким путем добиваться справедливости. Но не хочется волокиты, да и времени жалко.

Надеюсь на твою дружескую, принципиальную поддержку. В Минске буду 24-IX.

С искренним уважением
М. Горбачев

Письмо написано М. В. Горбачевым. См. предыдущие письма. Датируется 1962 годом по содержанию письма: «...надо хорошо подготовить и провести в Москве юбилейный вечер Купалы и Коласа...» — Вечер прошел 22 ноября 1962 года.

Посвящено проблеме, связанной с переводом повести А. Карпюка «Данута». В Москве повесть вышла в 1961 году в переводе М. Горбачева, в Минске — в 1963 году в переводе Н. Кислика.

...надо хорошо подготовить и провести в Москве юбилейный вечер Купалы и Коласа (видимо, в Концертном зале им. Чайковского)... — Вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. Вечер прошел 22 ноября 1962 года. Концертный зал им. Чайковского — один из крупнейших концертных залов Москвы. Расположен на Триумфальной площади. Является главной концертной площадкой Московской филармонии. Вместимость 1505 мест.

...«Звяздой»... — С ежедневной белорусской общественно-политической газетой, которая выходит в Минске на белорусском языке с 1917 года.

Киселев Григорий Яковлевич (1913—1970) — белорусский государственный деятель.

Шауро Василий Филимонович (1912—2007) — советский партийный и государственный деятель. В 1960—1965 гг. — секретарь ЦК КПБ.

Карпюк Алексей Ничипорович (1920—1992) — белорусский писатель. Заслуженный работник культуры БССР (1980).

Ерохин Роман (Ромуальд) Алексеевич — журналист, переводчик.

Михайлова — редактор Государственного издательства БССР.

...мой перевод «Дануты»... — Повесть А. Карпюка «Данута» в переводе на русский язык М. В. Горбачева вышла в Москве в 1961 году.

...повесть в верстке читал Соловьев. — Верстку повести «Данута». Соловьев Борис Иванович (1904—1976) — русский советский писатель и литературный критик. Редактор, а с 1964 года заместитель главного редактора издательства «Советский писатель».

Татур Микола (Николай Игнатович; 1919—2001) — белорусский писатель, переводчик. С 1944 по 1966 годы — редактор, заведующий редакцией Государственного издательства БССР.

Казека Янка (Иван Дорофеевич; 1915—2000) — белорусский литературный критик, литературовед. В 1957—1967 гг. — главный редактор Государственного издательства БССР (с 1963 года — «Беларусь»).

Матузов Захар Петрович (1911—1977) — директор Государственного издательства БССР (с 1963 года — «Беларусь») в 1948—1978 гг.

С. Кирьянов — И. Шамякину
6 августа 1959 года

Дорогой Иван Петрович!

Роман Михася Зарецкого получил, дал на рецензию. Думаю, что он заслуживает издания в переводе на русский язык.

Правление будет 20-VIII. До этого ни о каком отпуске и думать нечего. Торчим здесь в московской жарище, а <нрзб>. «Криницы» вышли. Сегодня <нрзб> расчет, приедешь в Москву получать авторский экземпляр. Передай мои приветы минским друзьям.

Обнимаю. Твой С. Л. Кирьянов

Письмо написано Сергеем Леонидовичем Кирьяновым (1907—1982), заведующим редакцией прозы народов СССР издательства «Советский писатель».

Роман Михася Зарецкого... — Скорее всего, имеется в виду роман М. Зарецкого «Вязьмо» (1932).

Думаю, что он заслуживает издания в переводе на русский язык. — Роман «Вязьмо» на русском языке вышел только в 1965 году.

Правление будет 20-VIII. — Правление издательства «Советский писатель».

«Криницы» вышли. — Роман (1955) И. Шамякина. Вышел в Москве в переводе на русский язык (переводчик — А. Островский) в 1959 году. До этого на русском языке выходил в 1957 году.

С. Кирьянов — И. Шамякину
8 января 1963 года

Дорогой Иван Петрович!

Посылаю, как договорились, заявку тов. Горелика. Сообщи свои соображения по этому поводу для ответа переводчику. Письмо Горелика верни.

Обнимаю
Твой С. Л. Кирьянов

Письмо написано Сергеем Леонидовичем Кирьяновым. См. предыдущее письмо.

Сведений о Горелике на сегодняшний день выявить не удалось.

Б. Спринчан — И. Шамякину
18 марта 1962 года

Дорогой Иван Петрович!

Очень прошу Вас, при случае узнайте у Здоровенина, когда он возьмет меня в газету? Может, он уже забыл о своем обещании?

В апреле я Вам позвоню.

Б. Спринчан

Письмо написано белорусским поэтом и переводчиком Брониславом Петровичем Спринчаном (1928—2008).

Здоровенин Олег Александрович (1909—2001) — главный редактор газ. «Советская Белоруссия» (с 1949 года — редактор, затем главный редактор газ. «Советская Белоруссия»).

...когда он возьмет меня в газету? — В 1962—1964 гг. Б. Спринчан — литсотрудник газеты «Советская Белоруссия».

Ю. Щербаков — И. Шамякину

Дорогой Иван Петрович!

Я думаю, что ты поймешь меня и простишь, что не писал тебе все это время. И не надо совсем даже знать театра для того, чтобы понять, что за месяц с небольшим поставить на сцене твой огромный роман почти невозможно. Вот поэтому я и не писал.

Сейчас пишу, пользуясь оказией в лице Иосифа Львовича.

Во-первых, подумав трезво и нечестолюбиво, я решил, что самое разумное — это пускать пьесу и афишу за двумя фамилиями авторов:

Ю. Шчарбакоў, І. Шамякін

Крыніцы

П’еса ў 3-х дзеях, па аднайменнаму раману.

Это не столь многословно, дает возможность Дорскому в Министерстве оформить нормально оплату твоего труда, вложенного в этот опус, и это дает нам с тобой возможность получать нормальные, безобидные авторские. Мне объяснил уполномоченный ВУОАП (наш бухгалтер В. Д. Дынкин), что при наличии магического слова «пераклад» на афише ВУОАП отчисляет переводчику 1, в лучшем случае, 2 процента. А при наличии слова «пьеса» без слова «пераклад» отчисляются шесть процентов, которые мы имеем возможность честно делить. Думаю, что ты не будешь возражать. Прошу мне срочно сообщить твою точку зрения, т. к. нужно срочно заказывать афишу. Жду тебя с нетерпением в понедельник утром 23-го на прогон и генеральную репетицию. Премьера состоится 24—25 октября. В спектакле есть много любопытного. Думаю, что он будет иметь успех.

И думаю, что ты не будешь огорчаться.

Обнимаю тебя сердечно.
Ю. Щербаков
Привет твоей супруге, всем домочадцам.

Как прошла премьера «Блудницы» в Русском театре? У нас пьеса продолжает идти с неизменным успехом.

Твой Юра

Вези с собой всех, кого это дело может заинтересовать. Если не с собой — то пусть едут к 24-му. Я на 23-е в зал пущу только тебя одного!

Письмо написано Юрием Щербаковым. Датируется 1961 годом по дате, написанной простым карандашом на письме и по содержанию письма: «Как прошла премьера «Блудницы» в Русском театре?» Здесь имеется в виду пьеса И. Шамякина «Изгнание блудницы», премьера которой состоялась в 1961 году в Театре юного зрителя.

Сведений о постановке «Криниц» на сцене московского театра на сегодняшний день не выявлено. Но в 1964 году по сценарию, написанному И. Шамякиным и Ю. Щербаковым, был снят художественный фильм «Криницы».

Иосиф Львович — И. Л. Дорский.

ВУОАП — Всесоюзное управление по охране авторских прав — учреждение, охраняющее права авторов при издании, публичном исполнении, механической записи и всяком ином виде использования литературных, драматических и музыкальных произведений. Создано в 1933 году.

Предисловие, подготовка текстов и комментарии
Олеси ШАМЯКИНОЙ.



Анатолий АНДРЕЕВ

Острова Архипелага N.

1. Русская литература Беларуси

Когда говорят о литературе Беларуси, иногда вспоминают о том, что кроме белорусской литературы (литературы на белорусском языке) имеется еще литература, вроде бы и белорусская, однако же на русском языке. Назвать ее белорусской — не вполне корректно, ибо без существенных оговорок здесь не обойтись; назвать русской — тоже натяжка, ибо она специфически русская, белорусско-русская. Как быть с белорусской литературой, которая одновременно является русской (русскоязычной)?

Очевидно, что ее двойственный, маргинальный культурный статус самым непосредственным образом сказывается на общественном бытии и на репутации: вот эта пока безымянная литература, которую неизвестно как и назвать, чтобы никого не обидеть, обречена быть вечно второй и в литературе белорусской, и в русской. И там, и там она как бы чужая, не стопроцентно своя, подозрительная и, что особенно радует ревнителей однозначности и категоричности, беззащитная.

Прежде всего следует точно обозначить серьезный предмет для серьезного разговора, феномен, объективно существующий, но не имеющий пока общепринятого обозначения. Есть корпус текстов, есть писатели, поэты и драматурги, пишущие по-русски, но живущие в Беларуси. Является ли такая литература частью литературы белорусской?

Безусловно. Здесь и обсуждать нечего. Белорусская литература — это не только литература на белорусском языке, но еще и литература Беларуси, страны европейской, где сосуществуют многие языки и культуры. Часть белорусской литературы на русском языке вполне корректно называть *русскоязычной.*

Гораздо больше проблем возникает в отношениях русскоязычной литературы Беларуси с литературой русской. Можно ли считать белорусскую литературу на русском языке моментом (ответвлением) русской литературы?

Для русской литературы сама по себе ситуация достаточно типичная: ведь пишущие по-русски живут не только в России, однако это не мешает им быть причисленными к когорте русских писателей. Пишешь по-русски, живешь в пространстве русской культуры — следовательно, ты русский писатель.

Русская литература Беларуси — это, как ни странно, проблема в большей степени Беларуси, нежели России. Считать ли «наших» писателей одновременно «не нашими»?

В Беларуси типичная для русской культуры ситуация приобретает уникальные черты. До распада Советского Союза практически все, что выходило в Беларуси на русском языке, втягивалось в русское, русскоязычное культурное пространство, и белорусской литературой считалась литература на белорусском языке. Все ясно и достаточно однозначно. С появлением государства Республика Беларусь, в котором существуют два государственных языка, ситуация существенным образом изменилась. Написанное в Беларуси на русском языке

становится уже не только русским, но и белорусским. Вот этот амбивалентный статус *русской литературы Беларуси* и следует зафиксировать в формуле, обозначающей суть явления.

Таким образом, существуют две базовые классификационные модели, поразному интерпретирующие сложившуюся ситуацию: «русская литература Беларуси» — и «русскоязычная литература Беларуси». И там, и там амбивалентность «объекта» принимается к сведению, однако результат получается разный. И ставить вопрос «или — или», или одна модель — или другая, значит, по моему глубокому убеждению, осуществлять насилие над реальностью. Есть русская литература Беларуси, и есть русскоязычная.

В случае с «русскоязычной литературой» речь идет о белорусской литературе, о части одной литературы — белорусской. Русскоязычная — это «составляющая» белорусской литературы, транслирующая модус белорусской ментальности.

В другом случае речь идет не о русскоязычной литературе Беларуси, не о белорусской литературе на русском языке, не о русскопишущих, не об уроженцах Беларуси, пишущих на русском и живущих где угодно, только не в Беларуси, не о белорусских писателях, пишущих по-русски, — а именно о русской литературе Беларуси, литературе, имеющей отношение одновременно и к русской, и к белорусской изящной словесности.

Русская литература Беларуси — это одновременная развернутость в сторону разных культурных (ментальных) парадигм, которая осуществляется в едином языковом дискурсе. Два в одном. При этом преобладание «русскости» в предложенной формуле значительно и очевидно. Так уж получилось, такова реальность.

Графически эту самую амбивалентность можно выразить следующим образом.



Кстати, сам процесс идентификации «новоявленной» литературы разворачивается совершенно по классическому сценарию. Поскольку существует два внятных критерия — язык и ментальность, постольку неизбежно появление двух полярных классификационных моделей, где язык и ментальность конфликтуют между собой. Как решать подобного рода проблему?

Можно было бы мудро заметить: время все расставит на свои места. Однако на деле расставлять на места приходится здесь и сейчас — и, между прочим, тем писателям, читателям, ученым и общественным деятелям, которым не отпущено какого-то дополнительного времени на схоластические дискуссии.

Таким образом, есть писатели, творчество которых великолепно, без натяжек укладывается в формулу «русскоязычная литература Беларуси». Например, Алесь Адамович; из писателей недавнего прошлого можно назвать имена В. Тараса, А. Дракохруста, Н. Кислика, Б. Спринчана. А есть писатели и поэты, которые не укладываются в смысловые рамки данной формулы, которые, являясь русскоязычными писателями Беларуси, одновременно являются и русскими писателями, полноценными представителями русского мира. Таковыми являются, например, поэты Вениамин Блаженный, Анатолий Аврутин, Светлана Евсеева, Михаил Шелехов, Константин Михеев, Юрий Сапожков, Любовь Турбина, Дмитрий Строцев,

Юрий Фатнев, Глеб Артханов, Изяслав Котляров, Владимир Карпов и многие другие; из прозаиков значительная (возможно — большая) часть пишущих по-русски осознает себя представителями русской литературы Беларуси (в данном случае я ссылаюсь на опыт личного общения и самоопределения).

Кстати сказать, санкции России или Беларуси на подобного рода культурную идентификацию не требуется: речь идет прежде всего именно о культурном явлении, а не о гражданстве. Требуется помощь и понимание, а если не помощь, то хотя бы активная воля не чинить препятствий и помех.

Лично я ратую за совмещение двух представленных формул, «русская» и «русскоязычная» литература Беларуси, за точное, адекватное и, я бы сказал, деликатное их применение. Но если говорить о тенденции, о количественном и, что важнее, качественном преобладании писателей «русской» и «русскоязычной» ориентации, то пока ответ, который дает реальность, мне видится таким: русскоязычная литература Беларуси является в преобладающей степени русской литературой Беларуси. Чтобы не запутаться самим и не вводить в заблуждение общественное мнение, более корректным было бы популяризировать формулу «русская литература Беларуси» (имея в виду, конечно, что там, где необходимо, следует пользоваться понятием «русскоязычная литература Беларуси»).

Разумеется, вопрос о русской и белорусской составляющей культуры Беларуси возник не сегодня. Конечно, в исторической ретроспективе точкой отсчета русской литературы Беларуси в известном смысле можно обозначить все то же универсальное, всем корням коренное «Слово о полку Игореве», творчество Симеона Полоцкого и т. п. Однако это все исторические конструкции и реконструкции, не более того. Они имеют право на существование, имеют логические и культурные обоснования, но ничего не проясняют в существе сегодняшнего понимания формулы «русская литература Беларуси». Одно дело, когда Беларусь была частью Российского государства, и совсем иное — процесс формирования собственной культуры на русском языке (по отношению к сегодняшним реалиям точнее было бы сказать — процесс формирования мультикультурного белорусского пространства, в том числе и русской его составляющей). Сегодняшняя русская литература Беларуси немыслима без традиций русской литературы (вне этого контекста русской литературы Беларуси просто не существует), и в то же время в русской литературе Беларуси начинают присутствовать традиции и контекст, которых не было, нет и не может быть в литературе русской. Это живой и противоречивый процесс, который требует постоянного осмысления и отслеживания. Аналитическое «обслуживание» такого процесса — задача литературной критики, которой не было и пока что, увы, практически не существует в отношении русской литературы Беларуси.

В связи с этим отметим еще одну специфическую и весьма любопытную особенность, которая характеризует ситуацию, сложившуюся вокруг русской литературы Беларуси: литература есть, а критики нет, следовательно, литературы тоже как бы нет. Что это за литература, о которой «не говорят»?

Ее не замалчивают, уточним истины ради, о ней именно не говорят, официально не говорят, — в силу, надо полагать, «очевидной» второразрядности «русскоязычного материала» (вот вам еще один семантический оттенок слова «русскоязычный»). Или как надо полагать?

Есть поэты, есть писатели, но нет *литературного процесса* (составляющие которого — критика, устойчивый интерес научного литературоведения, изучение произведений в школах и вузах, наличие общественно-литературных изданий, системы продуманных культурных мероприятий), и как результат — нет «прописки» в общественном сознании, где русская литература Беларуси занимала бы подобающее ей место, свое место, не чужое.

Специфичность ситуации видится также в том, что феномен русская литература Беларуси, который не осознается как некая целостность, как самодостаточный процесс, не представлен если не классиками, то знаковыми фигурами, как сейчас принято говорить (фигуры, достойные по своему творческому потенциалу такой чести, возможно, существуют, однако они не материализовались в общественном сознании в качестве «культовых»). Проблема «личность для истории или история для личности» в полной мере актуальна и для литературы. Более того, литературы без крупных творческих личностей просто не бывает. Если «звезды» не зажигают, значит, это никому не нужно? Или того хуже, кому-нибудь нужно? У перечисленных мною поэтов, хороших и разных, живых и уже отошедших в мир иной, есть, в основном, профессиональная репутация, однако отсутствует общественная.

Личность как персонификация феномена — вот чего так не хватает сегодня русской литературе Беларуси. Это, если угодно, проблема не собственно литературная, а общественно-культурная. С появлением ряда символических фигур (не обязательно, кстати сказать, «живых классиков»: все ведь можно сделать с умом) происходит и легализация самой культурной формулы «русская литература Беларуси» и укореняется ее статус в общественном сознании.

Что же есть, если нет крупных творческих личностей «с репутацией», и даже отсутствуют внятные черты литературно-общественного процесса?

Как ни странно, при дефиците ярких знаковых фигур есть достаточно заметные произведения. Писателей и поэтов как фигур общественно и литературно значимых и признанных (у нас, здесь, в Беларуси признанных) — словом, бесспорных, имеющих статус, если угодно, местных классиков — таких фигур пока нет (разве что Анатолия Аврутина могу упомянуть в этой связи), а отдельные произведения, которых набирается на добрую библиотечку, есть. Это также специфика русской литературы Беларуси на нынешнем этапе ее становления.

В этом нет ничего страшного или ужасного, это совершенно естественно и нормально.

Далее стоит отметить и такой момент: уровень поэзии на русском языке в Беларуси выше уровня художественной прозы. И это скорее свидетельствует не об уникальности ситуации, а о закономерности, относящейся к процессу становления литератур: рассказ, повесть, особенно роман, справедливо считаются наиболее престижными и значимыми жанрами литературы, и расцвет романа, жанра по определению «концептуального», синтетического, — это уже своего рода подведение неких предварительных итогов или, по крайней мере, завершение полного цикла. Великой литературы без великих романов не бывает — это с одной стороны; с другой — литература начинается с поэзии. Поэтому известный дисбаланс в соотношении поэзия — проза налицо. Правильной дорогой идем, как все.

Таким образом, уже само наличие литературных проблем свидетельствует о том, что «непонятно какая» литература, которая прижилась в «непонятно каком культурном пространстве», все же существует и развивается по классическим законам, свойственным любой литературе мира.

Пора бы русской литературе Беларуси определиться с названием — следовательно, и с оригинальным *культурным статусом.*

Именно так: выбирая термин для литературы то ли русской, то ли русскоязычной, мы определяем ее культурный статус. В известном смысле уже сейчас прогнозируем ее будущее (по принципу «как вы яхту назовете — так она и поплывет». Поэтому бурные дебаты «всего лишь по поводу термина» не должны никого вводить в заблуждение: это дискуссии о будущем литературы, у которой пока что темное настоящее.

Тем не менее сам факт полемики является косвенным свидетельством того, что у русской (для кого-то пусть и русскоязычной) литературы Беларуси большой потенциал.

2. Размышления над историей русской литературы Беларуси

В актуальной задаче «создать историю русской литературы Беларуси» едва ли не самым главным и трудным представляется не анализ литературно-художественных текстов, а историко-литературный комментарий к ним.

В истории русской литературы Беларуси история важнее литературы, исторический компонент перевешивает литературный. Почему?

Да потому что крайне мало прозы, поэзии и драматургии выдающегося художественного качества (особенно прозы и драматургии). *История* литературы все равно получится, а вот история *литературы* — не очень. А (вос)создание *истории литературы*, даже самой незначительной, на мой взгляд, должно ориентироваться на высшие литературно-художественные образцы. Точка отсчета для любой литературы — вершины мировой классики. Тем самым достигается главная цель объективной реконструкции литературного процесса: у литературы появляется свое место, своя ниша, свое самобытное лицо.

История русской литературы Беларуси определяется литературно-историческим контекстом. Учет этого контекста, выявление взаимосвязей русской литературы Беларуси с другими литературами, уже обладающими собственной историей, — прежде всего русской и белорусской, — это и есть самое трудное.

История русской литературы Беларуси, которая уже существует, уже состоялась, но еще не написана, — это в высшей степени *интертекстуальная* история.

Подобная задача тем более актуальна, что собственно *литературный процесс*, который и становится *предметом исследования*, — разношерстные художественные потоки, складывающиеся в различные направления, которые в совокупности приобретают осмысленное духовно-эстетическое движение, — в русской литературе Беларуси выражен слабо.

Если нет процесса, то из чего же складываться истории литературы?

Из того материала, который есть, а именно: из творческих историй отдельных авторов, которым удалось создать произведения, обладающие таким художественным потенциалом, отмахнуться от которого общество уже не может, не причинив себе же ощутимый духовный урон.

Историю надо писать тогда, когда ее нельзя не писать. Себе дороже. Это занятие, продиктованное не политкорректностью, а жесткой необходимостью.

Итак, процесса нет, но есть отдельные фигуры, своего рода острова, там-сям разбросанные в топком болоте; собрать их в причудливый архипелаг, пока еще безымянный, архипелаг N., состоящий из обломков художественной тверди, которые могут стать плацдармом традиций, — задача не то чтобы архитрудная, — скорее, архирабочая. Весьма затратная. Нескорая.

Парадокс: история литератур не великих, относительно не ярких, в чем-то вторичных, — дело коварное и трудоемкое.

Вот почему идея собранных в одну книгу очерков или литературных портретов, которые нащупывают и намечают контуры историко-литературной концепции, на первоначальном этапе представляется продуктивной. В данном контексте ни к чему не обязывающая рубрика «имя в русской литературе Беларуси» вполне может стать структурным принципом книги. Нет истории — есть имена; историю заменяют имена; имена и есть пока история.

Мы не зря заговорили об островах применительно к русским писателям Беларуси. Изоляционизм — очевидный, никем, вроде бы, не навязываемый принцип, добровольно принятый художниками слова как образ творческой жизни (особенно во второй половине XX — начале XXI века, периоде наиболее продуктивном), — требует объяснения или истолкования.

Прежде всего: что понимать под изоляционизмом?

Феномен творческо-психологического изоляционизма возникает вследствие роковой невостребованности творчества русских писателей и поэтов Беларуси

ни в России, ни в Беларуси, — творчества, которое по своим художественным достоинствам явно заслуживает внимания. Они, предыдущие поколения, а теперь вот уже и мы, порой оставались (остаемся) один на один с тем, что мы делаем. Становимся своего рода лишними. Это факт, и с ним следует считаться.

Какие особенности культурного климата порождают изоляционизм?

В этих заметках я не стану опираться на культурологический анализ, я просто сошлюсь на собственный художественный опыт, что, на мой взгляд, следует считать не доказательством, а приглашением к размышлению.

Я начинал писать прозу (в конце 1990-х — начале 2000-х, как раз на исходе второго тысячелетия), не опираясь, сознательно или бессознательно, ни на какие «местные», здешние, русско-белорусские литературные традиции — просто потому, что я их не видел, не ощущал, и у меня, естественно, не возникало потребности продолжать то, что не стало для меня творчески продуктивным. Моими традициями стали элитаристские традиции русской культуры и литературы — это можно сказать совершенно однозначно. Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, Чехов, Набоков, Булгаков — вот что я ощущал как традицию, я наслаждался их мастерством, разделял сверхзадачу, я впитывал все секреты, тайны, мифы литературы — и все это было там, в них, в их жизни, в их шедеврах. Русская литература втягивает в свое ментальное, наэлектризованное персоноцентризмом, поле. И здесь, в Беларуси, русская литература как культурный фактор присутствует несомненно.

Что касается собственно белорусской литературы как фактора развития русской литературы Беларуси, то я бы обозначил эту проблему как сложную, дискуссионную и совершенно не разработанную. Призывы не делить литературу Беларуси на русскую и белорусскую можно принять как декларацию о благих намерениях; но, во-первых, благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, а во-вторых, о сближении, о нежелательности дифференциации обычно говорят авторы не очень качественной литературы — как русской, так и белорусской. Хорошая, качественная литература двух народов существенным образом различается. Это не означает, конечно, что не следует искать общих точек соприкосновения или, если угодно, родственных (типологических, на языке науки) схождений; но это означает, что к общему следует приходить через осознание собственной уникальности и идентичности.

Только одно соображение на эту актуальную культурологическую тематику, состоящее из двух тезисов.

Русская литература «золотого века», основоположником и столпом которой является Пушкин Александр Сергеевич, зарождалась и формировалась как литература *аристократическая*, персоноцентрически ориентированная. Именно в период «золотого века» русская литература стала осознавать близкий ей по духу «культурный код», свое предназначение; более того, бессознательно сформировала программу своего развития, ибо сразу же нащупала свою «золотую жилу»: элитарный персоноцентризм как в высшей степени перспективный вектор культуры, который и стал решающим фактором мирового признания русской литературы.

Вспомним в этой связи только три знаковых произведения: «Горе от ума», «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени».

Белорусская литература, родоначальниками которой выступили Янка Купала и Якуб Колас, зарождалась и формировалась как *народная* (демократическая, социоцентрически ориентированная). Знаковые, они же краеугольные произведения, также хорошо известны: «Новая зямля», «На ростанях», «Паўлінка», «Раскіданае гняздо», «Тутэйшыя».

Ментальность главных героев белорусской литературы определяется пафосом героическим, пафосом служения народу, впечатляющей *социоцентрической валентностью*. Отсюда непреходящая актуальность национальной самоидентификации, поиска национальной идеи, внятного национального смысла.

В русской культуре и традиции сама литература стала инструментом служения Ее Величеству Личности, которая преклоняется перед разумом и сознанием; белорусская литература стала инструментом выражения чаяний Его Светлости Народа, его коллективного бессознательного.

Сказанное не означает, что русской литературе изначально не была присуща тенденция социоцентрическая, демократическая (равно как и белорусской — персоноцентрическая); сказанное означает: ключевым архетипом, глубинно определившим закономерности формирования литературы и сам «механизм» традиций, для литературы русской явился персоноцентризм с его культом личности, для литературы белорусской — социоцентризм с его культом народности.

Кризис современной русской литературы связан с утратой традиции аристократического персоноцентризма; кризис белорусской литературы, на мой взгляд, связан с тем, что персоноцентризм не стал пока доминирующей тенденцией.

Вот как совместить русский и белорусский эволюционные архетипы в литературе? Перестать обращать на них внимание?

В русской литературе, где мэйнстрим за последние два века несколько раз существенным образом поменялся, не культивируется традиция отгораживаться; все что угодно — выламываться из литературного процесса, существовать в андеграунде, шокировать, эпатировать, отказываться существовать — любая блажь, только не изоляция. Это как-то против природы литературы, против природы творчества. Одиночество — это вообще проекция смерти, только в исключительных случаях — жизни. А вот в условиях Беларуси культурный изоляционизм «русскоязычных» актуален и пока что, увы, как-то фатально неизбежен.

Вениамин Блаженный (Айзенштадт) — не востребован (посмертно).

Владимир Машков — не востребован (посмертно).

Алексей Жданов — не востребован (посмертно).

Любовь Шелег — не востребована (посмертно).

Юрий Сапожков — не востребован (посмертно).

Анатолий Аврутин — не востребован (долгих лет жизни!).

Константин Михеев — не востребован (долгих лет жизни!).

Олег Ждан! — не востребован (долгих лет жизни!).

Елена Попова! Юрий Фатнев! Андрей Курейчик! Эдуард Скобелев! Андрей Скоринкин! Алла Черная! Валентин Маслюков! Александр Соколов! Сергей Трахименок! Дмитрий Строцев! Светлана Евсеева! Любовь Турбина! Ольга Переверзева! Валентина Поликанина! Валерий Гришковец! Татьяна Дашкевич!

На подходе целый ряд молодых — талантливых и, разумеется, уже традиционно малоизвестных: Мария Малиновская, Елена Крикливец, Дита Карелина и т. д.

Это — имена. Всем ныне здравствующим (названным и не названным) долгих лет жизни! Горький список замечательных, однако незаслуженно не замечаемых писателей и поэтов можно продолжать и продолжать. Я назвал только тех, кто на слуху и «под руку попал». Всех не перечислишь — и за это всем им низкий поклон и восхищение.

Кстати сказать, особого упоминания в контексте «изоляционизм в литературе» достойны представители массовой литературы (главным образом — фэнтези, фантастика, женский роман) — те, кто, живя в Беларуси, публикуется в основном в России. На русском, естественно. К сожалению (в данном случае получается — к нашему горькому счастью), это целое направление в литературе, которое собственно литературу вытесняет на периферию. Даже если литература в скором времени вымрет, на руинах ее останутся наши пишущие люди. Что несколько примиряет с прискорбным фактом исчезновения литературы.

Вернемся, однако, к литературе настоящей, которая пока еще есть — покуда влачит существование, выражаясь поэтически. Разумеется, все указанные нами творческие личности жили и живут некоторым образом в подполье. Во всяком случае, не на виду. Они не получают наград и премий, к ним равнодушны масс-

медиа, литературоведение и критика, у них нет *собственных* журналов и газет, нет даже секции в Союзе писателей Беларуси, их произведения не изучают (или крайне мало изучают) в школе, общественное сознание их не замечает в упор. В результате они лишены права голоса. Они есть, но их как бы нет. Фантом, смирное малоразговорчивое привидение, которому катастрофически не хватает воли к материализации.

Почему русских писателей Беларуси не замечают?

Да потому что они «общественным мнением» Беларуси, их родной страны, не воспринимаются как представители литературы белорусской (пусть и русскоязычной). Кстати, чье мнение отражает «общественное мнение», совершенно не ясно.

Писателям и поэтам приходится как-то на это реагировать. Изоляционизм становится своеобразной формой сопротивления, что ли, формой несогласия с подобным порядком вещей. Выживать приходится поодиночке. А это уже фактор, во многом определяющий культурный климат. (Здесь, опять же, картину портит одно исключение: все тот же Аврутин; его творчество неплохо знают в России и вообще в русском мире, и в этом отношении он не в изоляции — что только подчеркивает его абсурдную «изолированность» в Беларуси.)

Не знаю, можно ли говорить о мировоззренческих и психологических основах изоляционизма, в равной степени актуальных для тех, кто считает себя представителями русской литературы Беларуси. Лично мне достаточно долго и трудно пришлось идти к формуле, которая сегодня мне же представляется естественной и очевидной. Так вот, моя патриотическая формула такова: Беларусь — это мой дом, а моя родина — русский язык и русская литература. Если кому-то интересна моя национальность, то я — русский европеец.

Что тут такого?

Я не сразу сообразил, что эта рожденная самой жизнью (на всякий случай уточним: добытая размышлениями и переживаниями) точная и гибкая формула именно вследствие своей диалектичности может не только адаптировать индивид к усложнившейся социальной жизни, но и подталкивать его к изоляционизму. Какой же я русский, если я никогда не жил, не живу и не собираюсь жить в России? Какой же я белорус, если я думаю, мечтаю и творю на русском, если во мне бродит русский дух?

Свой среди чужих, чужой среди своих. Неоднозначный маргинал. Однозначно.

Строго говоря, русские, проживающие на территории Беларуси, не являются диаспорой; русские наряду с белорусами представляют часть государствообразующей нации. Я не должен жить в России. Я не должен думать, чувствовать и писать на белорусском языке. Я никому ничего не должен.

Мое внутреннее ощущение позволяет мне жить с собой в мире и согласии: я *не против* белорусской литературы, я *за* русскую литературу Беларуси. Однако моя позиция здесь, у себя дома, часто воспринимается именно как мутные «контры», как движение сопротивления, что, конечно, в известной степени провоцирует изоляционизм.

И все же относительный изоляционизм — оборотная сторона верной, хотя и неоднозначной установки-формулы. Лицевая ее сторона — обретение дома и родины.

А с третьей стороны… У недоброжелателей всегда в запасе «железный», трижды однозначный аргумент: кто не с нами — тот против нас. В этом аргументе также сокрыта своя сермяжная правда. Хочется засомневаться и встать на развилку «либо — либо»: либо ты русский писатель — либо белорусский. Какого ты окраса, какой масти, с кем ты?

Давай, самоидентифицируйся. Не мути воду.

Многие, кстати, так и делают. Творческая миграция либо на русское, либо на белорусское ментальное поле если незначительна, то заметна.

Для русской литературы Беларуси, коль скоро она существует и упорно не желает аннигилироваться, это путь в никуда. Это ложная альтернатива. Она не соответствует уровню развития современного индивидуального, да и общественного сознания. Стоит ли зацикливаться на комплексе «лишнего чужака» — на том, что ты всюду «чужой», недостаточно свой? Гораздо продуктивнее и эффективнее делать акцент на универсальных свойствах ментальности — на том, что ты везде в разной степени свой, отчасти не чужой, что твое отчетливое «за» не делает тебя врагом тех, кто считает иначе. В конце концов, проблема самоидентификации — это проблема не русских и не белорусских писателей, а русских писателей Беларуси. И ее надо решать — через художественную и литературоведческую практику. Если симбиотическое понятие «русская литература Беларуси» не химера, не искусственно взращиваемый гибрид, если такая литература жизнеспособна — значит, рано или поздно мир встанет перед фактом: русская литература Беларуси как живой организм нормально развивается, со всеми присущими живому организму болезнями роста.

Ergo: русской литературе Беларуси надо дать шанс выйти из изоляции.

Единство современной белорусской литературы складывается не за счет доминирования какой-либо одной литературы, например, белорусской, а за счет свободного, самотождественного, если так можно сказать, развития двух литератур. Белорусская литература развивается как белорусская, русская — как русская. Такое единство — это единство противоположностей, а не единство ведущего и ведомого. Тем не менее это жизнеспособное единство. Разумеется, взаимовлияния литератур никто не отменял. Однако сам факт взаимовлияния не может отменить культа самоидентификации, свойственного жизнеспособным культурным движениям.

Фактическое доминирование одной из литератур на каком-либо этапе, например, белорусской сегодня, не отменяет принципа «каждая литература развивается в соответствии со своими внутренними законами».

Что из этого получится, куда это приведет?

Поживем — увидим.

Возможно, мои мысли покажутся кому-то в высшей степени спорными. Спорить не стану. Но на всякий случай напомню. Стадии привыкания человека и общества к «сумасшедшим», нестандартным, новаторским идеям хорошо известны: 1) это идиотизм (первая реакция — резкое и радикальное неприятие обществом); 2) в этом что-то есть (если жизнь упорно доказывает эффективность идеи); 3) это всем давно известно, это старо как мир (что означает: идея прописалась в обществе, превратившись в элемент комфортной традиции, которая будет отторгать следующую «сумасшедшую» идею).

Мне представляется, что в общественном сознании приведенная мной патриотическая формула (которую, конечно, не я «выдумал», она вообще не придумана, она порождена коллективным бессознательным) благополучно эволюционирует от стадии «в этом что-то есть» к следующей стадии. Мне кажется, у этой европейской формулы определенно просматривается будущее, хотя пока что отношение к ней спокойное. С некоторой прохладцей. И долей демонстративного равнодушия. При желании приведенную формулу можно считать своеобразным вкладом в копилку традиций русской литературы Беларуси; следует только учесть коварство формулы, чреватой потенциалом изоляционизма.

Предлагаемые размышления — также посильный вклад в копилку традиций русской литературы Беларуси, переживающей стадию становления.



Алла ЖУР

Мой замечательный сосед

Кажется, сейчас распахнется дверь, и он войдет, приветственно, в радостном возбуждении всплеснет руками, сядет за свой рабочий стол. И мы оживленно начнем говорить, делиться мыслями, мнениями…

О самых повседневных, обычных вещах, на любую тему он говорил так, что хотелось взять ручку и записывать его слова, как афоризмы замечательных людей! И я… записывала: и его высказывания, и свои впечатления. Сумбурно, стихийно, хаотично, словно повинуясь какому-то инстинкту запасливой белки, рассовывала по разным «кармашкам». Ни одно драгоценное слово его не должно пропасть!..

Сейчас, когда все это читаю, — будто снова с ним разговариваю…

* * *

— Иван Данилович, а какой ваш любимый цвет?

— Я не задумывался… В детстве нравился зеленый. Мне хотелось нарисовать траву, ярко-зеленую, а карандаша зеленого не было. А так, пожалуй, все цвета нравятся.

— А фиолетовый?

— Нравится!

— И черный?

— Я же сказал — все!

— Обычно выбирают какой-то один цвет. А вы — сразу все…. Наверное, вы и саму жизнь воспринимаете во всех ее цветах, не бываете категоричным в оценке ни хорошего, ни плохого?

— Пожалуй, что так… А знаете, у меня глаза в молодости были ярко-голубые.

— У поэта только такие и должны быть глаза — голубые.

— А как же тогда знаменитые восточные поэты?

— Эти поэты — певцы любви, и любовь в их понимании — жгучая страсть, кареглазые южане особенно к ней склонны. А вот поэты в чистом виде, мечтательные романтики — только с голубыми глазами.

— Необычное рассуждение… Знаете, наверное, в ваших словах что-то есть.

* * *

Я не знала его близко. В реальной жизни его нельзя было читать, как открытую книгу. Зато в своих собственных книгах он раскрывался. Там можно было многое узнать про его внутренний мир. И поэтому он становился таким близким. Всем, кто читал его книги.

* * *


Янка Сипаков.

Читаю повесть Янки Сипакова. Увлечена настолько, что проезжаю свою остановку... Как это здорово: живой классик белорусской литературы, и вот он сидит перед тобой за столом в одном кабинете — глаза в глаза, и можно у него спросить все-все, что захочешь, узнать, почему он поступил так со своим героем, а не иначе. И он еще скромно удивляется, что написанное им тридцать лет назад интересно мне, современной женщине. А как же может быть иначе? Там же о вечном, о чувствах между мужчиной и женщиной. Тем более что писал об этом Мастер. Он никогда не изменял себе, был искренен в своих книгах, и они отплатят ему за это бессмертием.

Его книга так и называется: «Жанчына сярод мужчын». Забываешь, что ее написал мужчина. Откуда в нем столь тонкое понимание женской натуры? Он признается, что настолько вживается в «шкуру» своего героя, что начинает думать и чувствовать как он:

— Когда мой герой идет, я вижу все объемно: и что у него справа, и слева, и сзади, какое дерево растет впереди. С одной стороны, мои художественные произведения — это вымысел. Но в каждом из них есть что-то от меня. В них всегда присутствую я.

* * *

«Живи, как хочется»… Это как напутствие: «Будь счастлив!» Его критиковали за этот заголовок: как же так — «живи, как хочется»? Живи, как нужно! Но он не позволил изменить название. И само произведение чистое, целомудренное, без ханжеской морали. А еще представляю, как смело было в те времена говорить в своей книге о самом главном при любом социальном строе — об этих двоих, которые живут ради того, чтобы любить друг друга, продолжать род на Земле.

Кстати, а был ли Сипаков в партии? Думаю, что нет. Он очень мягкий, деликатный, но то, что касается принципов, — он вряд ли отступится. Он не разменивается и сейчас. Он живет так, как хочется. И не жалеет ни о чем. Ведь работа — главная его «асалода».

* * *

Спрашиваю:

— Когда выходит ваша новая книга? Кто для вас главный судья, чье мнение наиболее авторитетно?

— Я вам сейчас отвечу. Нил Гилевич недавно дал рецензию на мое творчество, так он сказал, что в каждой книге Сипаков ищет своего читателя. Это правда, я ищу его. Каждый раз по-новому, стараясь не повторяться, иду на творческий эксперимент. Хотя сейчас трудно представить, каков он, современный читатель, что ему нужно — он другой.

Молодежь теперь читает книги в интернете. Но разве от такого виртуального чтения получишь то удовольствие, ту эйфорию, как от настоящей книги?

* * *

Творчество Сипакова — это постоянный рост.

— Пока мы растем, не умрем — это касается и каждого человека, и всей общеевропейской культуры, — сказал однажды режиссер Занусси.

* * *

— Просто заворожил ваш рассказ «Русалка»! В нем столько загадок… К примеру, что за странная тайна была между ним и русалкой? Почему у нее… вырастал хвост? Разве она его не любила?

— Я и не хотел ничего объяснять, там должна была остаться мистификация. А если расскажу, она пропадет, получится бытовой сюжет.

* * *

— Читаешь и стараешься понять секрет: как вам удается так писать, что затягивает с головой? Но не успеешь и заметить, как… опять затягивает с головой.

— Вот вы сами и ответили. Слова не должны быть видны. Никто не должен увидеть, что я работал над словом. А к слову белорусскому я отношусь как к святыне. Не могу обращаться с ним неуважительно, мимоходом.

Когда писал роман «Зубрэвіцкая сага», искал слова, которые бы приблизили к тому времени — в летописях, других документальных источниках. Но нельзя было допустить, чтобы все полностью архаичным языком было написано. Рассказ «Хуткія ногі», о первобытном строе, про охоту на мамонта, очень легко писался. Я хорошо владел историческим материалом, чувствовал его. А написав, вдруг понял: так это же книга! С него и началась моя «Зубрэвіцкая сага» — роман в рассказах.

— А каким образом в эту сагу, посвященную истории ваших родных Зубревичей, попал африканский сюжет про «Паляванне на сланоў»?

— Хотел шире показать происхождение нашего рода, что есть у нас и африканские корни, что живут мои земляки по всему свету. И это правда! До сих пор — через столько поколений — рождаются в Зубревичах люди с короткими, крученными, как дротик, волосами.

* * *

Спрашиваю:

— Как вы думаете, от кого мы произошли?

— Не верю, что от обезьяны. Кто-то создал наш мир извне и все сразу. Ведь это такое совершенство — человек!.. Верю, Высший разум есть. Но когда пытаешься представить себе саму безграничность космического пространства… И столько миллиардов лет планеты летят, не останавливаясь, в его бесконечность… И продолжают лететь… Становится не по себе. Это невозможно нам познать. И хорошо, что никто не знает и никогда не узнает. Как и о смерти. Люди умирают, но никто до сих пор не знает, что это такое...

Но не нужно вам пока задумываться обо всем этом, заглядывать туда.

* * *

Как-то сказала, что в интернете стало возможным в любой момент увидеть страну, любое место в мире в режиме реального времени.

Он ответил:

— Это и здорово, и страшно. Исчезает какая-то великая тайна. Наступает ее разрушение. Человек стоит на пороге собственного своего уничтожения. Ведь если он до конца познает самого себя, это его и разрушит.

* * *

— Выше Бога, что у тебя внутри, нет Бога! — произнес он однажды.

* * *

— Почему, общаясь с Янкой Сипаковым, я не чувствую разницы поколений, он мыслит настолько современно? — говорю мужу.

— Потому что он живет не временными, а вечными ценностями. А вечные ценности никогда не устаревают.

* * *

— Думал, выйду на пенсию, буду читать книги, собранные в своей домашней библиотеке. Выберу одну и с наслаждением, смакуя, буду читать. Потом другую… Не получается, нет времени.

Сейчас он пишет новое произведение о своей сокровищнице, о своей коллекции книг, а их у него около десяти тысяч! Спрашиваю:

— Как вы не запутаетесь, не утонете в книжном море? Обо всех них написать — как объять необъятное.

— А хаоса нет. Мысль сама выбирает.

* * *

Он считает, что самая великая книга — «Война и мир» Льва Толстого:

— Там столько о человеческих душах. Такого в мире больше нет!

А главное там — любовь. Выкинь из романа любовь — и нет романа.

* * *

Как можно писать такие чувственные эротические рассказы и оставить ощущение целомудренности и чистоты? Как можно писать так волнующе, но ничего не обнажая, не срывая прозрачного покрывала, не лишая тайны? Да-да, именно тайны! Он нигде не преступает тонкую грань. Не преступают грань и его герои, как бы ни отдавались своей любви, как бы ни теряли голову, они все-таки сохраняют свой мир, не изменяют себе, остаются светлы душой. Потому что их наполняет этим светом сам Сипаков. Вот откуда этот свет. Мир Сипакова состоит из одних только хороших людей, это не значит святых, абсолютно безгрешных. Но он не делит их по категориям «плохой-хороший». Нет однобоких, одноруких, одноглазых, — в них свет и тень, в них святость человеческих чувств. Самых разных. В них — Вера, Любовь, Ревность, Обида, Стыд… И всегда есть Надежда.

* * *

«Яна так моцна кахала, што ёй ужо было ўсё роўна — кахаюць ці не кахаюць яе самую. Аднаго свайго кахання ёй было дастаткова...» — это о его героине Ганульке из романа «Зубрэвіцкая сага».

Неужели есть такая любовь — когда тебе достаточно любить только самой и быть от этого счастливой? И будешь радоваться, а не грустить и страдать, если тебя не любят, если нет взаимного чувства? Это высшая любовь? Святая любовь, где нет ни эгоизма, ни ревности, ни чувства собственника, где нет «ты мне, я тебе», есть только — «тебе»? Это настоящая любовь или же ее недосягаемый, неземной идеал?.. Может, речь идет о платонической любви, которая бывает в юности? Может, он сам испытал такое, раз пишет об этом?

Нужно обязательно обо всем его спросить. Интересно, что он скажет? Кстати, а какой у него самого идеал женщины?..

* * *

Выпускница ВГИКа по специальности «режиссура» выбрала в качестве дипломной работы рассказ Сипакова «Клопат». Она и сама с белорусскими корнями, и вот приехала из Москвы в Минск, пришла в редакцию, чтобы пообщаться с автором, показать ему свой сценарий, по которому будет снимать короткометражный фильм. Но почему из сотни тысяч произведений других авторов она выбрала именно рассказ Сипакова? Чем он так ее взволновал, тронул, задел за живое? Чем поразил? ДОБРОТОЙ. Безграничной добротой его героя. Молодая режиссер призналась, что так же поступил когда-то и ее дедушка, приютив в семье одинокую женщину, переболевшую полиомиелитом и которая жила вместе с ними до конца своих дней. Внучка всегда говорила, что у нее три бабушки, и все недоумевали: как это так?!.

А я подумала: что за необыкновенная сила сокрыта в том рассказе, что за магнит, если он смог «притянуть» московскую дипломницу за восемьсот километров до Минска, заставил ее столь остро почувствовать что-то личное, что захотелось об этом снять фильм? В этом магнетизм творчества Сипакова, его притягательная сила…

Иван Данилович внимательно прочитал сценарий, сказал, что в целом он ему понравился, но попросил убрать из текста слова «сказал со злостью».

— Здесь нет ни у кого злости.

* * *

Он очень чуткий, читает все по лицу. Заметил, что я сильно расстроена:

— Вижу, у вас много забот?

— Да! И что мне делать?! Ничего не успеваю!

— Как говорил один старый дед в моих Зубревичах: «калі шмат справы — сядзь пасядзі».

* * *

Сидим за столом всей редакцией, дегустируем разные сорта яблок. В гостях у нас ученая из института плодоводства, заходит речь о бессемянных сортах. Иван Данилович высказывает свою точку зрения:

— Я к ним отношусь с недоверием. Яблоко должно само себя воспроизводить.

* * *

— Иван Данилович, все, о чем бы вы ни говорили, всегда так интересно, так необычно, оригинально!

— Как раз-таки все наоборот. Я — самый обычный. Сегодня это и стало необычным.

* * *

— Вы не любите много говорить.

— Да, я умею слушать. Быть может, это самый главный мой талант. Я не просто слушаю, а слушаю как писатель — переживаю, осмысливаю. Это остается со мной, обогащает меня.

* * *

— Ваши книги, «как птицы, никогда не состарятся», потому что в них вы живете и пишете, «як дыхаеце». И поэтому их хочется читать и читать... — подписала я ему свою книжку.

— Первая книжка — это как зерно в землю положить, это то, из чего потом будет все остальное вырастать. Очень рад за вас. Поздравляю! А еще спасибо за то, что вы так хорошо поняли смысл моего творчества — «пишете, как дышите». Я очень надеюсь, что у меня действительно так и получается писать.

— Еще как получается!

А про себя подумала: сижу вот и убеждаю в таланте его — великого классика!

* * *

Прошу его сделать автограф на его новой книге. Он отвечает:

— Я не могу подписать сейчас, хочу немного подумать, придумать что-нибудь особенное.

И позже написал — «…добрай феі — суседцы па “Гаспадыні”, якая цудоўна ведае, што можна ўбачыць на другім, сонечным, баку дажджу…»

* * *

Это просто мистика какая-то…

С восхищением рассказывала ему о сербском писателе Милораде Павиче — он с интересом слушал, дала почитать — ему понравилось. А потом однажды приходит и говорит:

— Я вспомнил, что знал лично вашего любимого Павича! Когда-то давным-давно мы познакомились с ним на международном съезде писателей в Пицунде. Только тогда он еще не написал всех этих книг. Мы оба были очень молоды.

Потом по новостям передали, что Павич скончался. А на следующий день Иван Данилович, увидев на столе у меня какую-то книгу, начал было говорить:

— А вы знаете…

Я почему-то почувствовала, о чем он хочет сказать, говорю:

— Знаю. Мне тоже очень его жаль…

— Но как вы догадались, **что** я хотел спросить?..

У нас будто совпадали какие-то частоты. На уровне интуиции, на уровне «полуслова», «полувзгляда». Мы будто плыли на одной волне …

Однажды чинно сидели, разговаривали, и вдруг ни с того ни с сего, поддавшись непонятному импульсу, вскочили и… стали танцевать вальс в нашем крошечном кабинете. Он напевал, и мы танцевали. Третий наш коллега просто глаза вытаращил от изумления.

* * *

Казалось бы, обычные слова, никаких спецэффектов, никаких оригинальных сравнений, игры слов, но как волнует, до дрожи, до выпадения из этого мира и погружения в его мир! И все становится дорогим, как и ему, герои — близкими, родными. Первобытные люди, схематические фигуры истории, княжичи ВКЛ — теперь ты ощущаешь их живыми, людьми с кровью и плотью. Ты любуешься, как и он, нашими предками, историей, ты переполняешься гордостью. Видишь все зримо.

* * *

Спрашиваю у него:

— Что в жизни самое главное?

— Все и ничего. Но чтобы это понять, надо прожить целую жизнь. Знаете, это и есть самое главное, ради того, чтобы это узнать, мы и живем. Иначе мы бы сразу захотели умереть. В самом начале.

В конце жизни вдруг понимаешь: все, чему посвятил жизнь, не имеет смысла. Не читали рассказ про жемчужину? Герой мечтает найти жемчужину, чтобы оплатить ею учебу сына. Для него весь смысл жизни заключен в поиске бесценной жемчужины, и вот он находит ее, он счастлив, но погибает сын, и теряется весь смыл, жемчужина больше не нужна, он выбрасывает ее…

Перечитывал дневники Толстого. Ему говорят — напиши роман, а он отвечает: зачем еще один роман?..

Вот и я… Много написано. Но кто сегодня читает? Кому это нужно? И будет ли это востребовано в будущем?..

Раньше произведения писателей становились событием для всего народа, а сейчас — только для малых групп людей.

* * *

Последней осенью, возвращаясь из леса, когда подъезжали к его дому, он сказал, наверное, то, что его волновало, что было на сердце. Сказал тихо, как будто самому себе ответил:

— Не нужно бояться и ждать, нужно принять это, находясь в полете.

* * *

Столько хотелось еще у него спросить. Услышать его совет. Узнать его мнение. Показать то, что сама написала. Поговорить или вместе помолчать…

Но он очень спешил в последнее время. Спешил на встречи, в издательства, в другие редакции. Спешил сделать много дел. Все спешил и спешил… Приходил и уходил...

* * *

Янки Сипакова нет. Нет… Хочется говорить о нем и слушать, слушать, что говорят другие. Огромная потребность какая-то в «Наталенні смагі». Его так много было в моей жизни, что теперь не хватает… Потом подумала: а если бы его вообще в ней не было?..

Янки Сипакова нет. Нет... И все сразу стало каким-то другим. А как раньше уже не будет — без него. И поэтому больно. Всем больно, кто хоть однажды соприкоснулся с ним.

Землетрясение в Японии, случившееся в день его похорон, сместило на десять сантиметров земную ось. Смещена земная ось и в моей душе. В душе каждого, кто знал его лично или по творчеству.

Его уход — большая потеря, масштаб которой пока не все понимают.

Но понимание обязательно придет.



Зоя ЛЫСЕНКО

Полыхала Гражданская война…

Но жизнь с любовью никто не отменял

«Неужели у них такие проблемы с современными постановками? Видимо, совсем уж нечего ставить, раз взялись за отжившую свое «Свадьбу в Малиновке». Подобным мнениям все же было место накануне премьеры этого спектакля в Белорусском музыкальном театре.

Но тот, кто хорошо знаком с деятельностью этого коллектива, знает, что современных постановок, и особенно мюзиклов, в его творческом багаже более чем достаточно. Однако только из них не может формироваться репертуарная афиша академического музыкального театра — в ней достойное место должно отводиться классике жанра, а также советской оперетте и музыкальной комедии, которые уже тоже стали классикой (из таковых в репертуаре театра в последние годы был только один спектакль — «Бабий бунт»).

Но так ли проста и незамысловата эта «Свадьба в Малиновке», знатоками которой себя считают очень многие — в основном, благодаря одноименному кинофильму. Оказывается, история создания этого произведения очень даже неоднозначна и в наши дни трактуется по-разному, а его форма, содержание и смысловое наполнение претерпели очень существенные изменения еще на стадии становления. Имели они место и в последующем и не прекращаются до сегодняшнего дня.

Оперетта «Свадьба в Малиновке» (музыкальной комедией ее стали называть позднее) была поставлена в 1937 году одновременно в двух театрах оперетты — Харьковском и Московском — по пьесе одного и того же драматурга, но с музыкой разных композиторов. А началась эта история годом раньше, когда всем театрам страны, в том числе и музыкальным, было велено поставить к грядущему 20-летию Октябрьской революции что-нибудь бравурно-патриотическое, прославляющее победу большевиков и Красной Армии.

Вот тогда в харьковском театре и началась работа над опереттой «Свадьба в Малиновке», основанной на событиях, происходивших в годы Гражданской войны на Украине. Создателями ее были украинские авторы — драматург Леонид Юхвид и композитор Алексей Рябов. Теперь уже трудно сказать, почему с набросками своей пьесы Леонид Юхвид появился и в Москве у Григория Ярона, основателя и художественного руководителя Московского театра оперетты, — скорей всего, там были проблемы с авторами, а на их поиски времени уже не оставалось. В своих мемуарах Ярон позднее писал, что ему понравились отрывки из пьесы Юхвида, которые автор читал ему на украинском языке, прерывая чтение эмоциональным живым рассказом о перипетиях сюжета. В них он сразу почувствовал «настоящее зерно будущего спектакля».

Текст украинской пьесы нужно было перевести на русский язык, и к этой работе был сразу же привлечен драматург-либреттист Виктор Типот, который успешно сотрудничал с Московской опереттой. В действительности же полу-

чилось, что он стал не только переводчиком, но и соавтором русского варианта пьесы, в которую были внесены существенные изменения. Какие именно, теперь уже точно сказать невозможно, но понятно, что делались они с целью адаптации украинского текста под восприятие московской публики: многие самобытные и интересные именно для украинского зрителя фрагменты удалялись, а вместо них вписывались всем понятные сцены и диалоги, но уже лишенные истинного украинского колорита.

А с музыкой к этой оперетте произошла вообще большая неожиданность: существует мнение, что партитуру Рябова в Москве также сочли излишне самобытной и к работе над произведением срочно привлекли Бориса Александрова, который к данному жанру вообще никакого отношения не имел, но зато был известен как автор патриотических песен (начал свою карьеру в Ансамбле песни и пляски Советской Армии, созданном его отцом, Александром Александровым, а потом продолжил в Центральном театре Красной Армии).

В результате к означенной дате в харьковском и московском театрах состоялись премьеры двух разных оперетт на музыку разных композиторов, но с одним и тем же названием. Сюжетная канва и персонажи у них тоже были одни и те же, но понятно, что по духу и смысловому наполнению, не говоря уже о характере постановки, это были разные спектакли. И оба имели очень большой успех. Харьковская версия «Свадьбы в Малиновке» вскоре была поставлена и в других городах Украины, а московская начала свое триумфальное шествие практически по всем театрам страны, и именно от нее ведется отсчет создания этого произведения.

Московскую версию ставил сам Ярон, он же являлся и непревзойденным исполнителем роли Попандопуло. Обладатель бурной творческой фантазии, виртуозно владевший приемами гротеска, эксцентрики и буффонады, Григорий Ярон создал в этом спектакле настолько яркий и запоминающийся образ, что был даже увековечен в нем после своей смерти: на надгробном памятнике великий артист изображен в четырех своих самых значимых театральных образах, один из которых — Попандопуло; а в 1993 году к 100-летию со дня рождения Григория Марковича была выпущена юбилейная открытка и марка, где он также предстает в образе Попандопуло.

Самую широкую, поистине общенародную известность «Свадьба в Малиновке» обрела через 30 лет после своего создания, когда в 1967 году на «Ленфильме» была осуществлена ее экранизация — теперь уже приуроченная к 50-летию Октября. И это было связано с очередной трансформацией оперетты — ее переделывали и приспосабливали под требования кинематографа, а жанр фильма определили как музыкальную комедию. После чего и театральные постановки «Свадьбы в Малиновке» стали чаще всего называть музыкальными комедиями. И это больше соответствовало жанровому решению этого произведения: ведь даже изначально оно больше напоминало народную музыкальную комедию с песнями и танцами, чем оперетту, и в нем, по существу, не было действенных музыкальных сцен, присущих музыкальной драматургии оперетты.

Так какие же новые черты приобрела «Свадьба в Малиновке» в результате экранизации? Об этом в своих записях рассказывает режиссер фильма Андрей Тутышкин: «Драматург Леонид Юхвид написал киносценарий. Композитор Борис Александров заново пересмотрел партитуру. Одни музыкальные номера были исключены, другие специально написаны для фильма. Вот пример. В пьесе есть известный персонаж — Попандопуло. В Московском театре оперетты его играл когда-то народный артист РСФСР Григорий Ярон. Это была одна из его знаменитых ролей. Ленинградский актер, народный артист РСФСР Николай Янет сыграл Попандопуло около 800 раз. Но ни Ярон, ни Янет не исполняли в спектакле песенок и куплетов. В нашем же фильме Попандопуло по ходу действия поет и танцует. Автор сценария и композитор написали музыкальные номера в духе одесских песенок 20-х годов, которые великолепно исполняет народный артист УССР Михаил Водяной, играющий роль Попандопуло».



Делить будем по-честному...
Гречкосий — Василий Сердюков, Попандопуло — Александр Осипец.

Вот здесь и кроется ответ на вопрос, почему «Свадьба в Малиновке», которую мы знаем, обрела такой одесский колорит, хотя, если отталкиваться от первоначального варианта пьесы и музыки, его там быть не могло. Драматург описывал события, происходившие не где-то под Одессой, а в украинском селе, находящемся на территории Таврической губернии, то есть к северу от Крымского полуострова, примерно в той части нынешней Херсонской области, которую и сегодня называют Северной Таврией. Об этом свидетельствует и «титул» главаря так называемой банды — пан атаман Грициан Таврический, и в какой-то мере даже «ник» его адъютанта — Попандопуло (распространенный тип греческих фамилий, обладателями которых были переселенцы, обосновавшиеся в тех местах).

Леонид Юхвид хорошо знал, о чем писал: он пережил мальчишкой Гражданскую войну именно в тех местах — был родом из махновской столицы, города Гуляйполе Екатеринославской губернии, граничащей с Таврической губернией. И даже в том виде, в котором его пьеса дошла до нас (а ведь кроме крупных переделок каждый режиссер привносил в текст что-то свое), в ней сохранились некоторые диалоги и реплики, свидетельствующие о реальных событиях тех дней, происходивших именно в тех местах. Например, в премьерном спектакле (речь о котором пойдет чуть ниже) есть мизансцена, когда командир красноармейцев допрашивает пойманного штабс-капитана Чечеля, уполномоченного барона Врангеля. И если немного углубиться в историческую литературу, то можно убедиться, что именно осенью 1920 года (когда и происходили описываемые в пьесе события) в центре Северной Таврии находилась подчиненная непосредственно Врангелю ударная группа, против которой и велась наступательная операция войск Красной Армии. И Чечель — не выдуманный персонаж, а реальный политический и военный деятель, один из руководителей Украинской партии эсеров, находившийся определенное время в эмиграции в Вене. Поэтому красный командир и бросает ему реплику: «Вы все больше по столицам да по заграницам…», которую зритель просто пропускает мимо ушей. А случайно оставшиеся в либретто слова об отце Чечеля, которого лично знал этот самый красный коман-

дир, теперь уже лучше было бы вообще убрать, потому что нынешнему зрителю они уж точно ни о чем не говорят и никак не влияют на развитие сюжета.

Но прежде чем приступить к анализу недавней премьеры, следует вспомнить, что «Свадьба в Малиновке» впервые была поставлена в 1975 году в тогда еще молодом Театре музыкальной комедии БССР известным украинским режиссером Александром Барсегяном. Учитывая героико-патриотическую направленность этого произведения, его постановку приурочили к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, именно с этого спектакля и началось знакомство автора этих строк с Театром музкомедии. Вот если бы теперь можно было взглянуть на ту постановку с высоты накопленного и зрительского, и аналитического опыта… А если говорить об общем давнем впечатлении рядового зрителя, то тогда сразу бросилось в глаза оформление спектакля: на заднем плане сцены хорошо просматривалось изображение красной конницы, летящей через пламя войны, и на фоне походной песни звучали пафосные слова о роли Красной Армии в освобождении народа. Никаких других элементов сценографии не запомнилось, возможно, они были условно-символическими. (Тогда театр еще не имел своего помещения, и его спектакли шли на разных сценических площадках города, например, «Свадьба в Малиновке» — на сцене Дворца культуры железнодорожников, не очень приспособленной для театральных постановок.) Запомнились также хорошо поставленные танцы, особенно один из них, красноармейский — как указано в сохранившейся програмке, это хореографическая сценка «Атака». Тогда танцевальные номера исполняли только артисты балета, и ни хор, ни солисты в них задействованы не были. В целом спектакль был выдержан в духе советской опереточной стилистики: у солистов свои актерские задачи, у хора и балета — свои. Но на его восприятие, пожалуй, все же влияла магия фильма, где все ясно и понятно, а в театральной условности еще нужно было разбираться… Поэтому персонажи спектакля не показались столь яркими и не так запомнились, как герои фильма.

Вообще после экранизации «Свадьбы в Малиновке» произошла интересная вещь: все нововведения из фильма перекочевали в театральные постановки, в том числе, конечно же, и музыкальные номера. Теперь даже невозможно представить, чтобы такой персонаж, как Попандопуло, вдруг лишился бы своих песенок и куплетов. И у многих складывается впечатление, что это герои фильма перешли на театральную сцену, а не наоборот.

По сути, первая минская постановка и нынешняя основаны на одном и том же либретто и на одном и том же музыкальном материале, и персонажи у них, естественно, одни и те же. Но хотя их и объединяют свойства фундаментального характера, это два совершенно разных спектакля. Времена меняются. И даже классическую оперетту сегодня невозможно поставить в той же стилистике с использованием тех же постановочных приемов, что и 40 лет назад. А в данном спектакле на новый принцип постановки накладывается еще и своеобразная ответственность за былые идеологические каноны. Полностью разделять или полностью игнорировать их невозможно. Уже давно нет Красной Армии, как нет и ее преемственницы Советской Армии, нет также и Страны Советов, за которую они сражались. Но есть память поколений, в которой те события остаются овеянными ореолом славы и героизма. Так что случайно или нет, но премьера «Свадьбы в Малиновке» состоялась в памятную для некогда нашей общей страны дату — 7 ноября.

Постановщик спектакля главный режиссер Музыкального театра Михаил Ковальчик рассуждает так: «Мы находим в этом произведении, как сказал один известный режиссер, мысли, нужные современности. Берем кусочек нашей общей истории, когда все рассматривалось однозначно: красные — хорошие и правильные, а белые — плохие и неправильные, и переосмысливаем его с позиций сегодняшнего дня. И те, и другие — это наши люди. В каждой из противоборствующих сторон были такие, которые искренне боролись за свои убеждения,

но были и такие, которые с их помощью старались прийти к власти. И наш спектакль — о жизни простого человека, страдающего от этой борьбы. История всегда поучительна. И разве сегодня эта тема не актуальна? Разве сегодня из-за стремления к власти одних не гибнут другие?.. Однако в нашей постановке нет никакой политики и никакой идеологии. Мы просто старались показать, что даже в условиях войны, невзирая на бедствия и угрозу жизни, люди не переставали жить и любить. И в финале у нас разыгрывается уже не хитроумно придуманная, а настоящая свадьба. Литературно-музыкальный материал этого произведения, построенного на остром сюжете и комедийных ситуациях, дает нам возможность показать целую галерею ярких самобытных образов и бесподобных характеров, что больше всего и привлекает зрителя в этой постановке».

Через весь спектакль, развиваясь и взаимодействуя, проходят три основные линии: героико-патриотическая (на которую при создании оперетты делался упор), лирическая и комедийная (состоящая из юмористической и сатирической частей). Так что литературная основа «Свадьбы в Малиновке» в драматургическом плане не так уж и проста (что позволяет ставить ее и в драматических театрах). Чего не скажешь о музыкальной драматургии этого произведения, которой, по большому счету, здесь и нет (если убрать текст, то останется определенный набор небольших музыкальных композиций, или проще сказать песен). В отличие от украинского композитора Алексея Рябова, который специализировался на опереттах и которого даже обвиняли в «кальмановщине», Борис Александров до «Свадьбы в Малиновке» вообще не имел никакого опыта сотрудничества с музыкальным театром. Он был автором песен военно-патриотического содержания (что тогда и обусловило выбор его кандидатуры), поэтому героико-патриотическая линия в созданной им оперетте получилась самой выразительной, но при этом не бравурной, а романтически приподнятой. И лирическая линия у него получилась замечательной, наполненной распевными песнями, близкими и к народной мелодике, и к фольклорной поэтике. А вот в комедийной линии, точнее, в ее сатирической части, которую в данной постановке расширили за счет так называемых бандитских выходов, не хватало музыкального материала для этих самых бандитов. Его и дописал белорусский композитор Олег Ходоско, который совместно с дирижером-постановщиком Николаем Макаревичем сделал и аранжировку всего произведения.

Начинается спектакль, как и фильм, с лирико-бытовых картин, где сразу заявляет о себе молодая лирическая пара — Яринка и Андрейка, которые, невзирая на то, что идет война и власть в селе меняется чуть ли не каждый день, решили пожениться. На эти роли были назначены заведомо молодые артисты, имеющие небольшой сценический опыт, но подающие большие надежды. Для Ольги Железской это всего лишь вторая работа в театре, а первой была поистине королевская роль — Софьи Гольшанской в одноименном мюзикле Владимира Кондрусевича. По сравнению со сложной вокальной партией Софьи песни и дуэты Яринки сложными никак не назовешь, и по драматургической наполненности роль Софьи несопоставима с ролью Яринки, но при этом все равно нельзя не отметить, что молодая вокалистка значительно выросла в артистическом плане и особенно заметны ее успехи в хореографической подготовке (наиболее сложными и неожиданными в жанровом отношении оказались ее танцевальные номера во время мнимой свадьбы). А Николай Русецкий в роли Андрейки предстал очень непосредственным и прямодушным, покорив зрителей трогательной проникновенностью своего тенора, полного ярких лирических красок. В целом наиболее органичными молодые исполнители были именно в музыкальных номерах. В этих же ролях предстают также опытные артисты Наталья Глух и Сергей Спруть. Так что у публики есть выбор: или идти на уже известных ей исполнителей, или удовлетворить свой зрительский интерес в отношении начинающих.

Интересный факт: Роль Яринки в постановке 1975 года исполняла Заслуженная артистка Республики Беларусь Валентина Петлицкая — это была ее первая



Пан атаман Грициан Таврический — Виктор Циркунович.

работа в театре. Теперь же она является ассистентом режиссера нынешней постановки. А роль Андрейки исполнял Заслуженный артист Республики Беларусь Василий Сердюков — единственный из того первого состава актеров, кто занят и в новой постановке (сейчас, конечно, уже в другой роли, о чем будет сказано ниже). Более того, Василий Сердюков входил и в ту когорту актеров, которые стояли у самых истоков создания театра в 1970 году. Теперь ветеранов сцены здесь осталось двое — он и Наталья Гайда.

Лирическая линия в спектакле усиливается лирико-драматической, развитие которой начинается от образа Софьи — матери Яринки, уже 15 лет ждущей сосланного в Сибирь мужа-революционера, — и расширяется с его появлением, теперь уже в лице красного командира. (Из-за того, что труппа в последние годы сильно помолодела, в ней еще больше стал проявляться уже давно существующий возрастной дисбаланс, поэтому на возрастные роли назначаются артисты среднего поколения, а то и вовсе молодые, которые гримируются до неузнаваемости.) И сейчас в роли Софьи предстала Заслуженная артистка Республики Беларусь Маргарита Александрович, которую зритель все же привык видеть в образе молодых героинь, а также Лидия Кузьмицкая, которой тоже еще рано выступать в возрастных ролях. Однако Кузьмицкая уже во второй раз выходит на сцену в образе матери (первый раз это было в мюзикле «Шалом алейхем! Мир вам, люди!» Олега Ходоско) и выглядит при этом очень даже убедительно. В этом спектакле образ Софьи в основном раскрывается музыкальными средствами, и артистке удалось показать внутренний мир своей героини — проникновенно звучит ее лирико-драматический рассказ о женской доле, мягко и задушевно дуэт с Яринкой и песня с хором.

В привычном амплуа героя предстал Заслуженный артист Республики Беларусь Антон Заянчковский, который исполняет роль красного командира Назара Думы. Как выясняется по ходу действия — он и есть муж Софьи и отец Яринки. Этот персонаж удивительным образом соединяет в спектакле лирическую, а точнее, лирико-драматическую линию с героико-патриотической. Даже не совсем понятно, как авторам удалось здесь представить образ красного командира, так же как и коллективный портрет красноармейцев, без пафосных и ура-патриотических настроений. Ни в их диалогах, ни в музыкальных номерах ничего этого нет. А ведь по логике вещей походной песней красноармейцев должна была стать какая-нибудь композиция в духе «Кавалерийской буденновской» того же Александрова, а не народная песня «Ой при лужку, при лужке…», которую композитор использовал в этих целях. И в каждой сцене при появлении красноармейцев лейтмотивом звучит именно эта, пусть и обработанная, но народная песня, а не специально написанный марш. Или взять сцену на привале: командир в задушевной беседе со своим заместителем говорит, что он из здешних мест и что ранее у него здесь были жена и маленькая дочь, о которых он до сих пор ничего не знает, и вслед за этим поет грустную, тоже в народном духе песню «Вырос, вырос в поле чистом дуб высокий и ветвистый…». А далее по ходу действия, уже появившись в селе, он будет петь солдатскую балладу «Широкая степь от пожаров дымится…».

Из коллективного портрета красноармейцев больше всех выделяется этот самый заместитель командира — Петря Бессарабец. В кинофильме в этой роли

снялся Николай Сличенко. Логичным было ожидать, раз сниматься пригласили певца, то в фильме он будет прежде всего петь. И режиссер Андрей Тутышкин в своих воспоминаниях указывал, что в числе новых музыкальных номеров авторами написан дуэт Яринки и Петри. Но это оказался не дуэт в том смысле, когда у каждого вокалиста своя партия, а обыкновенная песня куплетной формы «Здесь никто, никто моих не услышит жалоб…», которую поет Яринка, а Петря ей вторит. То есть, у Сличенко не оказалось ни одного сольного номера, но со своей цыганско-молдаванской манерой исполнения он все равно запомнился, солируя в ансамблях. Тот же музыкальный материал используется и в спектакле, где роль Петри исполняет Евгений Ермаков, и очень жаль, что его насыщенный, яркого тембра тенор звучит со сцены так же недолго. Однако у Ермакова есть запоминающиеся разговорные сцены, пусть и небольшие, но позволяющие раскрыть разные грани его персонажа: Петря выглядит и толковым командиром, и остроумным шутником, и увлекающейся натурой.

В общем, все красноармейцы в спектакле предстают не столько воинственными, сколько внушающими доверие, романтически приподнятыми, а в определенных ситуациях даже лиричными. Короче, обыкновенные хлопцы, только в форме. И как-то опосредованно проводится мысль, что армия не какая-то структура, существующая отдельно от народа, а что она по сути своей — народная. И это единение органично отражено в массовых сценах, когда отряд входит в село.

С массовых народных сцен собственно и начинается комедийная линия в спектакле, где авторы не пожалели красок: здесь и колоритный народный язык с характерными речевыми оборотами, и сочный народный юмор, и целая портретная галерея его носителей. Например, дед Нечипор, который, надев буденовку, управляет в селе всеми делами от имени советской власти, вершит суд над сельчанками, но главное, разводит целую семейно-бытовую философию со своей Гапусей, останавливая ее скоростной речевой поток своим излюбленным «Не спеши!..». И эта фраза является для деда ключевой в любой ситуации, когда он не разделяет чье-то мнение. Единственным исполнителем этой роли является Заслуженный артист России Алексей Кузьмин, который уже более 30 лет работает в нашем театре и в последнее время является незаменимым исполнителем возрастных характерных ролей. А вот в образе Гапуси предстали две солистки, которым еще далеко до возрастных ролей (не особенно помогают им и характерный грим, и подкладные толщинки в костюмах). Но при всем при этом Екатерина Дегтярева, обычно выступающая в амплуа характерных персонажей, была предсказуема для этой роли, чего нельзя было сказать про Лесю Лют, которую привыкли видеть в образе молодых лирических героинь, — так что неожиданной сменой амплуа она многих приятно удивила. Хорошо, что в театре есть артистки старшего поколения Ирина Заянчковская и Людмила Станевич, которые в массовых народных сценах были просто незаменимы, — это их героини, которые то враждуют, то мирятся, задают тон всему женскому гарнизону Малиновки.

А командует этим гарнизоном, как известно, Яшка-артиллерист, который неожиданно, но так кстати появился в селе. Шел он себе спокойненько полтора года из австрийского плена обутым, а на подходах к родному селу какой-то бандит снял с него сапоги. И Яшка при первом подвернувшемся случае решил восполнить потерю: «Дед, скидай сапоги! Не то раз — и вдрызг!» — угрожая винтовкой, беззлобно «обратился» он к попавшемуся по дороге деду Нечипору. Так они и познакомились. Но вскоре выяснилось, что и винтовка не заряжена, и что Яшка родом из соседней Янковки, которую сожгли врангелевцы, и что идти ему теперь некуда. Так и остался Яшка в Малиновке. Но наотрез отказался быть помощником деда Нечипора, потому что слаб здоровьем для такой работы. А вот начальником гарнизона — как раз то что надо. А по совместительству, чтобы не обидеть деда, согласился быть писарчуком.

По кинофильму все помнят в роли Яшки Михаила Пуговкина. И образ очень яркий, и актер очень талантливый, так что стереотип этой роли остался очень сильным. Вот только спектакль — не кино, и на сцене актер виден как на ладони, а не так, как покажет его объектив кинокамеры. Денис Немцов в роли Яшки-артиллериста оказался одновременно и таким, и не таким, как в фильме. Перипетии сюжета, разговорные сцены и музыкальные номера в фильме и спектакле практически одни и те же. Но если киноактер может «как будто петь и как будто танцевать», оставаясь при этом убедительным, то театральный актер должен действительно и петь, и танцевать — в этом и заключается его профессионализм. Так что в плане вокала, хореографии, актерской техники Денис Немцов, конечно, совсем иной исполнитель этой роли. Его Яшка также танцует с Гапусей «в ту степь» — но это один из сильнейших номеров спектакля, при этом он еще и бьет настоящий степ. И с Комарихой у Яшки те же романтические отношения: он ей про чернявую гаубицу и трехдюймовые глазки, а она ему — пирожки со смаком… А их музыкальный номер, начинающийся с «Эх, отшагал я по земле чужой…» и заканчивающийся «Знать, суждено любить и нам», хоть и юмористический по своей сути, но весь пронизан лиризмом. Суметь показать жизненную правду в, казалось бы, несерьезной форме — это уже более высокий, драматический уровень игры, который проявляется в комедии пусть не явно, но ощутимо. В разных составах партнершами Немцова являются Наталья Дементьева и Алла Лукашевич, и каждой из них по-своему удается показать бесхитростное простодушие своей героини в ее стремлении проявить свою женскую суть.

Но особенную остроту комедийная линия приобретает в так называемых бандитских сценах, превращаясь в откровенную сатиру с применением целого арсенала комических средств: гиперболы, гротеска, пародии и других. По сюжету пьесы отряд красноармейцев борется с бандой атамана Грициана Таврического, которую в результате хитроумного плана удается легко взять во время мнимой свадьбы.

Действительно, в Гражданскую войну кроме различных формирований белых в окрестных селах орудовали и всевозможные банды, принося населению еще больший урон и разорение. Но создается впечатление, что автор пьесы описывал не тривиальных бандитов, а скорей всего, махновцев, которых хорошо знал, сознательно маскируя их под бандитов. Ведь, как уже указывалось, драматург был родом из Гуляйполя, а это также родной город Нестора Махно — главнокомандующего Революционной повстанческой армией Украины, где в годы Гражданской войны располагался центр повстанческого движения.

В пользу того, что Грициан не был бандитом с большой дороги, говорит и его «титул» — пан атаман, и сохранившиеся в либретто реплики: «Как же можно без программы? Я же атаман идейный. И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность». То есть Грициан со «своими ребятами» был анархистом — как и Махно. И выступал за независимость Украины, потому и стремился «утворить в волости самостийную державу», о чем и заявил жителям Малиновки. Скорей всего, драматург не списывал образ Грициана с какого-то конкретного атамана, а просто писал о тех, кого хорошо знал. Но называть махновцами их не стал (хоть они и не выступали против Советской власти и вместе с Красной Армией боролись против войск Деникина). Но зато выступали за самостийную Украину, а этого было достаточно, чтобы к 20-летию Октября о них не упоминать.

Итак, в пьесе стали фигурировать бандиты. Но почему-то их никто не боялся. И ничего плохого жителям Малиновки они не сделали. А со вторым лицом банды — адъютантом самого атамана — легко справилась беззащитная Яринка: «Я его как огрею граблями по спине — бац! Пополам!» И травмированный адъютант в погоне за Яринкой, зацепившись ремнем портупеи за плетень, там ее и оставил вместе с оружием, чтобы легче было бежать… Но девушка благополучно скрылась. Эти кадры из фильма помнит каждый, кто хоть однажды его видел. А чего стоит один только вид Попандопуло — ну форменный клоун, весь обве-



Такая пляска не легка...

шанный оружием. А назвать бандитами всех остальных участников этой команды просто язык не поворачивается — будет слишком громко сказано. Это сборище таких же клоунов — вспомнить хотя бы их вид и поведение на свадьбе или дележ награбленного… В общем, если эти бандиты и могли совершать какие-то налеты, то только на домашнюю живность и на содержимое женских сундуков.

Почему автор представил их такими? Вероятно, потому, что показать сколько-нибудь положительными тех, кто выступал против новой власти, было невозможно. А рисовать их черной краской он не хотел. Потому и подал их всех в заведомо пародийной форме. Одного лишь атамана пощадил — оставил в нем нормальные человеческие черты. Цензоры не обратили на это внимания, как и не задумались над тем, что вступать красноармейцам в серьезную борьбу с таким сборищем — себя не уважать.

Однако в спектакле бандиты выглядят все же посолиднее — уже не столько клоуны, сколько приблатненные фраера, внешне смахивающие на одесских налетчиков. И появляются они на сцене с шиком и форсом — выезжают на авто! А пан атаман вообще крутой — весь разодетый, в папахе, в парчовой черкеске и в украинской вышиванке. С гиком и свистом размахивает саблей — не столько чтоб кого-то застращать, а чтоб себя показать. В этой роли очень интересно выглядит Виктор Циркунович — его Грициан самоуверенный и немного циничный, но можно сказать, не вредный. И можно даже предположить, что немного влюблен в Яринку — говорит, что весь иссох по ней… Благодаря новому музыкальному материалу, у этого персонажа интересные, свежие вокальные и танцевальные номера, особенно танец на свадьбе, и Циркунович так лихо его исполняет. В этой

же роли предстает и молодой артист Артем Хомиченок, которому не так просто было перейти с амплуа героя на такой характерный образ. Но зрители в это особенно не вникают, им интересны оба исполнителя: и Циркунович, и Хомиченок — обладатели прекрасных баритонов, так что разочарован не будет никто.

А вот образ Попандопуло по сути своей не изменился. Он такой же, каким его исполнял Михаил Водяной и каким ожидали увидеть зрители (но как и в случае с образом Яшки-артиллериста, с учетом эффекта сцены). Видимо, это тот случай, когда не грех пойти на поводу у публики, но при этом, не отказываясь ни от чего до боли знакомого, привнести в образ что-то свежее. И особенно интересно то, что два исполнителя этой роли показывают, с одной стороны, одного и того же Попандопуло, а с другой — пользуются при этом чуть ли не противоположными средствами выразительности. Так, Александр Осипец играет эту роль как драматический актер — поющий и танцующий, но драматический (каковым он и является). А Дмитрий Якубович — как мюзикловый актер, где превалирует техничность (его Попандопуло даже садится на шпагат).

И еще один персонаж остался похожим на своих клоуноподобных собратьев из фильма — это Гречкосий (в фильме он — бандит Сметана, тот, с которым Попандопуло делит добро). В спектакле же Попандопуло и Гречкосий почти неразлучны — они вместе по приказу атамана пытаются разыскать Яринку, вместе угрожают каким-то бутафорским оружием ее матери, вместе гуляют на свадьбе и вместе «честно» делят награбленное Гречкосием добро, в результате чего ему достается только чепчик. В этой комической роли и предстал Василий Сердюков, притом он является ее единственным исполнителем. Других возрастных актеров в театре просто нет.

При всем обилии ярких образов, это все же ансамблевый спектакль, где системообразующую роль выполняют массовые сцены, в которых заняты артисты хора. Например, они и красноармейцы, и бандиты — только успевай переодеваться и гримироваться, чтобы тебя не узнали. Как говорит хормейстер-постановщик Светлана Петрова, хоровые партии тех и других здесь несложные, артистам сложнее перевоплощаться из одного образа в другой, притом делать это нужно быстро, попутно решая еще и разнообразные актерские задачи. К тому же им приходится еще и танцевать. Поэтому нельзя не отметить, что все хоровые фрагменты отличаются очень хорошим ансамблем.

Внимательный зритель мог обратить внимание и на новую стилистику хореографических номеров, которую привнесла в спектакль приглашенный из Екатеринбурга балетмейстер-постановщик Наталья Москвичева. В спектакле танцуют все: и артисты балета, и артисты хора, и солисты-вокалисты. Но особенно интересными получились танцы на свадьбе, а также бандитские выходы с их оригинальной, даже какой-то стильной пластикой.

Свою лепту в восприятие спектакля вносит и его оформление. Художник-постановщик Андрей Меренков сделал стилизованную под народный лубок сценографию с характерными украинскими мотивами. И непременный символ украинского села — подсолнух, здесь даже несет определенную смысловую нагрузку. Костюмы персонажей отличаются интересной детализацией и точным попаданием в образ, притом без чрезмерного подчеркивания их основных характерных признаков.

А раз в спектакле все так органично совпало и совместилось, значит, это заслуга его режиссера-постановщика.

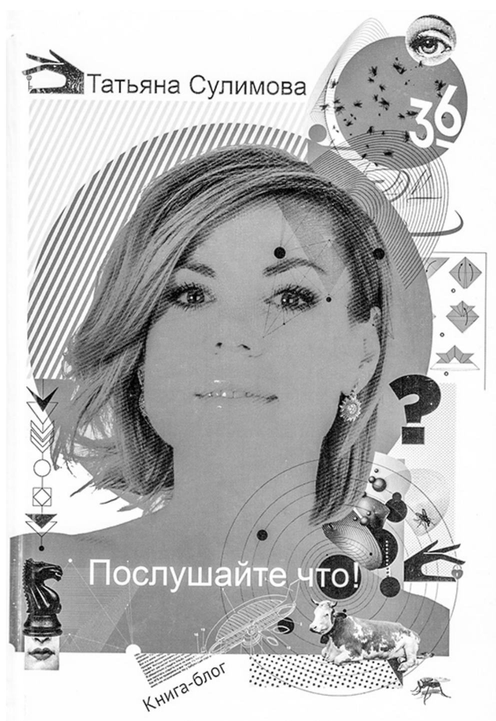


С точки зрения рецензента

Такая вот журналистика!..

Не знаю, есть ли еще такие издания — книги-блоги. Не знаю даже, есть ли будущее у блога как у жанра. Останется ли он в печатных СМИ, станет ли достоянием только Интернет-пространства в различных его проявлениях, или, возможно, будет присутствовать в радио- или телевизионном эфире? …Предугадать сие нам, вероятно, не дано. По крайней мере, а в этом я просто уверен, какие-то метаморфозы, изменения с блогом как с жанром, несмотря на его молодость, непременно произойдут. Ведь нет сегодня прежней популярности у газетного или журнального очерка, некогда будоражившего сознание. Вы помните Валентина Овечкина, Анатолия Аграновского, Сергея Смирнова, Ивана Васильева, Геннадия Бочарова, Татьяну Тэсс, Мариэтту Шагинян?.. Можно попробовать вспомнить, что жанр очерка был и в творческих исканиях Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова. И вообще — можно даже назвать публицистами-очеркистами Александра Герцена, Владимира Короленко, Глеба Успенского. А те, кто читает белорусскую прозу, знают имена народных писателей, классиков, то, пожалуй, найдет очерки (особенно — путевые очерки!) в творческом наследии Янки Брыля, Владимира Короткевича, Анатоля Кудравца… И вместе с тем все это кажется историей. Давней и большинству читателей, желающих жить интересами современности, просто ненужной.

К чему я все это говорю? Совсем не для того, чтобы засвидетельствовать невнимание к такому серьезному жанру публицистики, как очерк. Совсем не для того, чтобы противопоставлением ему блога засвидетельствовать и задокументировать смерть очерка…



Читаем в «Предисловии», открывающем книгу-блог Татьяны Сулимовой «Послушайте что!» (Сулимова Т. Н., Послушайте что! Книга-блог / Татьяна Сулимова. — Минск: Звязда, 2015): «…Кого мы слушаем? Зачем? И всегда ли нас слышат… Или делают вид.

Много лет я работаю в прямом эфире разнообразных музыкальных радиостанций. Есть такая профессия — болтать между песнями. Иногда

сложно начать. Особенно если в сотый раз ставишь в эфире заезженную пластинку. И уже все сказано. И по новой! О любви. О птичках. Кажется, чушь… Потом встречаешь человека, а он признается, что благодаря этим словам сделал единственно правильный выбор в своей жизни.

Каждый слышит, что хочет.

— Привет-привет! Солнце — дождь — музыка.

В этом весь FM…»

И так Татьяна говорила, собирала слова, надевала их на свои мысли… Пока главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович не предложил ей по пятницам вести в самой тиражной газете страны колонку. «Я была тронута, — признается Татьяна, — но растерялась:

— А как это — писать? Я больше по части «говорить».

— Как говоришь, так и пиши. Слово в слово, — посоветовал Павел Изотович.

И первые тексты я наговаривала на диктофон. Потом переписывала. Получалось забавно. Просто. Со временем диктофон исчез. Стала писать, как говорю. А потом и говорить, как пишу. И удивлялась, что это находит отклик. Я ж ради удовольствия. Так что спасибо Павлу Якубовичу за открытую мне дверь в мир печатных слов. Он ведь очень строгий редактор, это все знают, но из моих статей за все те же 15 лет, что я пишу, не выбросил и не исправил ни строчки.

— Почему вы не соберете свои статьи в книгу? — спрашивали у меня все чаще и чаще.

А мне казалось, ну что там собирать — пустячок слов и сбоку бантик…»

Статьи из колонки, из блога Татьяны собраны в книгу-блог «Послушайте что!». И книга, сотканная из простых слов, получилась на удивление слышимой. Знакомые по газете «Советская Белоруссия» (а если быть точными, то по газете, на первой странице которой — всеобъемлющее название: «СБ «Беларусь сегодня») тексты я охотно перечитываю в книге.

Каждый из разделов — «Страна мороженого», «Пунктики», «Рантье мыслей», «Счастье быть мамой», «Заглянуть за горизонт», «Крючок и колокольчик», «Посвящения» — напоминает мне состоявшиеся однажды встречи. Иногда, даже прочитав один абзац, начинаешь не просто вспоминать «тему Сулимовой», а готов цитировать когда-то ею сказанное-написанное едва ли не слово в слово. Так в чем же сила этих блогов? И соперники ли они очерку? И правильно ли вообще тиражировать книгами то, что однажды вышло в газете?..

Я не спешу отвечать на эти вопросы. А просто хочу уговорить читателя открыть книгу Татьяны Сулимовой или начать читать ее колонки в газете «СБ. Беларусь сегодня», а еще — в журнале «Алеся» (есть такой журнал для женщин, раньше назывался — «Работніца і сялянка»). Какие аргументы спешу привести в защиту такого предложения? Татьяна Сулимова очень искренняя в каждом из своих текстов, которые являются отражением ее «Я», всей ее жизни, всех ее взглядов сразу. Хотя, конечно же, тема в каждом из текстов своя, иногда достаточно узкая. Но о теме думаешь в последнюю очередь. Сначала в твое сознание проникает река. Река слов и река мыслей…

Как, к примеру, и в случае с этим эссе-блогом «Обойденные счастьем»… «Включайте слух, открывайте высказанное-написанное…» «Стою я со своим блендером в руках, а на меня смотрят две пары несчастных глаз.

— Почините?

— Посмотрим… — говорят хором. Обреченно. И вздыхают тяжело.

Совсем плохонько одетая приемщица заказов и пожилой мастер по ремонту бытовой техники, видимо, хотели бы, чтобы все вышло как-то иначе. А тут еще я со своим блендером. Пропахшая растворимым кофе, несвежими свитерами и табачным дымом мастерская сервисного центра — не лучшее место для счастья. Но кто сказал, что оно единственно возможное?

Несчастность — особая форма человеческого существования. Очень даже уютная. Идет по жизни человек с печальными глазами, и никому не хочется его отвлекать. Еще, чего доброго, расскажет, отчего он такой несчастный: «Да-а, у меня совсем не так, как у тебя…» Простите. Извините. Я просто так. Не хотела, в общем, подчеркнуть и обозначить этот когнитивный диссонанс. И, как бы это сказать, — несчастье для меня невыносимо. Я пошла! Говорят, оптимизм — недостаток информации. Вот мастер пошел в свою комнатуху, врубил «Pink Floyd», стал крутить в руках мой блендер, вздыхать в такт «Vour Pozzible Paztz». Она стояла в дверном проеме с призраком улыбки на лице…

Он сказал: «Я был просто ребенком, теперь я всего лишь человек.

Вы меня помните? Какими мы были раньше?»

Вспоминаю я, о чем там поется в песне. Самое страшное, что со мной бывает, — встреча с теми, с кем мы были детьми. Отрывались. С ума сходили. Борзели. Мы мечтали так: я стану самой-самой! И буду там и там. И вот я встречаю в магазине мою подвыпившую одноклассницу, бросившую на меня взгляд и теперь изо всех сил пытающуюся уйти от нежелательной встречи. Бог с тобой, Света… Я тоже не хочу.

Я не хожу на вечера встречи выпускников. Мне больно знать, что трое из нашего класса умерли, двое в тюрьме, остальные в каком-то порядке. Я тоже в порядке. Борюсь за счастливость.

Моя дочь разобралась с Новым годом и Дедом Морозом одним махом:

— Подари мне настоящие крылья! — потребовала.

— Хо-хо-хо…

— Не можешь? Мама, идем отсюда.

И потом объясняла строго: «Лучший подарок — это крылья! Куколку я и у тебя могу попросить».

Я теперь думаю, как ей рассказать про разность человеческих крыльев. Мол, они у тебя есть в душе, люди мечтают по-другому, ты можешь научиться жить с ощущением полета…»

Еще один аргумент «за» — «за чтение Сулимовой»: она награждает крыльями, вселяет надежды, она через простые слова заставляет думать. И ведь лучшие очерки (причем в одинаковой степени — авторов из разных десятилетий) тоже заставляют думать, рассуждать. Над конфликтами в тексте, над образами, деталями, символами, украшающими тексты. Сознание отвлекается. В таких художественно-публицистических знакомствах как-то теряешься, думаешь о других и другом, забываешь себя.

Один из текстов из книги «Послушайте что!» начинается так: «Из-за преступной халатности работников музея картина Малевича «Черный квадрат» два месяца провисела вверх ногами.

Я, пожалуй, несколько десятков анекдотов на эту тему могу припомнить. А все потому, что ничего так не тревожит обывательский мозг, как недоумение: отчего так дороги простые вещи?..»

Я дальше не продолжаю цитату из эссе-блога «Простые вещи». Я просто верю, что вы откроете книгу Татьяны Сулимовой и обязательно прочитаете ее от начала до конца. Вас ждет немало открытий. Нет, не сенсаций, не удивлений, а — близких и непонятных открытий о простых вещах, которые после прочтения станут неотъемлемой частью вашей жизни.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ



С точки зрения рецензента

Юмор, дозированный и нет, или Лекарство от коммунизма



Психиатр помолчал, потом сказал:
— Остается одно средство — юмор.
— Юмор?!
— Других средств борьбы с фанатизмом я не знаю. Отнеситесь с юмором к тому, что видите, слышите.
— Но мне не до юмора!
— Подтрунивайте, иронизируйте…

Это фрагмент из повести Анатолия Делендика «Скакал казак за океан», где крестьянка Лушка (перенесенная автором из «Поднятой целины» в фермерскую Америку вместе с Титком-кулаком и «железным большевиком» Макаром Нагульновым) добивается от врача-психиатра ответа на вопрос: чем лечить человека, если он одержим коммунизмом? Героиня как будто выходит на прямую телефонную линию с автором, потому что названные методы — юмор, ирония, подтрунивание — это его, Анатолия Делендика, психиатра с семнадцатилетним стажем, а также прозаика, драматурга и сценариста, неизменные инструменты в борьбе с вредоносной идеологией, глупостью и другими душевными и духовными недугами.

Анатолий Делендик — автор двадцати театральных пьес, шести сценариев к кинофильмам, нескольких прозаических сборников, а также иронических мемуаров (публиковались в журнале «Нёман»). В свое время — член трех творческих союзов: Союза писателей СССР (1965), Союза театральных деятелей (1966), Союза кинематографистов СССР (1974), ныне — член Союза писателей Беларуси и гильдии сценаристов России.

Бывший партизан. Во время Великой Отечественной войны, в десятилетнем возрасте, стал партизанским разведчиком, впоследствии — «адъютантом» самого В. И. Козлова. От войны остались медали и воспоминания, на основе которых возникла «повесть для экрана» «Юный адъютант». Анатолий Делендик — дипломированный врач-

психиатр. Окончил лечебный факультет Минского медицинского института и одиннадцать лет проработал в психиатрической клинике. В предисловии к «Ироническим мемуарам» под заглавием «Исповедь несостоявшегося юмориста» Анатолий Делендик так объясняет выбор направления в медицине: «*Будучи студентом-медиком, я напечатал в молодежной газете монолог «Наш Вова». И когда увидел, что газета ходила по рукам студентов и преподавателей, что на меня с большим интересом посматривали девушки, понял — буду заниматься не только медициной. Но что в медицине ближе всего к литературе? Психиатрия. И я, оставив успешные опыты по микробиологии, перешел на специализацию по психиатрии*».

В своей «Исповеди» автор также признается: «*С первых рассказов меня тянуло на иронию, юмор, сатиру — какие-то колесики в голове вертелись в обратную сторону… Но этот жанр не поощрялся. И потому почти постоянно приходилось преодолевать полосу препятствий*». Это намек на полупреступный статус сатиры в Советском Союзе. Мечта Делендика «стать королем юмора в республике» разбилась о закрытые двери редакций, но не умерла, а поспособствовала развитию таланта чуткого к интересам публики драматурга. Достаточно было редактору молодежной газеты (публикация в которой принесла Делендику внимание девушек) сказать автору-дебютанту, что у него хороший диалог, что он будет писать пьесы, — и это замечание дало импульс к становлению второго драматурга в Беларуси, об Анатолии Делендике отозвалась газета «Республика», назвав его вторым после Андрея Макаенка. Уже первая пьеса Делендика выдвинула его на авансцену «большого» театра: драма «Вызов богам» («Четыре креста на солнце») шла в 110 театрах СССР и за рубежом. Одну за другой автор писал комедии, все были благосклонно встречены театральной публикой и критиками. Особо можно отметить комедию «Вкус яблока», поставленную в Купаловском: девять лет в репертуаре (!) сделали ее одним из самых кассовых спектаклей театра.

Затем творческая биография Анатолия Делендика делает новый виток — он берется за написание киносценариев (что для драматурга в век кино не редкость). И сразу же — успех (что редкость). Копродукционный словацко-белорусский военный фильм по сценарию Делендика «Завтра будет поздно…» (1972), посвященный Яну Налепке, Национальному герою Чехословакии и Герою Советского Союза, принес приз за лучший сценарий на международном фестивале в Пилзене. А картина того же года «Познай себя» (фактически — экранизация пьесы «Вызов богам»), снятая в Киеве, на международном фестивале в Варне получила Гран-при. Присовокупим сценарии к таким фильмам, как «Голубой карбункул» («Беларусьфильм», 1979), «Неудобный человек» («Мосфильм», 1979), «Волки в зоне» (первый художественный фильм о Чернобыльской аварии; «Беларусьфильм», 1990), «Анастасия Слуцкая» («Беларусьфильм», 2003).

Но это все будет позже, а началось все с литературы, с прозы, с «Нашего Вовы». Судьбоносный для Анатолия Делендика монолог был им «записан» в 1955 году. С этого времени его произведения стали появляться в печати, в газете «Сталинская молодежь». Прошло шестьдесят лет (это мог бы быть титр в кино), и в 2015 году выходит сборник прозы Анатолия Делендика «Кто согреет Галатею?» в «Издательском доме «Звязда» по заказу и при финансовой поддержке Министерства информации.

Книга включает четырнадцать произведений, разных по объему, жанру, тематике, написанных в разное время в течение едва ли не полувека, с 1955-го по 2001 год. (Не считая 70-е: это жар-

кая пора сценариев, мы помним.) Большинство повестей и рассказов созданы автором в 80-е и 90-е. Именно эпоха перестройки — отправная точка на оси времени, по которой читателю по воле автора предстоит скользить в прошлое и будущее, но неизменно возвращаться. То попадаешь в кошмар советского террора, то во времена развала СССР, а еще путешествуешь по горизонтали: в Германию, в Швецию, в Америку или Японию… Зарубежье — только контрастный фон для «нашего» человека, будь он пылкий социалист, ярый сталинист, партийный сановник или его же брат «новый русский». Различие менталитета, традиций, привычек — один из верных источников комизма. Рядом с рассудительным, свободным Западом «наши» безвредный и «вредный» идеологический фанатик, как и ушлый чиновник, нередко выглядят глупо и смешно. И наоборот, выделяются талантливый изобретатель и скромная труженица.

Эклектика, которую образуют произведения, побуждает рассредоточить их по тематическим полям.

Прежде обратимся к двум ранним рассказам, «Наш Вова» и «Юлий Цезаревич дает консультацию», стилистически и идейно инаким, чем более поздние работы. Чувствуется, что на них еще влияла старая классическая традиция, в частности, Чуковский и Чехов. «Наш Вова» — это монолог маленькой девочки о ее старшем брате Вове: «он студент и учится на доктора». В рассказе отражено непосредственное восприятие мира взрослых ребенком «от двух до пяти». Девочка буквально понимает метафоры, «которыми мы живем» (по Дж. Лакоффу и М. Джонсону): «*Наш Вова каждый день ходит в институт. Их там, наверное, подвешивают к потолку какими-то… лекциями, а внизу под ними — кинотеатр. Я не была там, но Вова недавно рассказывал одной девочке, что он часто срывается с лекций в кинотеатр. Я страшно испугалась, что Вова срывается, и побежала к маме*». (Напоминает современную технику вербатима — дословного воспроизведения чьей-либо речи.) «Юрий Цезаревич дает консультацию» — о том, как редактор невольно становится героем, жертвой ситуации, подобной той, что была в раскритикованном им за неправдоподобие и отвергнутом рассказе. Небольшая цельная форма, ничего лишнего, чего нельзя сказать, например, про более поздние повести, где наблюдаем явное тяготение к сценарной форме. В этих жанрово обозначенных как «повести для экрана» текстах больше «экрана» и меньше полноценных «повестей».

Главное и самое обширное тематическое поле условно назовем «отношения русского человека и советской власти». Менялись времена — менялись отношения и сама социальная иерархия. Например, каноничный образ «железного большевика» Макара Нагульнова в неканоничных условиях Америки начала 90-х, где под руководством Сталина, Ленина, Дзержинского и Берии герой берется организовать «первую коммуну Америки», но не находит поддержки среди местного населения. Мировую революцию Макара побеждает сексуальная — Лушки (секс — первое лекарство от коммунизма) и смех фермеров над абсурдом насаждения социализма (юмор — второе). В финале повести «Скакал казак за океан» Нагульнов предстает уже в роли секретаря райкома, паразитирующего на бедственном положении ленивых колхозников, а это Титок и Лушка. К счастью, все это лишь сон «пожилого ветерана колхозного движения».

В рассказе «Кошмар» также оживают призраки кровавого тоталитарного общества, где во сне очередного советского «динозавра» наказаны активисты перестройки и с помощью кнута — до крайности жестких мер, и пряника — продажи спирта в розлив, в результате чего, однако, страна доведена до полного краха. «Памфлет» — «критика» перестройки со ссылкой на рассказ

«Кошмар» как на проигнорированную инструкцию. Указана и главная ошибка чрезвычайников («чайников»): «*Не там начали, ребята. Где? Есть такой бастион — Белоруссия. Сегодня ведущей партии как будто не видно, но на всех ключевых постах — ее питомцы, члены бюро и ЦК. Так затаившийся в болоте крокодил мутными немигающими глазами высматривает жертву, чтобы в нужный момент броситься и намертво сжать могучие челюсти»*.

Логическим продолжением истории выглядит повесть «Рыбка в мутной воде». Молодой немецкий бизнесмен Генрих Бауманн хочет наладить в России выпуск аттракционов для детей, но сталкивается с бюрократией и коррумпированностью госаппарата, затем нарывается на бандитов, участвует в афере гэбиста по скупке и перепродаже атомной лодки шейху. Шейха, конечно же, зовут Омар, он капризен, возит с собой непременный гарем с обязательным евнухом, да еще завидует «гарему» профессиональных пловчих, чье выступление видит по телевизору. Повесть превращается в колонку анекдотов. Вот такими на мгновенье предстают белорусы: «*В зал ворвалась шумная колоритная фольклорная группа, в основном — пожилые сельские женщины в белорусских национальных одеждах, с прялками, кроснами и другой крестьянской утварью. Они уже были навеселе. На заказанные столы они выставили пузатые бутылки с мутной жидкостью. Усатый подвыпивший мужчина с красным лицом играл на гармони, другие на балалайках, цимбалах, мандолинах. Женщины пели, пританцовывали.* (…) *Выпив по стакану водки, вошедшие бросились в пляс под гармонь…»* Кстати, использование автором комичности «типичных» для нашего человека водочных возлияний достигает своего апогея в рассказе-мультфильме «Последний прилет марсиан». Здесь, правда, гротеск и лубочный антураж делают застольную сцену хоть и предсказуемой, но довольно забавной.

Из этой же тематической шкатулки и рассказ «Псих» — о советском ученом, чье предложение перерабатывать отходы в пользу дорожного строительства оказалось ненужным на родине, но зато им заинтересовались японские специалисты. Герой оказывается между двух огней и в итоге решает работать на себя: благоустроить общественные туалеты по образцу европейских и даже лучше. Но конгломерат власти снова ставит крест на инициативе одного, как известно, «не-воина»: Виктор уже во второй раз отыскивает укрытие в сумасшедшем доме, ведь с таким исполином, как система, и может бороться только псих.

Но пора назвать и другое, немаловажное, но все же второстепенное в книге, оттеняющее, тематическое поле. «Отношения мужчины и женщины», правильнее даже сказать, «отношения полов». Как многие говорят ныне, любовь — это болезнь. В книге, в частности с темой любви, тесно связана тема болезней, передающихся половым путем. Например, героиня повести «Грешница» (сюжет основан на реальных событиях) носит роковое имя Ева, а также вирус сифилиса, который передает каждому, кто жаждет близости с ней. Это ее «месть всему миру» за «подарок» одного высокопоставленного гостя. Снова возвращаемся к теме «человек и власть», «букашка» и могучая «система». В повести «Дон Жуан в эпоху риска» ловелас городского масштаба Дэн (Дэн Жуан) для уловки притворяется больным СПИДом, в результате чего становится в городе кем-то вроде неприкасаемого и наблюдает умирание по-настоящему больной подруги. Правда, в отличие от «Грешницы», в этом произведении посыл очевиден: например, из слов священника, который говорит, что СПИД — наказание человечеству за его грехи.

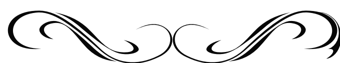
Любви, уже безопасной, немало и в других произведениях. Героиня повести «Кто согреет Галатею?», заводская

ткачиха, благодаря новому знакомому не только входит в круг элиты, богачей и знаменитостей, но и раскрепощается в сексе. После чего Золушка, как по волшебству, превращается в крутую бизнесвумен с деловой хваткой. А бездетный Генрих из повести «Рыбка в мутной воде» близко знакомится с русской комсомолкой—спортсменкой—красавицей, в результате чего обзаводится чаемым потомством. В обоих случаях описываются постельные сцены. Но если в первом случае автор тонко и красиво пользуется полунамеками, то во втором — поддается, на наш взгляд, излишнему шутовству и стереотипам: «*А дальше — стоны, пылкие объятия, безумные слова... Движения были такими сильными, что домик трясся, трясся и вдруг — развалился! Стены упали на все четыре стороны*».

Другие произведения структурно похожи на рассмотренные. В рождественской истории «Домбай» собраны пародии на звезд российской эстрады, в результате получился такой неожиданный черновой вариант анимированного телепроекта 2009 года «Мульт-личности». Юмореска «Право первой ночи» — опять же сатира на бюрократизацию чиновничьего аппарата, на этот раз Верховного Совета. «Капитуляция» — уморительная фантазия на тему того, как заставить швейцарцев реформировать российскую систему.

«Кто согреет Галатею?» — сборник прозы, способной быть интересной широкому кругу читателей за счет мастерски прописанных диалогов, динамичного сюжета и хорошего, качественного, в большинстве своем, юмора. В случае Анатолия Делендика это смех вопреки, смех сквозь смех, а не слезы. Тихий, в кулачок, — смех над младенческой наивностью, как детей, так и взрослых; едкий и презрительный — над тупым и неповоротливым государственным монстром; добродушный — над человеческими слабостями, громогласный гомерический — над грехом уже большим, вроде жажды наживы; грустный, про себя, — над суетностью и беспечностью человека перед лицом Вечности.

Полина ПИТКЕВИЧ



Из почты журнала

Профессор, воспитай студента!

Многим из нас трудно привыкнуть к мысли, что главной фигурой в учебном процессе вуза является не ректор, не проректор, не декан, а профессор, доцент и преподаватель. Их деятельность — это процесс выполнения задач, связанных с обучением и воспитанием студентов, их профессиональной подготовкой.

Несмотря на то, что главная сфера деятельности преподавателя — преподавание определенного предмета, в большинстве случаев он участвует в общественно-политической, научной, методической и другой работе, организуемой и проводимой в вузе. Проектируя личность студента, преподаватель должен последовательно и четко определять конкретные учебные и воспитательные цели, подбирать соответствующий учебный материал, создавать условия, способствующие достижению поставленных целей.

В вузе преподаватель и студент в большей степени отделены друг от друга, чем в школе учитель и ученик. И это с психологической точки зрения отрицательно сказывается на их взаимодействии. Чем дистанция больше, тем труднее управлять учебной деятельностью студента, так как в этом случае труднее учитывать ее внутренние условия, то есть те условия, через которые преломляются внешние воздействия на него в виде предъявления определенной учебной информации и определенных требований.

Все это — существенные стороны взаимодействия преподавателя и студента. Для преподавателя высшей школы характерно сочетание педагогической и научной деятельности.

Невольно вспоминаешь интересную и справедливую мысль известного российского ученого, хирурга и анатома Н. И. Пирогова: «Отделить учебное от научного в университете нельзя. Но научное без учебного все-таки светит и греет. А учебное без научного, как бы ни была заманчива его внешность, — только блестит».

Рассмотрим эту проблему на примере деятельности профессоров и доцентов Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка, который недавно отметил свое 100-летие.

21 ноября 2014 года в стенах БГПУ Президент Беларуси Александр Лукашенко решил обсудить важнейшие задачи по формированию трудолюбивой и здоровой нации, стоящие перед семьей, школой, с непосредственными участниками образовательного процесса, с теми, кого избранная профессия обязывает учить и учиться, и от которых, без преувеличения, зависит будущее страны. В своем выступлении он отметил: «Я убежден, что образование — это действительно фундамент общества. Пропуск для государств, для всей нации в завтрашний день, в будущее. Все важно: и экономика, и геополитика, и финансы, и безопасность. Но в конечном счете будущее наше зависит от того, какими мы вырастим наших детей. Сумеем ли мы дать им глубокие знания. Верные ориентиры в жизни, крепкий нравственный стержень? Вот в чем главный вопрос».

Поэтому на профессорах, доцентах и преподавателях педагогических вузов Республики Беларусь, готовящих будущих учителей, лежит особая ответственность.

Если в большинстве вузов нашей республики проблемой формирования личности занимаются преподаватели кафедр психологии и педагогики, то в БГПУ этой проблемой занимаются преподаватели всех кафедр гуманитарных дисциплин. Так, профессор кафедры философии (в настоящее время еще и кафедры политологии и права) БГПУ, доктор политических наук В. В. Бущик пришел к следующему выводу: «В период формирования рыночных отношений происходит ломка ценностей уходящей эпохи и активный общественный поиск новой системы ценностных и нравственных ориентаций. Сегодня уже для многих стало очевидным, что переход к новой общественной системе предполагает коренную перестройку мировоззрения человека, его мотивации. Именно от человека, его миропонимания и деятельности, отношения к происходящим процессам и меры участия в них, поддержки или отрицания тех или иных моделей общественно-

го устройства, инициатив и идей властей и других социальных институтов зависят результаты преобразований. Таким образом, речь идет о смене национальных культурно-исторических традиций, ценностей народа, за которыми стоят вековые традиции коммунитарной культуры».

Большой резонанс у кураторов БГПУ вызвала статья преподавателя кафедры политологии и права, кандидата социологических наук Л. П. Галич «Типология социального самочувствия молодежи: статистический и социологический анализ». Автор этой статьи отмечает: «Применение факторного анализа позволило выявить, что у молодежи при оценке социального самочувствия тесно связаны следующие переменные (индикаторы социального самочувствия): настроение, индивидуальное самоощущение, удовлетворенность жизнью и материальное благополучие семьи, с одной стороны, и экономическое положение семьи и страны, личный и общественный оптимизм, жизненное терпение, с другой…

Таким образом, применение факторного и кластерного анализа… позволило выявить, что наиболее распространенным среди молодежи является противоречивый тип социального самочувствия, характерный для 52,9 % респондентов. Включающий две группы респондентов — эмоционально-стабильных (24,8 %) и эмоционально-напряженных (28,1 %). Позитивный тип социального самочувствия выявлен у 34,5 % молодежи. Негативный тип социального самочувствия отмечен у 12,6 % респондентов.

Протестные настроения в большей мере свойственны для молодежи с отрицательными значениями показателей социального самочувствия. В группе респондентов с негативным типом социального самочувствия выявлен высокий уровень протестных ожиданий, готовности на личное участие в массовых выступлениях и ориентация на выбор любых форм противодействия, в том числе и крайних».

Иногда я задумываюсь над таким вопросом: что общего в исследованиях профессорско-преподавательского состава БГПУ?

И сам себе отвечаю: умелое сочетание теории и практики, тесная связь с конкретными жизненными ситуациями.

Всю свою сознательную жизнь проблемами воспитания дошкольников, школьников и студентов в теории на практике занимается ученый-психолог, доктор психологических наук, профессор кафедры возрастной и педагогической психологии БГПУ имени М. Танка, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, председатель правления Белорусского общества психологов, основатель возрастной и педагогической социальной психологии в нашей стране Яков Львович Коломинский. Под его научным руководством защищено более 50 кандидатских и 7 докторских диссертаций. 45 лет назад — в 1970 году, после издания в Москве книги «Человек среди людей» он проснулся всемирно известным. Я. Л. Коломинский — автор более 30 книг, которые переведены на 15 языков. Только к своему 80-летию, которое отмечалось в январе 2014 года, он издал 4 книги.

Интересно, что Яков Львович первым в Советском Союзе начал изучать социометрию. Сущность метода заключается в выборе партнера по совместной деятельности. В беседе с автором этих строк он заметил: «Моим коллегам нравится типично социометрическая песня “Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает…” В любом классе есть социометрические звезды, которых все любят и выбирают, те, кому отдают преимущество, и те, которыми пренебрегают и которых никто не выбирает. Учитель должен быть социометрической звездой, чтобы его все любили. Я учу студентов, чтобы они не путали два понятия — “звезда” и “лидер”. Звезда — это наиболее симпатичный член группы. Он и не желает быть руководителем. А лидер — это человек, который стремится быть первым и главным, он владеет отличными организаторскими способностями. Лидер может и не быть социометрической звездой. Каждый человек высвечивает определенный поток симпатичных телечастиц, которые распространяются на расстояние. Если их много, то будешь звездой. А если мало или они еще несут отрицательный заряд, то будешь отверженным».

Давняя мечта и пожелание Я. Л. Коломинского состоит в том, чтобы в школе изучали психологию и чтобы девизом их жизни были слова «Познай самого себя и не навреди другим».

Можно сказать, что студентам Белорусского педагогического университета «повезло» в том смысле, что кафедру педагогики в этом вузе возглавляет заслуженный работник образования Республики Беларусь, доктор педагогических наук Иван Иванович Цыркун, чье имя включено Международным библиографическим центром (Кембридж, Великобритания) в список самых известных ученых XX века. Под его руководством защищено 11 кандидатских и 26 магистерских диссертаций, ведется подготовка четырех аспирантов и одного докторанта.

И. И. Цыркун убежден, что главная функция учителя — воспитательная, чтобы ученики, взаимодействуя с ним, как на

уроках, так и после них, через предмет, который он преподает, получали импульс: к поиску себя, к развитию.

Интересно, что в своей кандидатской диссертации И. И. Цыркун рассматривал физический эксперимент как фактор повышения качества профессиональной подготовки студентов-физиков педагогического института. Тема докторской диссертации звучала следующим образом: «Дидактические основы генезиса инновационной подготовки студентов педагогического высшего учебного заведения в условиях многоуровневого образования». В результате этого исследования было создано новое научное направление — моделирование и организация инновационного профессионального образования, которое является основой разработки новой области педагогической науки — инновационной педагогики.

Вот уже более 15 лет Иван Иванович вместе со своими коллегами по кафедре педагогики растит педагогов-новаторов.

Высокую оценку среди ученых-педагогов нашей республики получила статья И. И. Цыркуна «Система инновационно-педагогической культуры: структура, содержание и функции». Он акцентирует внимание своих коллег на следующем: «Современный этап развития непрерывного педагогического образования характеризуется пробуждением инициативы и творчества учителей, правом и обязанностью искать, обновлять. Создавать новые методики обучения и воспитания. А также возможностями вести опытно-экспериментальную работу. Появились мощные информационно-коммуникативные средства и технологии формального образования и выступающие его конкурентом…»

На своих лекциях профессор И. И. Цыркун постоянно подчеркивает: «Если несколько лет назад объем информации в той или иной отрасли удваивался на протяжении 10 лет, то в этом году уже за 3—5 лет, а в отрасли информационных технологий — еще быстрее. Получается, что образование отстает от развития цивилизации, а раньше оно было впереди. Молодой специалист приходит на работу и там встречается с технологиями, с которыми не встречался в вузе. Как решить эту проблему? Инновационное образование помогает ответить на вопрос, как создается новое. Оно учит человека методологии и технологии создания нового в своей отрасли».

Очень важно, что в БГПУ создана учебная лаборатория «Педагогика и инновации», где собирается банк инновационных разработок преподавателей и магистрантов этого вуза.

Большинство профессоров БГПУ — не только большие эрудиты, но и энтузиасты. А главное состоит в том, что они умелые и строгие воспитатели. Многие являются представителями педагогических династий.

Один из них — выпускник 1979 года, до недавнего времени декан исторического факультета (2004—2014), доктор исторических наук, профессор Николай Михайлович Забавский.

В ноябре 2014 года в беседе с автором этих строк он отметил: «Я представитель учительской династии, историк и педагог в третьем поколении.

В 1939 году исторический факультет МГПИ имени А. М. Горького закончил мой дядя Николай Гаврилович Забавский. В годы Великой Отечественной войны он был политработником, а затем, выполняя особо важное задание, возглавил диверсионную группу и погиб в Минске в марте 1944 года.

В 1956 году наш истфак окончил мой отец — Михаил Гаврилович Забавский, который более 40 лет работал завучем и учителем истории Пережирской средней школы Пуховичского района Минской области.

Через 23 года — в 1979-м, исторический факультет МГПИ имени А. М. Горького окончил я — выпускник той же Пережирской школы. А еще через 26 лет — в 2005 году его окончила моя старшая дочь Наталья Николаевна Забавская. Можно сказать, что это уже четвертая династия учителей-историков Забавских. Дочь работает теперь преподавателем и воспитателем в одном из интернатов Минска.

Так что после окончания школы у меня не было сомнений, куда идти. Я прекрасно осознавал, что мой путь — только в Минский пединститут на исторический факультет. Уже с первых дней учебы я увидел, что все преподаватели факультета — мастера своего дела, что естественно отражалось на уровне профессиональной культуры студентов. И еще хочу добавить, что большинство из них были оригинальными и умелыми воспитателями.

Самые интересные лекции проходили у профессора Виталия Михайловича Фомина. Глубиной и содержательностью отличались лекции профессора Алексея Петровича Пьянкова.

Доцент Лев Романович Козлов запомнился мне оригинальной подачей материала, использованием новейших средств обучения, умением акцентировать внимание на важнейших вопросах и исключительным тактом.

Николай Григорьевич Гневко был очень эрудированным преподавателем, отличным знатоком истории Беларуси, этнографии краеведения и других вспомогательных исторических дисциплин.

Яков Нисанович Марголин был идеальным заместителем декана, виртуозным, можно сказать, замечательным организатором, который умел находить индивидуальный подход к каждому студенту.

В 1979—1984 годах я работал преподавателем истории в Минском педагогическом училище. После окончания аспирантуры я с 1987-го по 1993 год работал научным сотрудником Института истории АН БССР (НАНБ). С 1993 года был доцентом, а затем профессором БГПУ имени М. Танка. В 2002—2004 годах являлся заведующим кафедрой теории и истории культуры факультета белорусской филологии и культуры, а с 2004 года по настоящее время — декан исторического факультета. Я автор трех монографий, 140 научных работ, подготовил двух докторов и двух кандидатов исторических наук. Моя аспирантка Екатерина Дроздова защитила кандидатскую диссертацию о финансах Беларуси во второй половине XIX века значительно досрочно — во время первого года обучения в аспирантуре.

Я горжусь, что 97 % преподавателей истфака — кандидаты и доктора наук, что активно работает клуб «Память», что студенты факультета принимают активное участие в «Звездных походах», что наша команда КВН регулярно занимает призовые места на университетских соревнованиях, а по спорту — третье место, что я часто слышу хорошие отзывы о выпускниках факультета».

Профессорско-преподавательский состав исторического факультета БГПУ особенно гордится тем, что один из его выпускников — учитель истории средней школы № 11 города Молодечно Виктор Эдуардович Жук стал победителем конкурса профессионального мастерства «Настаўнік года». Он проявил себя не только отличным профессионалом, но и умелым, авторитетным воспитателем.

Профессора кафедры прикладной математики и информатики, доктора педагогических наук Ирину Александровну Новик называют «действительной царицей математики». Под ее руководством 18 ученых стали кандидатами наук, а 8 — докторами наук. Ученики И. А. Новик работают во всех региональных вузах Республики Беларусь, а также в Польше, Литве, на Кубе и в Таджикистане. Они — авторы новых методик преподавания математики и уже сами готовят молодых ученых. Но всегда вспоминают, что Ирина Александровна была не только отличным научным руководителем, но и очень умелым, авторитетным воспитателем и очень хорошим психологом, изучившим характер и наклонности своих аспирантов и соискателей.

Докторская диссертация И. А. Новик «Формирование методической культуры учителя математики в педагогическом институте» дала новые теоретические наработки, объяснила необходимость определенных условий для формирования основ методической культуры и предсказала, что может обеспечить результат процесса обучения.

Любовь к математике передается в ее семье по женской линии. Мать Ирины Александровны — учительница математики Мария Семеновна стала заслуженным учителем БССР, а ее дочь — Наталья Владимировна Бровка защитила докторскую диссертацию по теме «Интеграция теории и практики в обучении студентов как средство повышения качества математической подготовки».

Доктор педагогических наук Анна Васильевна Торхова с сентября 2014 года стала проректором БГПУ имени М. Танка по научной работе. Вот что она вспомнила: «Тридцать один год назад — в 1983 году, после окончания с отличием музыкального училища я поступила на первый курс музыкально-педагогического факультета Минского désинститута по фортепиано в класс к известному белорусскому композитору, Заслуженному деятелю искусств Беларуси, профессору Генриху Матусовичу Вагнеру. Считаю, что мне повезло, потому что мой учитель как педагог очень трепетно относился к своим ученикам. Всего на факультете их у него было немного — на курсе по одному.

Чем запомнился мне профессор Вагнер?

Он переживал за успехи учеников, никогда не навязывал студентам своей воли, своего мнения, предоставлял самостоятельность в трактовке художественного образа, но те советы, которые давал Генрих Матусович, были очень ценными, как говорят — “в десятку”. И еще. Профессор Вагнер был великолепным исполнителем и по максимуму старался передать свой талант нам — его ученикам.

С первого по четвертый курс я входила в студенческое научное общество, и работа в нем приносила мне неизгладимое удовольствие. Именно с первого курса кроме специализации по фортепиано я увлеклась психологией благодаря талантливому преподавателю — выпускнице Московского университета Ольге Михайловне Евдокимовой. Она так увлекла меня своим предметом, что я участвовала в республиканских олимпиадах по психологии, а в 1985 году на одной из них заняла призовое место.

Сегодня многие — кому не лень — отзываются отрицательно о предмете под

названием “научный коммунизм”, но я не могу забыть лекции и семинары по этому предмету, которые проводила кандидат философских наук, доцент Надежда Валентиновна Павлова. Интерес к ним объясняется оригинальностью подхода преподавателя к изучению данного предмета. Учитывая специфику факультета, Н. В. Павлова построила его в культурологическом аспекте. Занятия у нее оставили у меня заметный след и были востребованы в будущем.

В 1983—1987 годах, когда я училась на факультете, он обеспечивал высочайшее образование за счет не только целого созвездия профессоров и преподавателей, которые там работали, но и умелого руководства. Декан факультета — заслуженный учитель БССР, доцент Андрей Ефимович Точин был гуманистом в истинном смысле этого слова. Он видел в каждом студенте личность. При таком деле заместитель декана М. К. Павловский, который очень жестко обеспечивал организацию учебного процесса, был ему надежным помощником. Этот тандем был великолепен.

С сентября 2014 года я работаю проректором университета по научной работе. До этого свыше 10 лет возглавляла Центр развития педагогического образования. Как проректор считаю, что развитие науки прежде всего движет молодежь, успешно выполняющую диссертационные исследования. Поэтому я думаю над тем, как эффективнее привлечь студентов к науке уже с первого курса. И еще очень важно морально и материально стимулировать профессоров и преподавателей, имеющих свои научные школы, к активному участию в научных исследованиях республиканского уровня и подготовке кадров, к выступлениям на международных и республиканских научных конференциях, чтобы чаще говорили: “Этот талантливый ученый из БГПУ им. М. Танка”.

Мы стремимся, чтобы все студенческие научно-исследовательские лаборатории опирались на конкретные практико-ориентированные результаты. Это хорошая возможность начать путь в науку. Но даже и для тех, кто пойдет учительствовать в школу, опыт исследований и дополнительные знания в области определенного предмета, безусловно, будут помогать в профессиональной деятельности.

Невольно возникает вопрос: «Какие качества студенты ценят в преподавателях?»

Студенты второго — четвертого курсов различных факультетов БГПУ отмечают следующие качества: глубокое знание предмета, высокая культура, эрудиция. Они особенно подчеркивают значение уважения и любви к студентам, к своей работе, остроумие, принципиальность, роль честности, искренности, справедливости, вежливости, требовательности, последовательности, корректности, тактичности, умения опираться на положительное в личности студента. И добавляют, что эти качества присущи большинству профессоров, доцентов и преподавателей БГПУ.

Некоторые респонденты педагогического университета признаются: «Когда нам верят, не унижают и не оскорбляют, видят в нас настоящих людей, дают объективную оценку наших способностей, по возможности щадят наше самолюбие, то хочется показать себя с лучшей стороны в смысле учебы и поведения, хочется взлететь от желания сделать лучше».

Большой воспитательный заряд несут «звездные походы» студентов и преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. В новом — 2016 году этой традиции нашего вуза исполнится уже полвека. Несмотря на смену социальных ориентиров общества, это своеобразное сочетание практической деятельности преподавателей и студентов нашло свое место в современной системе воспитания студентов БГПУ.

Несколько лет в нашем университете функционирует Школа лидера. Большой резонанс у студентов и преподавателей БГПУ вызывает конкурс «Студент года», который проводится в целях создания благоприятных условий для развития социально зрелой творческой личности, способной к постоянному личностному и профессиональному росту и самореализации.

Таким образом, изучение процесса воспитания студентов в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка, в Белорусском государственном университете, Минском государственном лингвистическом университете и других вузах Республики Беларусь показывает, что успех подготовки специалистов зависит от деятельности и качеств личности профессорско-преподавательского состава, их идейно-политических, нравственных и психологических черт. Их педагогического мастерства. Поэтому забота о всестороннем росте профессора, доцента, преподавателя, улучшении условий их работы, совершенствовании их человеческих качеств и психолого-педагогических знаний в соответствии с современными и ответственными задачами подготовки выпускников вузов — основной путь повышения эффективности работы высших учебных заведений нашей республики, воспитания и обучения студенческой молодежи.

Эмануил ИОФФЕ

ОРЛОВ Владимир Александрович. Родился в 1938 г. в Баку (Азербайджан). Окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Кинорежиссер, писатель. Автор книг «Магия белого экрана», «Их портрет с обреченным императором», «Пересечения в пространстве и времени», «Ускользающие сюжеты» и др. Живет в Минске.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Павлович. Родился в 1951 г. в д. Забродье Быховского района Могилевской области. Окончил Белорусский государственный университет. Поэт, переводчик, прозаик, языковед. Автор многих книг для юных и взрослых читателей. Председатель Минского городского отделения СПБ. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Минске.

БАТАКОВА Ирина Евгеньевна. Родилась в 1970 г. в Бресте. Училась в Белорусской государственной академии искусств, окончила Московский литературный институт им. М. Горького. Публиковалась в журналах «Нёман», «Камертон», «Флорида», «Монолог», «Повести «Белкина», «Артбухта», «Homo Legens». Дипломант X Международного литературного Волошинского конкурса в номинации «Проза». Живет в Минске.

КИСЕЛЕВ Георгий Иванович. Родился в 1939 г. на Вологодчине (Россия). Окончил Литературный институт им. М. Горького. Поэт, критик, переводчик. Печатался в периодических изданиях Беларуси и России. Живет в г. Волковыск Гродненской области.

ЧУДОВ Валерий Иванович. Родился в 1946 г. на Сахалине. Окончил Ленинградское Высшее военно-морское училище. Поэт, прозаик, переводчик. Автор двух книг поэзии, четырех сборников рассказов и др. Лауреат международной литературной премии «Семья — Единение — Отечество». Живет в Минске.

КУДРАВЕЦ Анатоль (Анатолий) Павлович. Родился в 1936 г. в д. Околица Кличевского района Могилевской области. Окончил Слуцкое педагогическое училище, факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, переводчик, киносценарист. Автор многих книг прозы. Лауреат Государственной премии Белорусской ССР имени Якуба Коласа. Умер в 2014 г. в Минске.

БАРЖАВЕЛЬ Рене. Родился в 1911 г. в г. Ньон на юге Франции. Окончил коллеж Кюссе возле Виши. Французский писатель, занимающий видное место не только во французской, но и в европейской литературе. Считается первым автором французской научной фантастики XX века. Работал в кино (сценарист, диалогист), в основном с режиссером Жюльеном Дювивье. Умер в 1985 году в Париже. Совместно с Оленкой де Веер, французской писательницей и астрологом, написаны два романа — «Девушки и единорог» и «Дни мира». Позже Оленка де Веер написала третью часть этой трилогии — «Третий единорог».